

TK

ПК
Петр Краснов

Собрание сочинений
в четырех томах



ПК
Петр Краснов

Собрание сочинений
Том III

Трилогия
Повести

Печатный дом «ДИМУР»
Оренбург 2005

ББК 84(2)7
К 78

*Издание осуществлено при поддержке
администрации Оренбургской области.*

Краснов П.Н.
К 78 Собрание сочинений: В 4 т. /П.Н. Краснов. – Оренбург:
Печатный дом «Димур», 2005.

ISBN 5-7689-0120-5

Т. 3: Трилогия, повести. – 2005. – 368 с.: ил.

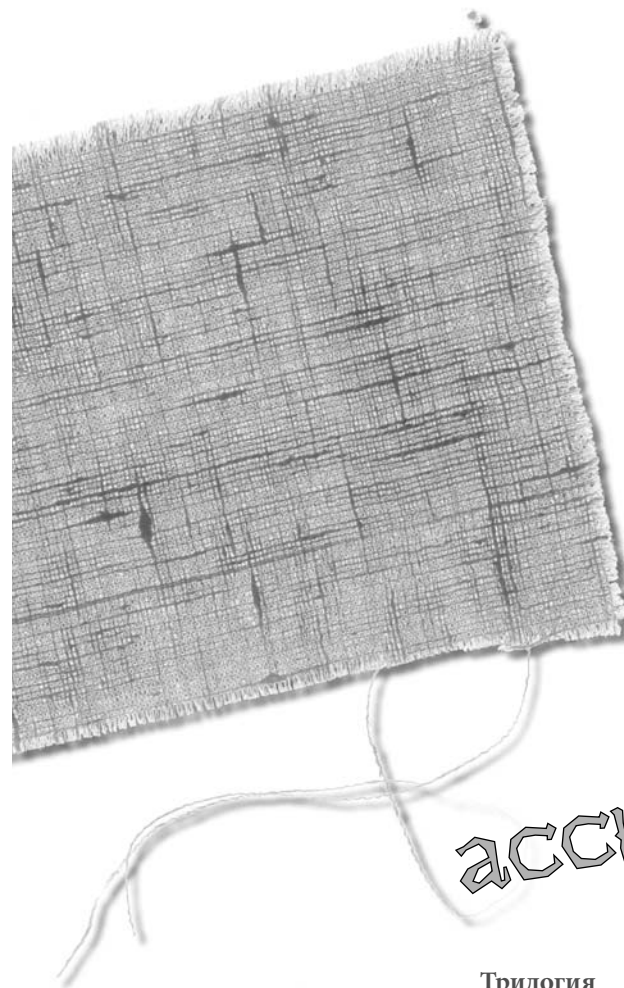
*Это первое собрание сочинений оренбургского писателя
Петра Краснова, лауреата премий имени И.А. Бунина и «Капи-
танская дочка». Его художественные произведения хорошо зна-
комы читателю. Рассказ «Мост» П. Краснова вошел в первый
том антологии «Шедевры русской литературы XX века».*

*В третий том собрания сочинений вошли трилогия «Свет
ниоткуда», две повести – «Звезда моя, вечерница» и «Пой, скво-
рушка, пой».*

©Краснов П.Н., 2005
©ООО «Печатный дом «Димур», 2005



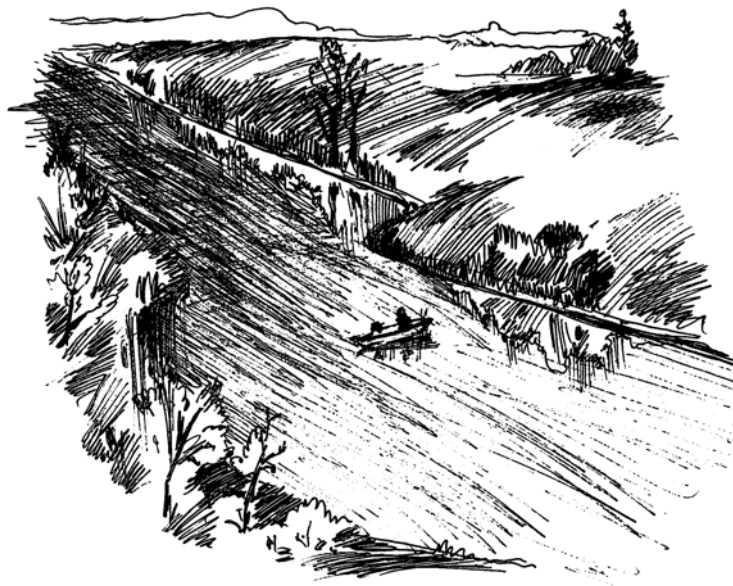
Петр Краснов



ассказы

Трилогия

Поденки ночи
Последний октябрь
Свет ниоткуда



Поденки ночи



I

ни тут были случайными, пожалуй что и лишними; неизвестно там, как приятель, а он эту свою необязательность здесь почувствовал сразу, и это его не удивило и не огорчило, ничего не прибавило к тому, что он уже знал про себя; так оно, значит, и есть. Не сумел, не научился быть хозяином – будь гостем.

Никак, наверное, не случайно какое уж лето подряд разбивал здесь свою большую солдатскую, латаную-перелатаную палатку старик, с весны их пригласивший приехать и, видно, о том уже забывший или сразу не веривший, что удастся им выдраться из текучки и навестить его на уральском этом глухом, в самой что ни на есть уреме, берегу. И уж не случайна была тоска, их сюда погнавшая, – бытовая, по определению приятеля, она ж и мировая, поскольку быт от этого мира неотделим, научился за тридцать лет болтать. Другое дело, что они были тут вроде как не сами по себе, а при ней, тоске, при случае, заставившем их трястись и выплевывать пыль в стареньком «пазике», а затем чуть не три часа тащиться, ссорясь в досаде, блуждать по раздолбаным

колеям, по тропкам лесистой, хмелем заплетенной поймы. И теперь вот сидеть на жесткой травке высокого, старыми осоками просторно заселенного обрыва – пред лицом медлительно, но неостановимо влекущейся воды, сплошного серебрящегося, к середине чуть будто выпуклого щита ее.

Потом как-то обвыклось, напоминалось стороной – вода брала свое, все ею здесь захвачено было, втянуто в свое движение, до подступившего к самым отмелям молодого, еще в талах, леса на другом берегу, до неба, непривычно высокого и сквозного. Все менялось не меняясь, влеклось мимо, только иногда разве расслабленно как-то упираясь водоворотами и всшумливая в намертво вцепившемся у крутояра коряжнике, но оставалось на месте – голову покруживая именно недвижимым этим, подрагивающим от напряженья черным коряжником...

В вечерней мгле, остатки закатного блеклого золота пособиравшей с верхушек поймы, вызрел месяц. Его истончившийся, совсем поначалу бесплотный серпик – твое это адамово ребро, твое, – возник там, недоступный в своей дали, мало-помалу налился прояснившейся плотью света. И вот вроде был там, ловился иногда взглядом, покоем высоким своим полня, высотой; но то ли тучка наплыла какая, облачко, то ли время вышло быть ему на небосклоне – за вечерними тихими, тонущими в поздних сумерках хлопотами никто из них не заметил, как и когда сошел он, куда пропал. И как, откуда нашли молчаливые ночные облака, три, четыре ли звездочки в проемах лишь оставив, и без того смутные, и откуда взялась эта заметная, речным запахом кое-как разбавленная, но чем-то все-таки тревожная духота.

Да, это от гниющих под обрывом остатков метлицы, приманки рыбачьей. Воню тонкой ее – животной уже, тревожной – пропитано все здесь: одежда, утварь скудная, сам песок... То с сырьем перехлестнется – не разъять, не вот передохнешь, то гнилой вовьется ниткой в верховой накат перестоявшейся травы, где-то рядом с полынно-сухой прядкой пижмы, с преснотой ежевишника, – но никогда не исчезает ни на миг, не покидает вполне, тревожит. Даже здесь его не было, покоя, обещанье лишь одно или отсрочка, это в лучшем случае, да и за тем ли он ехал сюда? Не за тем.

Они припозднились за разговорами, за не Бог весть какой выпивкой привезенной и готовились к ней, метлице, уже в темноте, в зыбких отсветах текущей мимо, что-то все наговаривающей берегам воды. Настелили в лодке куски старого толстого, погромыживающего при каждом движении полиэтилена, размахнули на песке подбережья брезент, а старик натянул плащ с капюшоном и возился теперь, посапывая и бормоча досаду, с карбидной лампой. Изредка, но уже плескалась рыба – пошел мотыль. Так сказал – не совсем, правда, обнадеженно – старик, хотя ничего вроде не переменялось во тьме над водою, что там плещет и отчего – не разберешь; да и не скажешь никогда точно, пойдет ли она, метлица эта, или нет даже такой вот тихой и теплой, самой к тому подходящей ночью, это как с клевом гадать. Должен вроде пойти, все к тому. Отвернув с уха зачем-то надвинутый капюшон, послушал еще, с реки шел все тот же невнятный шумок движения и плеска, сказал спокойней: «Нет, пошел...» – и чиркнул спичкой.

Яркий, болезненно-бледный свет ацетилена нетопырем раскрылся по косе, размахнул к своим краям

тьму, лишил неба над головой; и тут же одна светлая плавная, другая, третья искры, десятки их закружили с шорохом и опадать стали на немочно белый, напряженный – смотреть неохота – язычок пламени, на песок вокруг, по лицу задевая и волосам, защекотали; и старик торопливо надвинул на самые глаза капюшон, застегнулся наглухо, под небритый подбородок, и, косолапя от старательности литыми резиновыми сапогами, на отлете лампу держа и оберегая пламя ладонью, пошел к лодке. Понес шаткий, воняющий ацетиленом, все гуще, беспорядочней замельтешивший белыми промелками свет к воде – уже расходящейся, насколько можно видеть было, кругами, тревожимой глухими неровными всплесками заживавшей рыбы. Пробрался к средней скамье, лампу на дно поставил, еще раз огляделся: все ли в том порядке, какой указал помощникам, – кивнул: толкай... Еще скрежет днища не стих, как оттуда, со стороны невидимого берега противоположного, из тьмы, ударила правилом и с коротким провернулась бульканьем рыбина, какая – один Бог ведает, старик только головой качнул. И развернул против несильного здесь течения лодку, размеренно, на каждом движении экономя, погреб – и стала удаляться она, неся над собою, покачивая бледное высокое зарево, размытое мельканьем сотен уже, быть может, тысяч странных этих беловатых созданий ночи, ночной реки...

А уже везде успели они тут нападать, бессильные взлететь снова, лишь на один взлет им дадено сил; шевелились, перелетали на грубом, с галечником пополам песке, к одежде липли, нежнейшие, одна трепетала в его волосах, и он снял неловко поденку, стал разглядывать в убывающем с воды свете – туповато как-то, сам чувствовал эту притупленность свою, связанность,

словно тесная какая роба напята была на него, вроде стариковского плаща. Убывал, но все гуще роился там свет, метелил, живым дрожал, утрачивая химическую мертвенную резь, суть свою: забивало ее жизнью, умягчало смертью опаленных, страстью темной этой к огню, все-таки удивительной же... Отбывал, откочевывал свет, оставив их в сиротской какой-то полутьме берега, в немоте вознесшихся над обрывом, с ночью в молчании слившихся осокорей.

II

Но жила река. На всем тысячеверстом ее, слепом, из тьмы во тьму, пути выпрастывались из ила, песка, из хитина куколок несметные эти, рыбак говорил, существа, взлетали и, по стрежню внизу катящейся, жалости не знающей воды выправившись, летели и летели, невидимые, встречь течению, спаривались, падали – и под ними кипела от всплесков, чавкала, жрала их та ненасытная, в потусторонне смутных каких-то бликах вода, а в ней, беспросветной, хватала и давилась мелкой, от дармовщины ополоумевшей рыбешкой всякая тварь покрупнее... Брачная ночь, она – но почему так смутна, тяжела чем-то она в себе, неверна? Так небом пригнетена, духотою сперта от разогретых за день круч, сухим этим, черствым хрустом гальки под ногами, всхлипами болотными воды? И вонь эта береговая, звериная... Нет, этого старик не объяснит.

И что она, так и зарождается всегда, жизнь, – в спертости, тьме крошечной, сукровицей всякой изгвазданная... в горловом, в диком вскрике совокупленья, пусть его не слышит никто? В иступление этом – то ли жранья, то ли спариванья?

Не объяснит этого старик никакой. И оттого грязь людская всякая, подлость человечней выгля-

дит, очеловеченней, чем святое, считай, вот это дело – и не спрашивай, почему. И потому вонь, стон безумной плоти на одном конце, не продохнуть, и ясный на другом, как бы снисходительный даже холодностью своей взгляд, жест этот полусочувственный: «Ты пойми...» Понять можно, но куда себя деть, в угол какой голову сунуть? Лепет сына, еще не все разберешь у него, больше угадываешь – его-то куда, в какие углы? Все ясно, все голо, жестко – жестокостью мелодрамы, когда вдруг дорвется она, дуреха, прорвется сквозь спасительные все наши сложности и начнетна убогий свой манер править жизнью, вожжи дуром дергать: «А-а, так ты вон какая...» – «Такая! И живи со своей правотой один... спи с ней, а меня и сына ты больше не увидишь!..» Все просто и непоправимо, не до тоски даже – до отупенья, с тупой схлестнулось болью, не растащить; и выход если есть где, то, наверное, такой же какой-нибудь простой тоже, все разрешающий, но где он? Уже не по силам простое всем нам – разве только ломать когда. Уже опять взялись родину твою ломать, недоломанную, сизой злобой налиты экраны, ненасытимой, древней, и опять не знаешь, как ей встать на пути – с чем и как...

– Ну, рыбу старый обещает, – сказал из темноты приятель. Приятель, другом не был никогда, хотя считал себя за такового и других в этом как-то уверил. – По-рыбачим! В проводку пробовал когда, с лодки?

– Нет.

– Мне вообще-то приходилось. Сетку с мотылем на дно, приманку вымывает, а поплавков по течению, по кормовой струе... Ладно. Главное, из этого собачьего ящика выбрались... из города. А повалил как, а? Прорва. Правда, что манна небесная...

Не получив ответа, прикурил, багровый огонек запрыгал, зажегстикулировал:

– Нет, не пойму. Все-таки дичь это, не жизнь – что тут, что там у нас... Ночкой вот так пролетел – и все дела... все удовольствие. Дичь, дешевка какая-то. – И сам замолчал, затянулся, красная искра поплыла – туда, к воде. – Значит, говоришь, разменялась твоя?

– Не моя.

– А чья – моя, что ль? Аж на Пермь – лихо... Моторная. Да, у нее ж родня там, она ж еще тогда ездила... А ха-халь? – Подождал, вздохнул. – Говорил тебе: не отдавай квартиру, не съезжай – нет, надо нам поблагородничать. Теперь вот раскушивай свое. Мордуют нас мордуют, а мы все тешимся... упиваемся. А без номинальных штанов. Когда переезжает?

– Не знаю... недели через две. Кончай.

– Да мне-то!.. – не переборол досады он, сплюнул. – Мудришь ты, брат... перемудряешь. И с этими, с газет, тоже чухаетесь... Ну, лакеи и лакеи, черт с ними, союзников не выбирают, понял? Они, учти, от Бога тоже. Одни вы – ноль без палочки, банчишку не составите – а за ними обком. Обком плюс печатный станок!

– Кончай, мой тебе совет.

– Ну, гляди. Но так дела не делают, уж поверь... Не будет дела. Ладно, рыбкой займемся. У него где-то колы здесь забиты, он говорил. Я – на резиновой, а ты с ним, научит. Мастак дед. Я в прошлом году был когда у него, весной, соменок шел. Рыбой загрузил – под завязку, еле допер. И на продажу, приторговывает дед... ну а что? Ему никто не подаст. Пивко тут у меня, будешь?

– Нет.

– Гляди. Гляди, девка, тебе жить.

Некуда деться от людей. И тяжела ночь, неподъемна, и вся против сердца – разбери попробуй, отчего. Отдели тьму эту от вод многих, текучих, от тусклого, почти что угрюмого проблеска звезд в вязкой, как илистое дно, высоте, себя выдели попробуй, вычлени... в осадок выпади хотя бы, если еще силы есть, – зернышком хоть, крупинкой смысла и боли!

Но ни того нет, ни другого, выжимки какие-то, остатнее выжимаешь, бездомное свое, а выхода нет. Главное, с сыном, с ним. «Ты опять с ума сходишь... Ты ж не слышишь, что говоришь!» – «Знаю я, что говорю... Не увидишь!» – «Но я-то что сделал тебе?.. Почему не я – ты злобная такая! За что?..» Молчание. Она и это может, теперь он знает. После того, что случилось, она может все. С сыном, личиком его доверчивым – как у подсолнушка, еще не умеет оно уклоняться, как близко бы ни заглянул в него: «Я по тебе плакал-плакал...»

Как их приятель называет... «советские штамповки»? Как с конвейера идут теперь, квартирные болонки, полземли осиротят, не задумаются. Сиротят уже направо и налево, и ни судей нет, ни закона. Ни на нее, ни на тебя.

И все-таки было уже – да, было это, еще тогда. Во вторую, третью ли ночь, это они только помнят, не мы. Смятое, разбросанное во тьме, расхристанное в июльской духоте такой же – в соли селедочной пота размятое, как милые, не успевающие отвечать губы, раздавленное желаньем, без стыда ненужного, без времени, а только с дымчато-сквозной, мельком увиденной полоской зари в дальнем окне – было же! Отогнанное за края сознания потом, забытое почти, а тогда его дернувшее – ее иступленное: «Ты лучше, лучше всех!..» И лбом к холодной стенке прижатое, придушенное: «Тех, с кем спала?..» –

«Милый, миленький... я не так, я не про то!..» Про то, все про то, и жизнь как сухая теклина в берегу, промоина, где только след воды, жизни, но не сама она... куда подевалась, ушла вода? Ничего нет, позор оскорбления один, поразмытые на дне комья глины, мусор всякий сухой дрянной, не нужный теперь на свете никому. Никому.

И кочующий огонек отуманенный там, на стрелке, без расстояния, – то ли как до звезды до него, то ли недалеко совсем, в сотне шагов немыслимых по воде, по темной, кружащейся. И шорох неслышимый, лёт невидимый в глухой, с плеском невнятным и вздохами, тьме и тишине – как понять?

Но сместился будто огонек, передвинулся там вверх по течению, вот ближе будто – или показалось так? Нет, ближе, внятней и резче свет; слышны становятся уже натужные гребки, монашески согнутая, в капюшоне, фигура старика видна и мерцанье стекающей с весел воды, весел черных взмахи – и в мельтешенье убывающем подчаливает тяжело огруженная лодка, и они, всякое ожидавшие увидеть, но все-таки пораженные, подхватывают и выволакивают нос ее на песок... тяжела! И вся как есть засыпана слоем ровным, шевелящимся мотыля, все залеплено им, как мучной пылью на мельнице: скамьи, кромки бортов, даже цепь причальная с замком, и все им сыплет сверху, кружит и сыплет... Руки уронив, старик сипло дышит – поддержи-ка лодку на стремнине; сам весь облепленный тоже, сапоги едва ль не до середины голенищ утонули в мотыле, сдвигает капюшон наконец, отряхивает с потного лица и вокруг шеи, выбирает, с передыхом говорит:

– Лезут... спасу нет. Ярый мотыль. Этот, как его... накомарник бы.

– Устал?

– Ничего... Вы, того, давайте... выгружайте. И карбиду мне – там, в мешочке...

Два ведра, тазик с веником – это под рукой, наготове. С некоторой не то что боязнью – сомнением он стряхивает веничком метлицу с бортов, со скамьи и тем раздражает старика.

– Да что вы там... выгружай! Руками! Не уминай только.

Он бросил веник и, как напарник, погрузил обе руки в слабо копошащуюся эту, рыхлую, теплую массу, захватил полные пригоршни ее, легкой и дрожащей, – и самого тронуло вдруг, почти пробрало этой дрожью горячее, не умирающей вовсе... Живою, полной трепета, муки ли сладкой какой, брачной, или другого чего-то, этой плотью невесомой собранного из пространств окрестных теплых и преображенного, не понять. Будто к проводу слабого напряжения притронулся, и руки, все тело тотчас и без согласия его тихой дрожью сторожкой ответили и связались. Все связалось этим, и ни о чем, кажется, другом не думал, и унять ее, дрожь, насовсем так и не мог, пока неловко еще, неумело они сгребали и выбирали, ведрами и тазиком сносили и рассыпали его тонким для сушки слоем на брезенте – тонким, иначе, как сказано было, «загорится»...

– Так бы хватит, – вслух думал старик, закурив и машинально отмахиваясь, следя за излишне усердной работой новичков, – к шуту. Два кошеля набить, по два раза если – нет, хватит... Это на завтра. А если на ту ночь не пойдет... может так быть в нашем государстве? Может. Нет, лучше с запасом. Разок еще съездить надо. Мужики тут, казачки, курам вон его заготавливают, свиньям... что

глядишь, правду говорю. Заготавливают. Провод протянут, лампу какую посильней или там прожектор на песок, какие на фермах вон висят... Хуже комбикорма, что ль? Никак нет, – лишь суши, не ленись. Не, съездить надо. Лампу вот запроаваю вам – и с Богом...

– Да невелика наука вроде.

– Это как сказать. Есть и тут наука... ну, ладно. Кто сядет?

– Давай я, – сказал приятель, – давно не греб. Плащ только дай.

– Само собой. Да не дочиста собирай, к шуту... еще навалит.

Лампа на издыхании и тихонько сипит, из последних сил отталкивая сдвинувшийся, обступивший опять лодку мрак, – и гаснет совсем, накрытая ладонью старика. Они стоят, отряхиваясь, ждут, ничего не видя, слыша только дыханье друг друга и вздохи с бормотаньем беспокойные, перемещающиеся там над мутной, как им кажется теперь, непроглядной от мириад жизней водою... они-то зачем тут и кто – свидетели невольные? Или участники, еще подневольней оттого и бесправнее? Еще невнятной их человеческая жизнь, куда темней и глуше, ненасытней к страданиям их – что эта вода...

– Вы где там? Спички куда-то задевал... да-к, а вот они! Дожил: спички в руках, а ищу...

Звездная муть над головой, медлящие волны духоты, вони, сгустившейся от случайных каких-то и потому неверных протеклов свежести с реки; они на берегу, трое, невыразимо далекие друг от друга, как от звезды до звезды между ними, – и где закон в них? Нету, дрожь плоти одна, временная, не доживающая до утра, и только один закон, один-единственный посыл, залог дошел

до них, доскребся из времен – жизнь с ее темной страстью жить... так, что ли, приятель?

Они ждут света. И вот он опять, чужой, слишком яркий, – с излишком, в котором чудится поневоле, прозревается некий мрак уже и от какого темней лишь и неизведанней, неприступней сама ночь, и ничего-то не понять, как в том взгляде полусочувственном... Как еще утром нынче средь толчеи автобусной, в мешанине лиц этих, голов и ртов скорбно-терпеливых, женский чей-то профиль – с чистым, чуть подведенным женским глазом лживым. Да, высокая и строгая бровь, красивый лоб, губы... нет, губ не видно было, и глаз тем более чист и лжив казался, что лишь один виден был.

Господи, до каких же пор?!

Что за нехлюдовщина эта в нас вечная, когда жизнь за жизнь сочтем, а не за действие – чтоб жить, а не людей дивить? Ни дома нет, ни угла – наголову разбит... туда же, в политику. А куда? Народ твой дурачат целый век, с твоей же помощью дурачили, такие, как ты, его предали, продали проходимцам на откуп, на разор – за благородство, за фразу, и что ты теперь? Ничто, интеллигент паршивый... паршивый, точно. За все надо платить, дом с крыши вздумали строить, будущее без прошлого, все убого до невыразимости, плоско, злобно...

Постой, что-то еще старик сказал, важное. Нужное, он еще подумал, что надо бы запомнить... как же, интеллигент – как без карандашика, без подглядок в жизнь народную? Нельзя. Метлица, что-то про метлицу такое... Да, что мотыль всегда летит навстречу течению. Вот именно к истокам, вспять – иначе год за годом скатится в низовья, весь выродится. Туда, вверх, а река, а время само снесет, заселит низовья будущего... так? Такой вро-

де простой закон возвращения, повторенья – с шажком вперед, где он в нас? Свет оттуда, с верховьев, ниточка живая, родная – где?

Спички в руках, а мы ищем.

И стыдно, Бог ты мой, никогда такого стыда не было. За все, а больше – за нынешнее. Опять на поводу, вприпляску за кем попало, снова дивим, всех. И нет нам конца. Конца бы.

III

А этот – нет, не свет это, а какое-то его исчадье бледное, больное, потому и спотыкается на нем жизнь, бьется, гибнет... Не должно его здесь быть – ни одного на две тысячи верст ночных, а должна только тьма эта быть душноватая, пахнувшая речной сыростью, только лёт невидимый, шорох неслышимый, плеск разгулявшейся рыбы и больше ничего. Гнили, вони нет в ней, в метлице, – есть трепет, дрожь эта, все спасающая, живая, и полет в ночи, где-то выше смерти – в ночи, которая, может, куда светлей нашего дня, да. И кучка нашего гнилья есть на беспмятном берегу, смердение от нее, от протухшего разума, и жирный на ощупь и всегда будто грязный, как ни отмывай его, нечистый полиэтилен на дне этой лодки, больше ничего.

Отплывает опять, дергаясь и шатая метельную над собою высоту, лодка, весла два надсадно скребут по галечнику – как по нервам, стучают о гулкие борта и загребают наконец облегченно, всею лопастью; и старик, сказав вдогонку: «Далеко-то не надо, к шуту...» – идет к врезанным в обрыв, наверх, ступеням. Неумелому, с брызгами, шлепанью весел запоздало отвечает с реки сдвоенный, на редкость хлесткий удар хищника; запах ацетилена, въедливый, расползся по отмели, висит еще

в воздухе – все как в первый раз. Нет, что-то и переменилось. Духоты поубавилось, что ли, ветерок ли некий вдоль протянул, ощутимо, но так и не отделив шелеста осокорей от тьмы и высоты; или это звезды, может, переместились и совсем вглубь ушли, до невнятности, едва-то промаргивают там, – не понять, темно. Один свет этот в глазах отдаляющийся – посеребренный, снежной поначалу завертью сыпавший, поблизости, а теперь лишь дрожавший там прощальной, пронзительной какой-то дрожью... глаза в себя втягивающей, да, вбиравшей без остатка; и опять он дрогнул ею, незабытой, и вдруг на мгновение потерял ощущение себя, срединности своей здесь. Будто не тут оно уже, не в нем, всегдашнее и привычное, – там, туда уведено завязшим во тьме огоньком... Там он, пустой свой и темный кокон где-то на берегу оставивший, и такое сиротское в нем, по-ребячьи растерянное, и боль растворенья блаженная в свете этом, призывно дрожащем, в огромном чем-то и родственном – как у сироты, чудом мать нашедшей; и вот добежал к подолу наконец, и припал, и захотелось плакать...

И пошел по берегу, гальку давя, скрежетом ее зубовым вернуть пытаюсь, восстановить – что? Ничего уже не вернуть, не поправить, и не только свое – все, все. Всему плохо, не тебе одному. Столько сил отдано, души – и ничего не осталось, пустота и чужая злоба насупротив, ей-Богу же, незаслуженная, и бесполезно злобу эту спрашивать – за что... За то, что ты есть, и не такой, как им хотелось бы. Старику тому же – лучше, что ль? Войну пройти, госпиталя, насаду всю эту, только что в лагерях не гнил – чтоб рыбешку теперь жалкую продавать, на жизнь скуднее скудного? И все потому, что не такой. Не угодил – ни интеллигенции родной,

ни своей власти, ни второй жене, первая до целины еще надорвалась... хоть разбейся вот – не такой! Не такие, как нас ни правь.

Один мотыль шел, никого не спрашивал пока. Шел, отрешенный от людского, не разумея смысла своего какого-то, назначения – в ту сторону, где город был. Что-то вроде зарева угадывалось там, угрюмо-копотный гул угадывался его, и доходило иногда содроганье воздуха, земли самой от моста: не то что слышалось – зналось, когда проходил состав. Сам в себя летел мотыль, в бред высокий свой, в молчании, которому не нужно никаких – вы слышите? – никаких слов, чтоб даже самое себя обозначить как молчанье; нет ему никакой нужды биться о немоту свою, блуждать в ней, вязкой, как тина, пытаюсь хоть слово, полслова хотя бы найти, нащупать... споткнуться хоть о него, о слово, упасть, но найти. Нечего ему сказать, человеку, нечем, тоску разве промычать, вину свою. Виноват, что не здесь родился, не над стремниной ночной, больше в жизни этой разумея, чем того бы сам хотел. Что не осокорем увидел сквозную рассветную, долгую в ожиданиях своих полоску зари, не рыбой стал, а рыбаком, что не такой опять, не угодил – виноватый уже тем, что чувствуешь, знаешь вину свою и сам ждешь за нее расплаты.

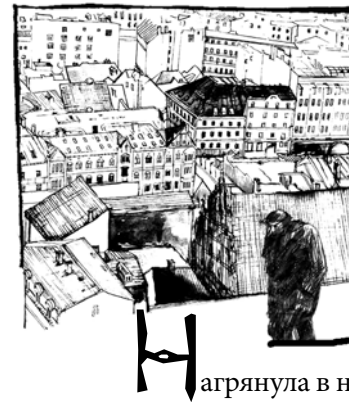
Не твоя вина, но виноват – ты. И в безотцовщине сына, в том, что ты лучше, лучше всех, в предательствах холодноглазых – ты, ты виноват, до тебя их, как этой гнили и вони на берегу, не было.

Полный злорадства непонятного и тоски, он сам не заметил, как тоски, злорадства не стало в нем. Ночь обнимала все настойчивей, тяжелей, и во тьме ее – без расстояний и времени – в момент какой-то, им пропущенный,

увязло и это. Увязло или расточилось неизвестно как и куда – не понять, и он остановился, будто лишенный этой движущей силы. Споткнулся, остановился.

Самая глухая, предрассветная пора еще не наступила, но и ждать от нее, ночи, было уже нечего. Реже, глуше доносились всплески с реки, шел на убыль мотыль. И огонек, над непроглядной водою зависший там, тоже потускнел, еще отдалился и уж ничего не значил больше того, что лампа села.

С обрыва подал свой голос старик – туда, к лодке, и прозвучал, протянул он над рекой глухо совсем, невнятно: «...ава-ай!» Не долетел, смолк перед ночью; и повторился немного погодя, протяжный и какой-то странный в бессмысленности своей, почти безнадежный: «...ва-а-ай!...» Ничто ему не ответило, только здесь, на дальней косе, буркнула что-то вода, понесла было плеск, но тотчас его поглотила, спрятала. Лишь комарик ныл, маялся в близкой тьме, одинокий, будто не крови просил, а жалости себе, жалости – тонкий где-то рядом, детский голосок жизни, еле слышимый.



Последний октябрь

Нагрянула в несколько дней, накатила осень, обобрала, засыпала. Сухой пахучий солнечный туман стоял до самого полудня и по вечерам тоже, дымок осеннего всесожженья, запутавшийся в ветвях. Ночами калил воздух и высветленную до дна воду озера хваткий, неожиданно крепкий заморозок, колючил звезды уже, изморозью, как патиной, брал жестяные крыши, но быстро по утрам отпускал, игрою этой и бодростью радуя, путь себе выстилая шуршащий, сухой, и зима совсем не казалась, не обещалась тою быть, какой должна – не то что голодной, но человечески злой. И так легко раздирались сапогом навек, казалось, сплетшиеся пряди трав невыкошенных, позаброшенных в последние годы, и трещал покорно дудник сухой всякий, семена ль осыпая, сам ли в пыль, персть земную обращаясь; с такой гулкостью и пространностью, с откатом от ссиневшихся твердынь окоема ахали выстрелы, ахал воздух сам во сне, не успевая пробудиться, не в силах, и лишь росчерк утиных крыл повисал на мгновенье в нем, небесном, – и быстро-быстро по радиусу взгляда твоего жадного и беспомощного, по дуге спасенья и простора забирая левее все, левее, иставивая, вычеркивая навек себя из жизни твоей...

И воняющее бесстыже, как женщина в постели, порохом и убийством ружье на коленях, на штанах за трапезных в паутине и чередой вцепившейся; оголовки сапог, поречным отполированные ковылком, а в шаге от них травяной обрывчик берега и за ним сразу глубина – прозрачно покойная, солнцем насквозь просвеченная, а в ней побуревшие русалочки сады, кущи, уединенные гроты и редкий иногда, потаенный переверток чешуи на рыбьих тропах... Слишком все похоже было на прощанье – и до каких теперь, спросить, времен?

Сидели вдвоем бесцельно во дворе, на бревешках, под обмершим, в легчайшей недвижимой кисее застрявшим солнышком, не греющим, но лишь теплом слабо повевающим на их непокрытые головы... до каких?

Бесполезно спрашивать было.

Часа через три с лишним городской вокзал был, остатние вечерние, нечеткие уже тени от зданья его и водокачки, проржавевшие насквозь клены, толкотня. Хозяин и гость, двоюродные, поменялись местами. Недавний гость – с замкнутыми теперь, как-то потускневшими глазами, в солдатском обтертом ватнике и сапогах, все на нем вызывающе небрежно сидело, – вел напрямик через беспородное, сгрудившееся на площади стадо автомашин, мимо безучастных таксистов с откормленными мордами, потом вдоль разящих мочой телефонных будок, откуда-то взявшихся киосков с выставленной оберточной всякой роскошью, сквозь наглый шашлычный чад. С вечерними поездами прибывало людей – валили, выбитые дорогой и временем из себя, за себя не отвечающие, толклись, слепые, толка-

лись, молодым то и дело покрываемые матом; и лишь на остановках, удостоверясь окончательно, что кладь вся при них и что сами они вроде б тоже целы после давки в переходе, оглядываться начинали, и некоторые даже отодвигались, отходили брезгливо от столба, под которым клевали голуби чью-то блевотину, и показывали, кто поинтеллигентней, что они к этому никакого совершенно отношения не имеют... врите, ваше это все!

Это сказал хозяин – громко, ничуть не стесняясь и как-то убедительно подкинув при этом, поправив на плече свой чехол с ружьем. И кивнул головой, не снизил голоса: гляди, жмутся как!..

Никто не ответил, не оглянулся и, кажется, глаз не поднял даже, хотя услышали и поняли. Что-то поняли; а оглянулся со стесненной, чуть ли не извинительной полуулыбкой гость, при галстукке и в просторноватом несколько плаще, в кепке. Некому было отвечать, кроме него; но и его никто бы слушать не стал, потому что с разворота подходил как раз троллейбус и все подхватывали чемоданы свои, спекулянтские тюки какие-то, авоськи непомерные и уже толкались, заранее отесняли друг друга; и не дали даже выйти немногим приехавшим, молча полезли навстречу крикам и ругани, лишь двое крутых в кожаных куртках успели, проломились. Кричал и хозяин сзади: «Да выйти дайте!.. совсем, что ль, оскотинели?!» – но бесполезно. Уже дергались двери, пытаясь закрыться, отсесть лезущих, но изнутри загрохали, ребенок заплакал, залился – и только это, может, на миг образумило, стали выдираться приехавшие, распаренные и злые, выдергивать сумки промеж ног и туловищ залезших... и визг дамочки, у которой что-то там распустили, колготки, что ли. «Ну, скот, скот...» – как-то безнадежно повторял хозяин, а с лица гостя все еще

не сползла улыбка, растерянная теперь и недоверчивая, давно не был в городе человек.

– Все, – сказал хозяин. – К чертям. Тут это... место одно было – пошли? Остановка, может, ну две. Посидим, время есть. А то мы тоже...

Гость пожал плечами. По дороге, в вагоне местной «барыги», они умудрились чуть не разодраться, хоть домой поворачивай. «Я ж за тебя, за наше! Ведь продали все, сволочь, – свое, себя продали!» – «Да не надо за меня так! Я вижу, но не в том... не так надо. По-другому! Люди же все». – «Лю-у-у-ди?!» – «Люди. Ты ж пролетариат теперь, должен понимать!» – «Пролетарьят?! – он аж задохнулся. – Скотом этим?! Да я лучше бомжем, ханыгой буду... бутылки лучше собирать!..» До ругачки дошли. Что-то несусветное на свете творилось, и он, помимо дел своих, еще и надеялся все-таки, что в городе как-то разрешится, может, хоть доля сомнений всяких его и непониманья, не с ума ж они там посходили все.

Что-то совсем уж дикое творилось, как ни привыкай ко всему, непотребное – и, главное, как будто не с ними, людьми, а с кем-то или с чем другим. Каким-то верхом пролетало над ними, неестественно высоким и потому страшным иногда, но их обыденность нижнюю ничем не затронув, казалось, не всколыхнув ни на минуту, – ничем, кроме бледного при свете дня и неопределенного страха этого иногда. Поверху все, поверху; и лишь временами, как на станции сегодня в ожидание поезда, сверзалось визгливыми, бесившимися в себе и отдельно ото всего радиопозывными из репродуктора, взрезать пыталось или хоть поколебать как-то нынешний покойный донельзя, ночным морозцем словно прихваченный воздух, сиплым блядским,

нарочито взвинченным голосом дикторши встревожить ясность кроткую его – но напрасно. Не задевало вроде никого, даже в разговорах что-то не слышно о том было – в этом бормотанье нескончаемом людском, в проговаривании того, чем живут они или должны вроде бы жить; и это было, может, хуже всего. Молчал после всех разговоров и братан – пусто как-то, уставясь в зардевшие и только-только начавшие редеть кущи лесопосадки по ту сторону путей; и на вопрос – мол, ты мне скажешь наконец, что происходит все-таки? – отвечал нехотя и уже раздраженно: взрослый мужик, называется, войну от мира отличить не может... Детей тогда запретить вам делать, раз таких вещей не понимаете.

– Октябрь уж наступил, – сказал он теперь. – Давай-ка в магазин вон, там хоть заводская. – Магазин был закрыт, продавали в обитую листовым железом дыру. – А-га, есть... как культурным людям. Нет-нет, свои держи, тебе пригодятся – кто здесь хозяин, ты или я?

С улицы, спрямляя, свернули во дворы в давних, полузаваленных домашним мусором траншеях, и потеряли больше времени, меж них пробираясь, чем если бы шли по улицам. Откуда-то с балкона хрипел, давился своей песней Высоцкий, орали мальчишки у подъезда. По остаткам асфальта прогуливалась шерстистую – не поймешь, где хвост, а где морда, – собачонку нарядная, накрашенная, как на праздник какой, бабенка. Знаем, что выгуливаешь, усмехнулся лицом, словно морозом сведенным, хозяин. Не город, а собачарня стала, поразвели. И мужей к ним пристегнули – на поводках. Им страну гребят, а они собачек выгуливают.

В зальчике на четыре стола занят был только один – сидели, сблизившись головами, лишь девушка среди

них одна, откинувшись, лениво покуривала, пощуривалась. И он бы, конечно, прислушиваться не стал, если бы не уловил, сразу:

– ...в Москве, да. Сегодня прилетел, говорит – мрак. А этим я сразу сказал: манал я ваши именины с такой зарплатой. Бегай им, как бобик за палкой, сюжеты таскай. Вот же Виктор – не жалеет же. Хрена ль ему теперь.

– Прилетел, значит?

– Ну. Военных в очередях, говорит, бьют, шугают – за танки, может. Вчера путем шарахали, кумулятивными. Что остается – все на стенах. Абстракция, рамочку только навесь.

– Он что, был там?

– Зачем ему? Рассказали. А потом, оцепили же... такая пальба там поднялась, когда заняли. Это после сдачи уже. Свидетелей не жди.

– Делать им там всем нечего, – лениво сказала девушка, – собачатся. Кончай с политикой.

– Кончил, солнышко. Привез чего?

– С этим в норме. Там уж сбрасывать кое-кто начал было... перекакались. Конъюнктуры.

– Не поделится Виктор – как победитель?

– Чем? Он же оптовик, он бумажки возит. В папочке. А по банке нам, интеллигенции, задаром даст. Пожалуйся на жись, он и даст коллеге бывшему. Зря ты, что ль, в августовскую кровь проливал? Стриги теперь дивиденд.

– Ну-ну... Все мы проливали. Чернила, думаешь, лучше?

– Все, золотая рота, все! Еще, может, закажем? А то, знаешь, неопределенность какая-то...

Говорить над порционным гуляшом было не о чем, гость только покряхтел как-то по-старчески: ну и цены... «Слышал?» – «Слышал...» – «Ну, за упокой наших... Ты про

людей все говорил... вот там – люди. А мы...» И он впервые, кажется, сказал тоже: за наших...

Компания ушла, раздумали добавлять. «Этих видал? Телевизионщики, что ль, значок у одного такой, с «тви»... мразь. Журналисты. Ну, к ним счет особый». – «Какой такой?» – «Трибунальный, не меньше». – «Ого...»

Только на улице хозяин, вздохнув глубоко после полуподвальных сводов забегаховки, все о чем-то думая безрадостно, сказал наконец, и в голосе его не было уверенности:

– Нет, тут нечисто что-то... есть сатана, есть. Ну, не объяснишь это все по логике, по людской. Всю глупость эту, позор. Проклял, что ли, кто нас?... Тут мистика какая-то – понимаешь? – высшая... Апокалипсис предательства, вроде того.

– Я этого слова не знаю, – мрачно проговорил гость.

Чем дальше, тем тоскливей становилось ему здесь. Уже на вокзале он почувствовал это, а может, и раньше, еще ехали когда, в самих людях. Во всем она угадывалась, тоска, пустым чадом висела над этими улицами, гулом глухим и гудом, в суете, бодряческих кликах перепродаж, в лицах постных, чужих друг другу, чуждых... Всякое бывало, накатит и дома, достанет; но там, как ни говори, а просторней, спровадить ее есть куда. Здесь не то, некуда. Нет, такого, что братан порассказал, тут раньше тоже не было, живей жили, как-никак два годочка здесь квартировался... или, может, кажется это ему теперь? Улез ты в свой навоз там, отстал.

Не кажется, нет. Это как в доме покойник. И не могла обмануть ни спешка эта, снованье, толкотня лихорадочная – дергало в лихорадке толпу, на глазах корежило, – ни угорелые, как с цепи сорвались, стада машин.

Даже гремевшая на всех углах полублатная, хамская какая-то музыка не умела, как ни старалась, заглушить, скрыть эту тоску существования, что ли, и того, что крутится все тут как-то вхолостую, на месте...

Слово это он, конечно, слышал, читал-то побольше мужиков своих, но в точности бы не сказал, что оно такое значит. Ад крошечный, так вроде бы.

– Зря не знаешь. Незнание законов от ответственности не освобождает.

– Что, закон такой, что ли?

– «Закон»... Больше закона, Серег. – И вздохнул. – Кара божья.

– Ну – ад, знаю... Ты совсем, гляжу, зачитался. Мамониха бабка, помнишь, что тебе говорила: не читай книжки-то, спишишь...

– Говорила, точно, – впервые, может, усмехнулся он, ухмыльнулся пьяновато. – Гутарила бабаня... Ну, читать... приходится читать. Я уж какой тут год – с семьдесят девятого? Вот так. А с волками жить... – И сорвался, пальцем ткнул в толкавшихся у лотков, вдоль улицы – то нарастало там, то на глазах рассасывалось дикое мясо очередей. – Ты ж их не знаешь, этих! Свободу они получили... ты думаешь, что они с ней делать стали? Надирать друг друга кинулись первым делом, обжуливать, в спекуляцию! В растащилровку, разврат! А город, глянь, как засвиначили – под себя, как скотина, ходят... Детишек вон жалко, стариков – а этих... С ними ж пропадем, Серег! Ни верить, ни ждать от них нечего, самим как-то надо!..

Нет, ничего ты не объяснишь ему сейчас, хозяин. На него не глядели снисходительно эти гладкие квартирные

коты, истеричные те, безжалостно давившие в пепельницах едва прикуренную сигарету болонки комнатные, извращенцы всякие, интеллектуалы – не разумеющие уже самых простых, самых что ни есть понятных понятий добра там, зла, плохого-хорошего... Не поучали через ироническую губу, как надо жить, что за правду считать, палец не советовали послушать и поднять, откуда ветер – там и правда. Не он плакал, изничтоженный, размазанный по стенке равнодушьем этих толп, не корчило его в нещадных силовых полях этой человеческой спертости, все сместившей, извратившей как только можно, детей своих пожирающей и собственное дерьмо... которая бетонное понастроила, но камня на камне не оставит от человеческого, дай только срок ей и волю.

Что он об этом городе знать может, когда и ты-то сам нет-нет да попадешь, в тупик его очередной уткнешься – все вроде углы жесткие зная, чертовы ямы его, нелюдское мурло. Самому бы что понять. Там, на улочке, – помнишь?

Куда как знакома им была улочка, обоим, похоже по ней. В самом центре, с выходом на набережную, двухэтажной купеческой застройки, которая попрочней будет многих великих идей города как такового... перечислить? А последнюю, перестроечную, переносила плохо: кладка стояла, но все, что к ней приделано, в полуразрухе, взломанная канализация парит и воняет, многолетние свалки мусора, экскаваторами покореженные карагачи – трущобы, по каким меркам ни возьми. Вдобавок и последнее изобретение: газовые и тепловые, обмотанные кое-как стекловатой трубы на стояках, все поверху. Трущобы, а была, может, лучшим, что этот город имел: прометенная, даже

стволы подбелены, тихая, где и жили-то по-домашнему как-то...

Шел этой улочкой прошлой зимой, денек был морозным, и еще на подходе увидел в открытой форточке первого этажа что-то такое... ручонка, что ли, детская? Даже захолоноуло – всего здесь можно ждать... И тут же, слава Богу, две мордашки увидел, смеются и уже что-то наперебой ему кричат, чему-то радуются – две девчушки лет четырех-пяти на подоконнике. И так они радовались ему, прохожему, от скуки какой ли домашней его оклика, что он тоже невольно улыбнулся, загляделся и чуть на куче не сверзился, снежком еле припорошенной, в застывших колчах колеи. И нахмуриться попытался, пальцем пригрозил и крикнул, чтоб закрыли сейчас же, ведь простудятся, не дай Бог, – да, и ночью метаться ведь будут, осунувшееся лицо матери жаром своим опалив, ручонки безвольные раскидав, не в силах ими оттолкнуть то бессвязно бормочущее, то гогочущее хайло недетского бреда... Ближе подошел, приказал, они счастливо закатывались, лепетали «дяденька, дяденька!...» и совсем даже не думали слушаться. Пришлось в другое, третье потом окно стукнуть, подождать, что-то там мелькнуло за тюлем. Опять перешел к кухонному, стал уговаривать, а тут наконец и мать появилась позади них, молодая, рослая, а следом другая – подруги, видать, заговорились там. «Да вот, мимо шел, а они торчат в форточке, уж давно, видно... заберите, простудятся к шуту...»

Рассказать, что ли? Два, считай, годка по этим улочкам ходили: общежития в техникуме не дали, угол пришлось снимать, и старуха прижимистой хоть была, а порядок знала. Вас же, кстати, и обучала порядку, недотеп сель-

ских. Расскажи, хотя навряд ли ему понятней станет – навряд ли...

Сказал это ей, девчушки задом-задом с подоконника, смеху больше, чем опаски, – а рослая, слова не говоря, не кивнув даже, с такой злобой спокойной глянула... я, брат, сначала подумал, что это не на меня она. Я оглянулся, понимаешь? Глядела так, будто я мужу про любовника трюхнул, настучал. Ну, кивнул – как-то растерялся – и пошел.

На выходе к набережной он тогда еще раз обернулся, на всю похабень эту коммунально-демократическую... куда девчушкам отсюда? Мамашка эта – ладно, черт с ней, ей уж ничего не поможет; но куда вообще можно из трущоб этих – выбраться, выбиться, стать? Помимо борделей отечественных – в стамбульские, в поганые кавказские? В клиники чикагские на запчасти? В лотошницы на мороз – капрон от лодыжек отдирать со слезами, в кустарный цех бормотуху из гнилья давить? И не вопросы это уже – ответы, и там и здесь в натуре поганой давно; вопрос – отцы, мужики где? Как такое осмелились, гадье, – детишкам своим?!

И когда весной завод их на закрытие поставили было, оборонку душили, и всего шесть человек в пикет их набралось с девяти цехов, остальные выживали в тряпочку... Когда у мэрии публика ходила всякая, пилилась, всем до лампочки, машины парковались – воры на иномарках, предатели на «Волгах», а он плакатиком тряс, – подумал: а в чем, собственно, дело-то? Их если десять, ну пятнадцать от силы процентов населения в этих больших городах, которые спятили совсем... какое они право имеют всем жизнь уродовать, всем остальным?! Здесь все варится, ученым дурачьем поддерживается – всё, вся гниль изначальная здесь, в городе. И надо по разуму:

рубашку смирительную на него и рукава узлом завязать – назади!..

На них оглядывались с остановки; что ни говори, а неловко было, и гость примирительно сказал:

– Да их везде, знаешь... Дураков на свете больше, чем людей.

– Не скажи! Тут кое-кто знает, что делает... Ну, ладно, садимся.

Они ехали, катили по центральным улицам; пробившись наконец после двух-трех остановок к окну, молча смотрели на мелькавшие вывески, суету тротуарную, на облезлые, как-то скоро поветшавшие за год-другой фасады, уже и штукатурка не держалась. На заборы глядел гость, появившиеся теперь всюду, наспех покрашенные или вовсе горбылевые, с обрывками афиш и листовок, но за ними редко видно было, чтоб строили, иногда виделись лишь темные глазницы заброшенных, чего-то ожидавшихся домов; и на неожиданно какие-то нарядные, тряпично яркие и сытые толпы везде, будто чужие на этих улицах, в странном, ей-Богу, диковатом несоответствии со всем этим... Хозяин угадал и тяжело, не сразу переведя глаза, проронил наконец:

– Тряпками купили.

– Ну, как... тряпки тоже нужны.

Год с лишним, если не полтора, не был он тут, рай-центра хватало, а за покупками жена сама сюда наезжала, управлялась... скачет времечко, и все как-то боком. А правда, как чужие все ходят. Как туристы. Он сам как-то разок туристом был, в Болгарии, их там сразу видно – поверху глядят, повыше местных... А эти нет, вдруг с тоской, опять навалившейся, подумал он: все свои, рыла не поднимают.

Свои, родненькие, а как чужие. И будто в себя вытянули они, высосали эти толпы все разноцветье из города, всю ухоженность, какая тут ни была... самую кровь выпили, и почему-то понадобилось для этого развалить что ни есть, раскурочить, по ветру пустить все, что трудами слезными до них нажито, – вот за каким? Чтоб выскочить вот так, наряженным, по киоскам этим с магазинами пробежать, по торгашам, закупить там, назавидоваться и в свой закут опять? И хоть трава там не расти?

Сытых много, вот что. Всегда хватало, но такого явного излишка ухоженности и самобережения, какой тут в последние года четыре появился, все ж не было... от одежды, может, это? И от нее, сплошь одни наклейки, хоть вот рядом; и лица гладкие, у девок розовые, а у мужчин вон интеллигентные такие, мужественные, а то даже благородные какие-то, брыластые, у женщин особенно, когда обзавестись успели. Само собой, и попроще какие есть, но тоже, как жена говорит, наетые – вот чего не хватало? Продуктов? Ну и помогли б нам по-людски, делом, а не болтовней этой. А то руки-ноги повязали, не рыпнешься ни с чем, повымотали, по дешевке все да подчистую, и – «кто нас накормит?» Делом пособили бы – нам бы строили, сами строились, что бучу-то подымать?! Нет, не захотели, это ж работать надо. Правильно вот Иван говорит: им главное, чтоб дела не делать, а какую-нибудь революцию, перевернул – и чтоб она тебе принесла все, сразу. Как полегче решили, чтоб все, как на том Западе: колбаса десяти сортов, вырезка, овощ любая мытая чтоб в пакетики разложена, ходи себе, клади в колясочку. Они бумажки пиши, места натирай с девяти до шести, а им чтоб в колясочку. Губа не дура. Уже в резиновых не везде пройдешь на ферме, погрузчик навозный миллионы

дурные стоит, а им чтоб все было. В пакетиках. Присылайте пакетов, разложим. Ешьте.

Его как-то понемногу – не сразу и заметил – оттерли от окна, где было поспокойней, – это здесь умеют; и теперь толкались, толклись, кто на выход пробирался, кто от входа нажимал, минуты не постоят, не дадут покоя. Вот к стояку притиснули, недохнуть, и у самого носа его какая-то белая ручка ухватила за поручень, с красными как кровь заостренными ноготками и широким кольцом золотым... ишь, белая, курятина прямо. Откусить, что ль, – хоть кусочек. Кто-то пользуется, не наш брат.

Зла ни на кого не было – что злиться, коль ума не хватило; а вот братан прямо исходил весь. Перестал и своих уважать, по станку соседей, иначе как гегемоном не называл. Гегемон настолько вырос количественно и качественно, что готов выживать отдельно от страны. Нет такого преступления, на которое партия не пошла бы ради счастья народа. Пролетарьят не имеет отечества, только зарплату. И еще что-то – про то, что ему нечего терять... А верно вообще-то: чего нету, того не потеряешь.

Но и терпенья на него, на Ивана, надо было с запасом. Да у них у всех хватка такая, семейная, везде наперед у них правда, от деда еще пошло: скажет и смотрит, кто как под ней, правдой, извивается, проверкой на вшивость называлось. А одной правдой, если уж на то пошло, века не изживешь... Она тебе что, права какие на всех дала, что ли?! – в какой уж раз дергался он, и братан, костяшками кулака постукивая по столешнице, подтверждал: дала. Правда у нас такие права на человека имеет, каких нигде нету... а гады всякие пользуются, потому и бедолаги, может, мы такие. А главное, что все

мы, русские, правду эту – знаем, чуем, где она. Знаем!.. Да откуда знать, пробовал он ему же объяснить, сердая почему-то, даже озлясь: ну, сам же говоришь, что мы тут, это, как попки, за радио только вслед повторять... с утра как включишь голоса эти!..

А что завелся, что покраснел-то как мальчик? – вдруг спрашивал, откидываясь и глаз не спуская, почти весело спрашивал этот полужнакомый, так он изменился за три-четыре года последние, человек, так много где-то всего узнавший: нет, всамделе?! Знаете! Ну, может, не на уровне слов там, фактов, – но шкурой чувствуете, где она и что почем. И эта... Интеллигенция эта, сука, тоже знает. Дурака только валяет: ах, кто вас там разберет, левых-правых; вот же указ вышел – правильно же пишет, тоже ведь порядка хочет, мира, да и быть того не может, чтоб на таком верху – и ввали так; нет-нет, я, знаете ли, в чем-то верю... – гниды! Вот кто гнида у нас всероссийская, дважды продажная с семнадцатого... напугала и в кусты опять! Только зря это она думает, что отсидится, – ну, зря же! Что забудут ей. И что ты мне ни говори, а знают они... знаем мы, кто такие мы есть. В самом где-нибудь ливере, нутрянке, через субботу на пятницу – но про подлянку свою знают, гады! На то мы русские, чтоб это знать.

Говори вот с таким.

Но и сам-то под простака придуряться мастер, всегда за ним водилось это, а книжный свой шкаф, между прочим, набил мудреным всяким. Кто-то там растолковывает все ему, по словам его – чуть ли не мудрец, обещал даже познакомить. И жене приказал молчать, что второй или уж третий год на заочный юридический, что ли, ходит, племяш летом проговорился, с мамкой приехавши: «И сестренка учится, и папка,

один я не учусь... – И восхитился, когда в кухню дворовую впервые зашел: – Ой, у вас мух сколько!» – «А у вас что, нету их?» – «У нас только одна всего», – печально сказал он.

Пошли дома поновее, места просторней и голее, небо мелькнуло раз, другой – но тоски не убавилось, будто ее, спертую, так и везло в этом забитом людьми, их дыханьем, потом и парфюмерной вонью, подневольном объеме куда-то навывоз, хотя вроде везде ее хватало теперь... для кого, зачем? Нет, видно, еще не везде, и вот развозили ее все дальше, дальше, и как городская свалка она расползалась, огромная, однажды им виденная, поганя отбросами и подминая навек уже под себя начавший серебриться было ковылек, степное пахучее черноземье, какому не прорасти теперь уж ничем... И какой-то в ней, тоске, или в нем самом, госте здесь, вопрос был, невнятный, – маял и языка себе, слова не находил. Денек, что ли, такой был, а с ним вместе дни эти, мало сказать – беспокойные; но в них же, под их пролетающими где-то в страшной высоте крылами, под бессильно торжествующим визгом радиопозывных была, жила явственно, стояла неколебимо какая-то не тишина даже – тишь. И весь вопрос, а может, и ответ сам был – там, в тени той тишины...

Троллейбус, колыхаясь, раскачивая в себе человеческую массу, завернул в заросшую кленами улицу и завыл, скорость набирая. Розово-дымный, стоял за домами недвижный закат – над скопищем частной застройки в низине, над облетевшими давно и наголо тополями поймы, притонувшими в сизом, исподнем туманце позднем, во мгле подступающей ночи. И в одном месте сквозило в нем, закате, – просвет не просвет, ла-

гуна ли прозрачная с палевым, с нежным донцем далеким-далеким, с облачком света... что-то сокровенное, да, не то чтобы подсказать пытающееся, но томящее. Безвыходно томящее, нехорошо, лучше не смотреть.

Хозяин отвернулся от окна, посмотрел: сброд. Огромный, расползшийся на полконтинента дом предательства и подлости. Немыслимой, все продали всех, не найдешь подобья ни в каких анналах. Ехали они – куда? Домой? Нет у них его, дома, все экспроприировала, заграбастала подлость. Огруженные за день суетой невылазной, мелкозубой грызней, отяжеленные нелепыми, как они сами, мыслями, обрюзгшие от них, руки кладью отмотав, глаза натрудя на лицах братьев бывших, на безликой морде вмененного в гражданскую обязанность безбратства, – пытались вернуться домой, которого уже не было. Молчком, лишь на передних сиденьях где-то в два ли, три голоса – о чужих ушах забывши, обо всем на свете: «Нет, но какая!..» – «А я сказала своему – не лезь! Тебе что, больше всех надо?! Защитничек нашелся! Пусть милиция с ними...» – «Вот-вот, вырядилась! Мэрша! Знаем, откуда все... шерсть ангорскую с цыганами – пудами!» – «А я что говорю!..» Шерсть пудами, тюками барахло, контейнерами морфлотовскими, составами воровство вместе с неизмеримой тяжестью безвластия и соразмерной тому безвластью несвободы – все это тащилось полосой железнодорожного отчуждения сначала, вокзалами, общественным с липкими поручнями транспортом, затем тротуарами с разбитой, в махру растертой подошвами листвой, мимо набитых газетным дерьмом киосков, а там и родимой постной затхлостью подъездов – затхлостью

едва ль не родовой, изначальной. Все спешило, хотело домой – захлопнуться, защелкнуться в истончившихся без государственных границ до фанерности стенах, задернуть окна, такими огромными ставшие и, вдобавок, с исключительно хрупким и малонадежным стеклом: в нашем не очень, может, культурном слое обнаружат когда-нибудь ужасно много битого стекла, да-да... через которое мы глядели. На свет Божий глядели в свежих накрапах майской и, право же, несерьезной грозы, на дымящиеся пургой крыши, коленками обжигаясь о батареи госпатернализма, на притворившуюся городским фонарем, среди фонарей затерявшуюся луну, – чтоб под конец, в конце всех этих концов собственной глупости и равнодушия чью-то жуткую узреть свободу ночи, косых теней... глупость и страх свой узреть, узнать в протеически изменчивой, смутной, как гаданье газетной халдейки, глубине отраженья и задернуться поспешно, заткнуться, нишкнуть, на нет сойти, как будто за дверью этой никого, не живут, разве когда в глазок только или днем в магазинной очереди на продавщицу поорать, но и все. Да, уж ночь, и даже эти, в кожанках, из комков своих поспешали, от гаражей, ногами перебирая, трупные жуки страны; даже мыльные мальчики эфира, такие храбрые на экранах, ироничные по причине невежества и постоянно снедающей охоты еще что-нибудь предать, заодно и продать, – даже они с прищуренной от софитов тоской посматривали на студийные часы, более чем досадуя на заезженный по спецзаказам, надолго теперь приткнувшийся в углу хоздвора дежурный «рафик», из баллонов которого кто-то из них успел уже вывернуть ниппеля. Уже, отослав молчаливых своих шоферов, в пижамное, по-до-

машнему обмятое облачились солидные управленцы, загнавшие измученных великой историей стариков опять в нищету, а молодежь-непоседу в своеобразно толкуемую, колониально-пестрым разрисованную будущность. Только, может, мелкое бакланье ошивалось по переулкам да молоденькие трешки фосфорически светили глазами с подмостков местного бродвея, из загаженных собачками и собственным присутствием скверов, но то уже было дело, то была просчитанная, на многих проверенная отвага профессионального риска, входящая, само собой, в стоимость услуг наряду с бижутерией и дешевым на них тряпьем, ключиком на пальце тоже.

Лежала в бабьей невменяемости страна, опоенная чем-то не то чтобы крепким, но дурным, а мужиков у нее, защитников не было. Так, приткнулся какой-то, подгребая под щеку половики и пустив на них слюну, да неподалеку сустились у багажников, перегружали что-то; а мужиков не было. Хозяином у магазина себя назвал... только и хозяйства, что в штанах. Жены теперь у нас хозяйничают, вот кто. Бабья власть. Никто не берет, они и взяли.

Взяли, с земли подобрали, есть такая партия – под каждой драной даже крышей, в самых, как твой учитель говорит, запселых углах жизни, сверху донизу. Холостяк, не все, может, ему знаемо изнутри, детишек-то своих за руку не водил – но ведь и видней со стороны, в этом-то ему не откажешь. Сильней, говорил, партии нету, тем более идею теперь ей подкинули, руководящую – выживать... Кого или чего выживать – не вопрос: мужской здравый смысл, чего ж еще, волю его к делу человеческому, а не животному. Ибо, говорил, какой

ценой выживать, – женщина никогда не спрашивала и не спросит, ее дело жизнь сохранить как угодно и хоть в каком виде, ребенка и свою, сейчас и сегодня – хоть даже ценой завтрашнего небытия нашего, общего, может быть. И упаси Бог упрекать ее в том и бесчеловечно спрашивать; но допускать ее к решению – какой ценой? – еще хуже. Некуда хуже, а мы допустили. Нас, мужчин, не стало, нашей воли нравственной, нашей вперед смотрящей заботы о завтрашнем не стало – и над человеческим завтра восторжествовало животное сегодня. Животный матриархат, уточнял учитель и кивал на город за окном, в этом свинюшнике. Место «мужа здрава и честна» незаметно как и когда занял чей-то личный обленившийся супруг, за право не ходить по продмагам, не мыть посуду и смотреть беспощинно ящик уступивший свое природное право решения, все сие под сенью профилактических со стороны супружницы сцен и скандалов, благо законодательством все это ей обеспечено... Впрочем, посложней все тут, поисторичней; и не муженька, конечно же, надо жалеть, а ее, поднявшую на своей горе с земли такую бяку, – ну, что она с ним делать будет, с этим правом, что делает?!

Нет зрелища печальней.

Самозабвенно, бедолага, до смерти может в тряпочках своих копать, в мелочевке, в следствиях – но причин поискать, в основания бед своих заглянуть и не подумает; ну просто в ум не придет, даже если таковой и есть, – поскольку, в буквальном смысле, не ее это ума дело, а твое, мужское. Зато уж никто лучше ее не сумеет отговорить правду-матку начальству в глаза резать или за други своя постоять – отговорит, не перескандалит, так уладит. И на площадку лестничную не пустит,

где соседа бьют, и, антигражданка первая, за рукав как мужа одернет тебя зло в очереди, когда куражиться в ней начнет какой-нибудь замухрышка пьяненький; но, само собой, первая же трястись подблюдками будет, глупая, ожидая запоздавшую с гулянья дочку, по комнатам ходить, обвешанным коврами, в халате и подвывать от страха. А при пустяковом, слава Богу, случае – заигрался сынок, рассек переносицу, кровью глаза залило, – обезумев, одуреет в истерике и будет биться жирной грудью обо что ни попало, не в состоянии даже кровь ему вытереть, остановить, рев ребенка остановить беспомощного, который не столько, может, крови испугался, сколько истерики мамашиней, – это она-то, такая в ссорах домашних беспощадная, зоркая, безошибочно знающая, где уязвить, прямой ногой не раз первой ступавшая на тропу семейной войны.

Она, повторюсь, не справится и с самыми малыми последствиями своей глупости, жадности и равнодушия, тебя пытаюсь заставить это делать, – но костью ляжет, а не даст тебе даже дотронуться до причин, их порождающих. Все-то приспособленчество убогое свое, в том числе свою и твою гражданскую подлость, оправдывая детьми, благом их безусловным, материальным в первую очередь, – она из них выделяет старательно, пока ты на работах, болтливых и ленивых вырождков, которых в булочную на углу за хлебом не прошлешь. И она ж теперь отказывается тебе детей рожать, вполне справедливо полагая, что этому рохле с усами ли, шляпой, погонями или другими какими вторичными половыми признаками ни в каком случае нельзя доверять будущее своих, то есть ваших, детенышей, не говоря уж о будущем державы, и победительно (да, именно так!)

не веря, что ты можешь обеспечить им ну хоть какую-то сносную жизнь завтра... И тебе, без особой благодарности жующему на кухне сунутое, договорное, возразить нечего, нечем, она ж права.

Это она теперь, а не кто иной, правит расчлененными остатками страны, растерявшей где-то на исторической дороге своих мужчин, она распоряжается мужьями высокопоставленными и просто поставленными к станку, окруженьями президентскими, мафиями, флотами и трудовыми, пригревшимися в теплом дерьме эгоизма, коллективами. Она осадит, направит, вынесет судебное постановление, выклянчит и перекукует. Она ж, кстати, сама и безотцовщину плодит, три четверти разводов не с чьей-нибудь – с ее подачи. Заметь при этом, добавлял учитель, посунув очки на переносице, что она очень хочет и старается сделать все как лучше – по ее понятиям, разумеется.

Ну, а потом, в недалеком времени, со стенаньями и нелепым самодельным причетом тебя ж кляня и на детей жалуясь, будет покорно она – никуда не денется – есть большой ложкой эти самые последствия, давить-ся, в разоренном доме озираясь, но так и не поняв, что и площадка лестничная, и беседка в скверике напротив, которую с гоготом доломали от нечего делать сынок ее с дружками-металлистами, и недобитый колхозишко в отдаленном районном кусту, совсем недавно так удачно ограбленный подрядами муженька-стройуправленца, – что это все ее, дурочки, большой и несчастный дом, а не чей-нибудь, не соседки-соперницы дача. Да и на пяти сотках дачка та, в общем-то, тоже.

И кто вообще скажет, чему она столь еще недавно радовалась в застолье, с набитым ртом визжа, хлопая

в ладоши и подпрыгивая задом на стуле от восторга перед душкой-растлителем на телеэкране, – тому, что выдала все-таки, вытолкнула дочку замуж с заляпанного коллективной спермой подвального тюфяка? Или, может, ранней самостоятельности сынка, который завел уже какое-то свое дело и за бабками не обращается больше, даже прикид на свои покупает? Но уж точно, что невзлюбив своему радовалась – временному, разумеется, – относительно следственных материалов, где сынок ее проходит как укравший у приятеля и загнавший усилитель английского производства и, одновременно, как предполагаемый наводчик местных специалистов по ракете, – на большее-то, кстати, и не способен, вяло лават... Изумлению не будет конца, ему, изумлению, в милиции и на суде все равно не поверят, сынка посадят, дочка разведется и начнет то ли прикладываться, то ли покалываться, а ребенка на тебя, стареющую, но все это завтра, завтра – ненавистным завтра, которое мешает жить сегодня, выживать сейчас! Ты даже и сама не знаешь, как глубоко, инстинктивно ненавидишь ты это распроклятое завтра вместе с его Божьим произволением, попуценьем и карой, – не меньше как вызов тебе, повелительнице нынешней, послушнице эпохи, ведь приказано эпохой, взвизгнуто, лозунгом выкинуто: выживайте, все дозволено!..

Бедная ты бедная, пожалеть тебя и некому, и не за что.

– Там сходят впереди?

В ответ ему было молчанье, никто почему-то головы даже не повернул.

– Товарищи господа... как называть-то вас теперь? Сходите иль нет – а, господа? – Кто-то враждебно оглянулся, но опять ничего не сказал. – Гляди, и правда

господа, отвечать даже не хотят... Попробуем по-другому: совки! Ага, вот... господа совки! Вы сходите там или нет, отвечайте членораздельно!

– Да сходят...

– Сойдешь, заткнись. – Голос злобный, но неуверенный. На выходе оглядывается, ищет выпуклыми глазами какой-то крупный, чуть не на голову выше других мужик в джинсовом с длинным козырьком кепи, с орлом из Монтаны.

– Я знаю, что сойду, только мять вас, знаешь... противно.

– Заткнись!

– А грубость почему, я извиняюсь?! – грозно сказал братан – так, что все отвели глаза. – Я извиняюсь! Мы пока вроде никого не трогаем!.. Мы трогаем кого иль нет? – обернулся он к гостю, и тот от неожиданности, от растерянности кивнул головой. – Вот так!

– Ну, тогда не сойдешь.

– А почему это я не сойду... хотел бы я знать! – Братан крутым плечом прокладывал уже дорогу, и все, как могли, старались расступиться. Троллейбус остановился и скрежетал задними дверьми, пытаясь их открыть, но то ли эта поднявшаяся суতোлка не давала, то ли мужик тот. Из передней уже вышли, и какой-то раздраженный голос там выкрикнул: «Поехали, нечего там!..» – Куда вам ехать... приехали уже! А ну, освободи дверь – ты, демократ! Освободи, говорю!..

– Счас... Вылезешь у меня!

Они как-то сразу схватились, с ходу; троллейбус в это время тронулся, и в разрозненном негромком крике кто-то шарахнулся от них, даже в толчее этой подальше сумел, за других; а брат одной рукой, другая с сумкой, за локоть схватил того, стоявшего к нему боком,

и рывком притиснул к стояку, не давая развернуться, руки пустить в ход... Опять закричали водителю: «Заднюю!.. Остановите – заднюю!» – а он, не зная, как брату помочь в тесноте такой, догадался наконец, руку его нашел и перенял, перехватил сумку, освободил. И тотчас уперся Иван, толкнул, развернул почти спиной к себе врага, куртку ему на голову задрал, а троллейбус с маху затормозил, завалил к переду все содержимое, и двери с грохотом открылись. Он успел услышать: «Выходи, Сергей!..» и еще чье-то, бубнящее: «Напьются...» – увидел, как оторвался брат от того, с козырьком своим на бургера похожего, и как достал бургер его – уже на нижней ступеньке, вдогонку, кулаком одутловатым. С сумками в обеих руках он спускаться начал, и тут маленький какой-то, со злобной в углах ощеренного рта заедью, которого до того вроде б и не было здесь, – маленький пнул его и ручонками, ручонками толкнул. И он вывалился с сумками, и прямо лицом бы упал, в гравий с растоптанными окурками, не успел бы руку даже подставить – когда б не брат.

Еще кто-то слезал и чуть не бегом подальше отсюда, а брат уже чехол через голову сорвал, дергал, расстегнуть пытался. И сказал в загудевшие, закрыться готовые двери, в пятна лиц, непонятно глядевшие оттуда:

– Совки пог-ганные.

И глядел, пока троллейбус, утюжа осадисто дорогу и подвывая, не скрылся габаритками своими за поворотом, – а руки своё делали, привычное; и клацнул, закрывая стволы, затвор.

– Ну, не дури... – сказал с тоской гость. Он уловил в стволах латунный блеск патронных донцов, но не в том даже было дело. Вся нелепость, дикость происходящего

с ними сейчас, во все дни эти, опять навалилась, впору потрясти, помотать головой... – Совсем вы тут одурели. Заряжено же.

– Совки, – убежденно повторил тот и наконец перевел глаза, губы его презрительно дернуло. – Побить – и то не могут...

На пустыре, кроме остановки и газетного киоска у полурастащенного забора стройки, ничего не было. Огромное недостроенное здание с грудями битого кирпича на рельсах, с которых за ненадобностью уже и кран увезли, закрывало смеркшийся закат; зажечься пытался, судорожно дергался бледным светом единственный во всей округе фонарь на столбе, и оттого было все вокруг ночным уже, поздним. Над верхней одинокой панелью бетонной с отверстием в небо оконным проемом сквозила и пропадала в безмерной дали первая звездочка – не путеводная, нет. Пути здесь, внизу, казалось, не было. Был, в крови завещан был путь к ней самой, но и он сейчас тоже не то что недоступным, но каким-то неясным оставался: как, минуя все тяжкое это, земное, – к ней, вроде бы ждущей, но и пропадающей там то и дело, неясной такой, неизвестной? Веры не хватало.

И чему он радовался, в чем он покоился, этот нынешний денек золотой, не здесь – там, на бережку, на бревешках? Что он такого знает о нас, мир Божий, чтоб радоваться так?

Или, может, вовсе мы не связаны никак – он, денек, сам по себе, а мы, в безумии равнодушия своего и одиночества, сами? Тогда все напрасно, все зря. Если нет в нас иного, чему порадоваться бы стоило, чего сами о себе не знаем еще, – тогда ничего впереди, кроме тоски существования... Мы даже одного тогда такого денька

приветного, может, не стоим – все вместе. Всем скопом своим, всем гамзом спятившим здесь, где и тысячелетние труды, муки обречены, и трехлетние деревца, все еще по какой-то зелентрестовской инерции высаживаемые под ноги нам, толпам...

Как-то заторможенно, будто впервые попал сюда, оглядывался Иван; и остановил глаза на киоске пустом, на прилепленной изнутри к стеклу очередной «хари-хара». Правда что харя – но смотрела в отсветах фонаря серьезно, внимательно из припухлых век, словно чего ждала; и самую разве малость тронуты были извилиной усмешки губы и прищурены недобрые глаза.

– Гляди, презирает...

– Ну, не надо... – еще раз попросил брат, тоска неприя не покидала, – кончай.

– Кому не надо, ему? – неожиданно засмеялся он. – Конечно, не надо. А мне... меня они спросили? Не спросили. А зря. Что-то они тут перемудрили, умней себя захотели быть... и зря. Поторопились.

И взбросил ружье к плечу.

И, помедлив, опустил его и выругался.



Свет ниоткуда

В какой-то момент сна, предутреннего, уже беспокойного, ему то ли приснилось, а то ли, может, помстилось в блужданиях между сном и явью, что город – сдох. Так явственно это предстало, что уж никакой не догадкой, не подозрением, но прямым знанием было, видением: да, сдох, содрогаясь в мутной, в беспросветной какой-то злобе, в испражнениях страха перед самим собой иль равнодушия... да, равнодушия своего неодолимого, зоологического, неподвластного даже страху и злобе. И словно облегчение какое, вздох неслышный облегченья этого пронесся точно весть, точно ветерок мгновенный трепетный по всем ближним и дальним округам, по обиталищам человеческим и звериным, приютам растительным, разоренным и опозоренным пред лицом Господа... именно Господа, это помнилось потом, хотя верующим он себя назвать вряд ли бы мог – навряд ли. И еще ветерок этот не стих, затеряться не успел в отдаленных областях сна, как он проснулся и снова ощутил его на лице, в волосах. От окна несло жестким холодом; а город за окном жил – в морозном смрадном дыму, в сутеми утренней, сутолоке у видной отсюда остановки, куда подкатывали по временам автобусы

и, набитые до животного кряхтения, провонявшие «Сти-моролом», тяжело отваливали, отползали, растаскивая помалу толпы людей по всем направлениям их покорности.

Их, этих людей, нельзя было не презирать – за все, что они сделали или позволили сделать с собою, со своим. Как нельзя было объяснить и все происшедшее с ними, которое ничем, кроме равнодушия и подлости, не объяснялось, хоть ты всю земную и небесную мудрость перерой. Но он уже привык, успел-таки притерпеться ко всем таким мыслям, к этой – нельзя не презирать – тоже, и, торопливо одеваясь, натягивая все теплое, что догадался захватить с места жительства своего, равнодушно поглядывал в окно, примеривался к ожидавшей уже его и не обещавшей быть легкой дороге.

Но еще не отошел, не отодвинулся сон: *urbs venalis**

Продажный город этих людей, он в самом деле не имел прощенья, хотя бы уж потому, может, что сам не знал, что это такое, не знал пощады ни к кому, к себе тоже. Не только этот, с восьмого этажа общежития грязно-плоский сейчас, несмотря на провинциальную заснеженность, расплзшийся под сумрачным, тяжким, все дали в себе заживо похоронившим смогом, никак не отдохнувший за ночь, обесчестивший ее, ночь очередную, – город вообще, город как тупик человеческого, обреченность людского. Что ни говори, а в степном, далеком отсюда поселке городском при комбинате, где вот уже шесть лет изживал свои предрассудки бытия Ратников, это не бросалось так в глаза: чем-то вроде того ж общежития при новом производстве был городишко, все временно, наспех пока, на-черно, все еще при желании переделать можно, казалось, переменить... Здесь меняться было, похоже, некуда.

**urbs venalis* (лат.) – Продажный город.

Сюда он приехал поездом еще два дня назад, заночевал тут у однокашника бывшего, такого ж гумани-рия-расстриги, вчерашнего аспиранта и вдобавок разведенца, городской женой выставленного опять в общежитие. А к родителям в Богоявленку выехать пока так и не смог: даже и до райцентра дорога была насплошь, говорили, перехвачена крутившим здесь несколько дней сряду бураном, автобусы не ходили, а следом навалился мороз этот, по здешним понятиям невиданный, ночами до сорока шести; и лишь вчера под вечер в справочной со скрипом дали понять, что наутро, возможно, будет до райцентра местный самолет. Отгулов у него набралось на неделю с лишним, стоило попытаться и на перекладных.

Было и дело, конечно; ну, не дело если, то, как отец говаривал, заделье. Ратников и сам до сих пор затруднялся определить его для себя окончательно, тем более решить. Еще и тоска была какая-то по дому, по единственному своему, иного так и не успел завести, – глухая, уже взрослого и оттого непроворотного почти замеса; тут-то понять можно: под тридцать мужику, а ни семьи, ни жилья даже, все по общагам по тем же, в непроломной чужени. И старики, конечно: с весны не видел, с отпуска, отец проболел насквозь, мать в хожалках за ним и за скотиной, и чем поможешь, как? Деньгами? Что-то всегда остается дома – недожитого, не взятого с собой... много чего оставалось, всего нехватишь. Другой вопрос, стоило ли вообще бросать, оставлять?

Не стоило, конечно, – даже для того, чтобы уразуметь, понять, что оно и почем там, во внешнем, за воздушно незыблемыми стенами окоема сельского своего, много чего обещавшего когда-то. Не стоило оно труда и ма-яты уразумения и навряд ли посильно кому вдобавок;

но мужиком родился, хотел узнать и вот узнал – непомерно, иногда казалось, не по силам много узнал, пропади она пропадом, деревенская эта тяга к знаниям полоротая, знанья эти, с которыми хоть не жить...

Не жить либо заново и начисто все позабыть опять; но это не в его, считай, уже было воле, и единственное, что оставалось, – не верить им, подколодным, не принимать по большому счету во внимание... не внимать, именно так, пусть даже – по видимости – все вроде бы по их рельсам катится, в тартарары катится напрямик.

Все это, впрочем, было рефлексией все того же знанья; а сам он, в поездку собираясь и по дороге домой, жил эти дни как-то заторможенно, сам не мог поначалу понять – с чего, все вокруг себя отчужденно принимая и едва ль не равнодушно, лишь как происходящее, без смысла и толку сменяющее одно другим, и только. Череды нескончаемая суетных, пустых лиц, подневольных инстинкту толп, дымы большого мороза, смута неявной беды во всем, на всем – и не объединено какой-никакой связной жизнью, розно все, распадом тронута иль изъедено уже в труху и лишь на общей всем, наспех сооруженной и зыбкой лжи каким-то чудом держится еще... Воплощенное безвременье, державные часы остановившее, оно же и временем немислимой, жуткой правды стало – о нас самих. Стоило родиться, чтоб посмотреть на это дрянное из всех, от века не бывавшее диво человеческой лжи; но в невольной той, его-то натуре вроде никак не свойственной отрешенности в себя уходя, в безмыслие иногда совершенное, казалось, безволие, он временами чувствовал вдруг себя словно бы на подступах к чему-то иному, нежели бедствующая человеческая мысль, гораздо более существенному и важному для

розной, большой жизни этой... К чему-то не то что объяснявшему все происходящее, нет, что тут объяснишь, – но дающему некую уверенность безотчетную, детскую почти, что все это – пройдет, истина свершится...

Она ничего никому не стоила, эта уверенность, была безосновательной в сущности и бездельной, потатчица темным инстинктам и грехам нашим, – но она была. Оглядываясь, он видел порой на некоторых вокруг себя лицах отсветы некие, самодовольно-жалкие оттенки, если не сказать – гримасы ее, безмысленной, праздной, по-бабьи уверовавшей в себя, и его передергивало отвращением к ним и к себе среди них... это – народ? Или то, что совсем еще недавно вроде бы этим самым народом казалось, – неужто это лишь казалось? Неужто нам лишь казалось, что мы – есть? И вот не то что небо на землю рухнуло, другое какое великое испытанье навалилось, нет, но скрепы какие-то родовые перегнили, видно, на-совсем, не стали держать, но самое время, над которым род утратил какую-никакую власть свою, вкривь пошло куда-то, вкось – и развалилось все, расселось, распалось в серый песок совковой разбродной толпы, какими-то подонками, как козлами на бойне, водимой, в беспробудных ожиданиях пребывающей, в равнодушие и недомыслии, разрешить которые сама толпа никогда не в силах.

И то, что его, в первой картотечной колоде у надзирателей давно прописанного и человеком толпы, как он надеялся, никогда не бывшего, – что его каким-то вот боком и в неразделенной тоске на день-другой, на время дороги домой прибило теперь к ней, толпе, к собратьям своим, о братстве забывшим и думать... Нет, здесь было что-то большее, чем многолетняя усталость и одиночество, почти что покинутость братьями своими вчерашними.

Тут вызревал давно, вырисовывался и какой-то выбор пути, сам путь, первой вешкой которого и была, может, временная эта, он хотел верить, безнадега русского его дела, это тяжкое, почти что мистическое ощущение своей покинутости.

Она ниоткуда была, эта неявная и в то же время не ложная по чувству уверенность, ни от каких надежд и упований, давно просроченных, и уж тем более не от знаний. И не от его хотения, желания веры, какое было, в сущности, ничем иным, как признанием, что веры-то этой самой как раз в нем и нет. Ни по какому разряду суждений его и догадок не числясь, не давая утешенья и даже не обещая его скоро, она тем не менее все ж была.

Он пробовал думать об этом, но все мыслимое, во что пытался он хоть как-то облечь это смутное и необыкновенное ощущение уверенности в свершавшемся, тотчас начинало терять смысл, расплываться, логические связки тут не работали, Бог знает какой чепухой замещаясь... и, главное, сама уверенность эта, сама надежда на нее таяли и пропадали в нем, и свет, без того-то едва брезживший впереди, уходил, сливался опять с тьмою оставленности. Выходило диковатое: то, что обнадеживало вроде бы, что обещало избавление всем им, собратьям неверным, от унижительного и губительного этого равнодушия их и самозабвения, обреталось лишь там, в той отрешенности от всего, забытии... Он дергался, вскидывал голову и долго, приходя в себя, смотрел через замороженное насквозь, в мелких звездчатых снежинках вагонное стекло на степь, доверху заснеженную, на подернутое чужестью небо и на то, как умирало в фиолетовой дымной нежити у горизонта маленькое, скукоженное до неузнаваемости и как никогда смертное солнце.

II

Приятель из гуманитариев, по его утверждению, не выбыл, хотя устроился обозревателем в одной из новых газет и занимался теперь делом, от этого далеким. Ратников так и сказал ему, добавив, что газету эту на комбинате у них именуют «шлюшкой». «Ну, не скажи, – покривило губы у того; но справился, улыбнулся, чувства своего превосходства он почти никогда не терял. – Газетное дело, если хочешь знать, всегда было и остается в западной гуманистической традиции... это продукт гуманизма, причем главный, как сейчас выяснилось. Первейший, старина. Перед ним даже государственная, политическая власть – туфта, производное от него... что, по перестройке не видишь? А уж о Ренессансе говорить, о Мирандола, о Леонардо... Это все – цветочки, для простаков. Картинки. Ты, я гляжу, подзабыл там азы». – «Вне православной традиции? Ну да, – вынужден был согласиться он. – Чужое, точно. И враждебное, вражье, хоть продажу земли взять, которая у нас... За которую вы всю тут ратуете. Нехорошее, скажу тебе, дело, воровское. Вы хоть понимаете, что творите?» – «Ну, ну... Это все пустяки, тактика... легкий соблазн переходного периода, скажем так, поскольку все куда сложнее. А вот ты напрямую ломишь – в гражданскую, что ль?! Кто там у вас бузу политическую поднял? Хорошо еще, не поддержал народ, а то бы... Да это вдесятеро соблазн, в тысячу!» – «Правда соблазнять не может, не ври, – уже зло сказал он, – только требовать. Не передергивай. А народ...» – «Да уж, народец наш еще тот! – весело, как ни в чем не бывало подхватил приятель, мгновенно взрезав банку тушенки. – Вот возьми современного русского человека...» – «Бывшего русского». – «Ну, пусть так...

отдельно взятый – симпатяга, милашка! Очарует кого угодно, равных ему в мире нет... Ну, любит в обаяшку играть, ну что с ним поделаешь! А вот соборный портрет, сам понимаешь...» – «Какой народ?! Какой, к черту, соборный... сборный, хочешь сказать?» – «Коллективный, скажем так». – «Мерзостней поискать», – медленно сказал он и сам почувствовал, как стянуло ему судорогой усмешки лицо. Соглашаться с ним не хотелось, не согласиться опять было нельзя. «Ну вот, приехали... А мы, между прочим, куда снисходительней на него смотрим, не в эмпиреях живем – на земле и в праве называться народом ему не отказываем». – «Называться или быть?» – «Это пусть он сам выбирает... Скучные вы люди, однако. Давай лучше выпьем. Новый же год, – он отвернул на запястье рукав пиджака, – на носу, пять часов осталось. А слушай, брат Егор, – сказал он не вполне, впрочем, уверенно, – не пойди ль тебе со мной?.. Баба у меня ничего, с квартирой, коммуникабельная... Ох, переселюсь, видит Бог! На ночку тебе найдем, есть у нее знакомые. С вахты звякнем сейчас... Да, у тебя-то кто есть там? Подруга какая-нибудь?» – «Да есть...» – «Что так нерадостно?»

Егор пожал плечами: радоваться? Не без этого, конечно... не без удовлетворения. Вспомнил, как сказал Маше, довольно уж давно и полушутя: если даже не ты, то я буду любить – один за двоих, этого достаточно... Нашел чем шутить – в деле, где и вдвоем не справиться. И в Богоявленку вряд ли она поедет жить, городская, к этому он, считай, уже готов; а место в школе нашлось бы, звали же весной. До того уже дошло, что вчерашние выпускники предметы ведут, а то и вовсе неучи, люди случайные... Ребятишек хотя бы научить не верить не-

добрым знаниям, полузнанью этому, готовыми быть ко всему. Вот это он может, это – его. В конце концов и человеку, чтоб самим собой остаться, надо дома жить. Дома, хозяином, а не квартирантом вечным, каким помыкают, как хотят.

Не поедет?

Похоже на то. Похоронить себя в деревне – так это у них называется. В самом ведь деле, затянет окна ненастьем, залепит снегом, застонет труба печная, завздыхает – чем не за упокой, в воскрешенье-то не верят. Да он и сам-то – готов ли, верит? Вот она еще почему, заторможенность эта его нынешняя: решать надо, принимать решение. Всегда, сколько себя знал, всякий серьезный выбор чем-то подобным, похожим в нем отзывался... Хоть распределение то же вспомнить после института. Вечер тот весенний, знобкий, ночь – когда, ни много ни мало, предложение решился сделать той, первой, с собой позвал, и как она отказала, как-то буднично, ничуть ничему не удивившись, будто каждый вечер это слышала и делала – с будничностью едва ли не оскорбительной. А перед тем неделя оцепенелости какой-то, опустошенности, одновременно что-то вроде передышки – перед делом, на которое решался. Ничего не скажешь, продлила она ему молодость, холостячество уж во всяком случае. Продлила, растянула, хоть благодарить. Одно дело, что забыть не получалось, но эти-то годы с ним, они – его, какие там никакие. Печальней, что себе-то она как раз то будничное оставила: сначала сынок какого-то начальника, двое детей, развод потом, второй избранник и вовсе алкаш... С буднями осталась, с женскими своими жалкими расчетами, не зная, что рассчитать этого нельзя.

Домой надо. А там, на комбинате или где еще, он теперь не жилец – незачем там жить и нечем, считай, успела подкорка поразмыслить. Иль подсердечье – ну, это так, лирика. К ребятишкам надо, с самого начала все начинать, снова, на них одна надежда.

Но не гуманитарию же все это говорить и не женщине. «Нет, Владя, иди один. Отдаю эту ночь тебе... на поток и разграбление. – И заметив какое-то в нем недоумение, будто бы неудовольствие даже, пояснил: – Мне она не нужна просто... понимаешь ли? Ну, не нужна. Выплюсь у тебя тут на дорожку. Праздновать мне нечего». – «Даже Новый год?» – «Какая разница! Вообще не понимаю, что может праздновать опущенный, у параша...» – «Слушай, ты не обижайся, старина... ты не находишь, что стал там у себя несколько, скажем так, грубоват в суждениях, во всем? Что упрощаешь слишком все и даже как-то... ну, как это выразить тебе... элементарен, что ли, стал в подходах своих ко всему, прямолинеен? Н-не беспокоит это?...» В другой раз, в иное время это задело бы Егора, прощать он умел плохо, хотя иногда старался. Сейчас он глянул спокойно, насмешливо, сказал: «Ну не криволинейный же...» Тот было заспорил, но, подернув опять рукав на часах, заторопился: надо, дескать, заскочить еще кое-куда. Время скоростей, и ничего тут не попишешь – даже пишущему человеку. Да и шампанское успеть взять, то-се. «Вот-вот, – помог ему Ратников. – За крышу спасибо. А ключи, как договорились, вахтерше сдам. Ну, давай!.. И не хами там девушкам».

III

Машин, тракторов ли до Богоявленки не было уже дня четыре или пять, грейдер перемело, говорили, двухметровыми сугробами, набело заровняло и видные отсю-

да, с окраины райцентра, небогатые овражистые межполя, изреженные лесопосадки. И все бы еще ничего, когда б не мороз... Он заставил попрятаться, он остановил все, кроме немногих людей и самой их грубой и терпеливой техники, скрежещавшей по твердому, крошащемуся, как схватившийся цемент, снегу. И люди сами не ходили, не бегали даже – передвигались в нем с замедленной, с неуклюжей поспешностью, которая ничему не помогала. Все как-то враз спасовало перед ним, стало не тем, не таким, каким привыкли видеть... жалким, да, и ненадежным вдруг, не готовым к этой навалившейся сверху, со всех вселенских сторон неожиданной силе, к той не голубеющей уже, но какой-то космически-сизой, стылой выси над головой. Все мерки годности, прочности, приспособленности на глазах сдвинулись как-то, поползли под сплошной этой глыбой тяжелого для дыхания, туманно искрящегося, как базальт, отвердевающего воздуха, под снижающимися сводами первобытной – неизвестно перед чем и за что – боязни, неуверенности в том, чему давно вроде бы уже и самонадеянно привыкли верить... Еще утром, в городе, глядя на нелепо и тяжело перебегающих, как под обстрелом, из магазина в магазин, на топчущихся растерянно, ошеломленно у остановок горожан, он подумал вдруг, без жалости и даже злорадно: почаше б так... Чаше бы – чтоб не забывались.

Он весело, зло вспомнил об этом и в самолете, где уже и самого его мороз не пробрал, не прохватил – твердеющим костяным рогом прободал насквозь за тот час с небольшим, пока поношенный, крашеный-перекрашенный, побитый весь какой-то «ан-два» с дюралевым – только что заклепки не выскакивали – дребезгом одолевал густой, подсиненный на солнце воздух и тянувшиеся вниз

бесконечные снега без единого, казалось, знака жилья ли, тепла, человеческого вообще присутствия. Он обошел чуть ли не все, какие знал, транспортные забегаловки и стоянки, вроде сельхозтехники или бывшего райкома, уже понимая всю безнадежность, даже нелепость своего предположения, что кто-то и куда-то мог поехать теперь из Богоявленки, если и здесь-то не все еще успели толком откопаться, а редкие грузовые машины могли проехать лишь по одной, кажется, центральной улице с наспех провороченной бульдозерами колеей, которая больше с траншеей была схожа. По домам отсиживались земляки; это и есть дом – там, где можно отсидеться, отойти, наладить себя. Совсем рядом уже его дом – а недостижим, недосыгаем, как в соседнем измерении... как недоступна стала недавняя совсем, всего-то несколько лет тому, мальчишеская еще досада на слишком основательно, малоподвижно устроенное бытие, в котором, пожалуй что, и скучно было бы жить, когда б не молодость... Избавленный от скуки, от дома и, кажется, от молодости уже, кто ты есть теперь? Районной гостиницы постоялец?

Ему повезло с той решительностью, которую – в запале благодарности неизвестно кому – называют чудом... вело что-то его, что ли? Уже оформляя очередную свою ночевку средь чужого – теперь в холодной силикатке гостиницы, – он сведенным еще ртом сказал дежурной, что вот, мол, всего ничего осталось до дому, а не попадешь, не на чем...

– Куда это?

– Да в Богоявленку. В такой мороз ни пешком, ни...

– Обожди, – простовато оборвала его она, – да-к вон один жилец говорил, что богоявленских видел none... мол, на тракторе приехали. Ну-к погоди...

Она проворно – понятливая баба какая! – вынесла полноватый свой стан из-за конторки, просеменила в коридор, постучала там и едва ль не тотчас вернулась с каким-то помятым, уже подвыпившим мужиком в валенках и полушубке внакидку.

– Да только вот, – сказал мужик. – На сливпункт приехали, сливки сдавать. На тракторе, это. Сливки, это, сдать.

– На маслозавод, что ли?

– Ну да, на сливпункт. Это если вот так иттить...

Когда он, то с сугроба на сугроб тащась, перегоревшие улицу, а то на тяжелую трусцу переходя, где поровнее, добрался до окраины, наконец, до конторы маслобойки, богоявленский трактор с дощатой санной будкой на прицепе уже стоял, тарахтя, на выезде. Тракторист Гандобин – он не без усилия вспомнил, что зовут его, кажется, Сашкой – узнал его сразу, не удивился и поздоровался так, будто виделись они только вчера.

– Доедем?

– Не заглохнем если – доедем...

И, с накладными еще в руках, отказывался кого-то там подождать: «Вы гляньте, сонце где!» – его две бабы свои, богоявленские, уговаривали, а солнца уже не было, лишь натужно розовело остатним светом единственное в темном коридорчике конторы заиндевшее даже изнутри окошко.

Ждать опоздавшую пришлось совсем недолго; и он самую даже малость не успел отогреться, разве что лицо отошло, губы слушаться стали, – как опять надо было выходить. Ехало шесть человек сельских, своих, одна в кабине, счастливица; а он со своим оказавшимся здесь одноклассником бывшим – везет на однокашников – полез,

втиснулся вслед за другими в будку. На теплоэлектростанции где-то слесарил Седнев, успел похвалиться, а теперь вот в отпуск передохнуть ехал, продуктами разжиться. И еще не умостились толком на пустых молочных флягах, как трактор впереди взрыкнул, будку дернуло и с визгами, стонами поволокло куда-то вбок, в раскат ударило, потом в другую шибануло сторону, и дорога началась.

IV

Те двадцать семь километров, которые предстояло одолеть, он пробовал промерить когда-то ногами; правда, всякий раз попадалась какая-нибудь попутка, дело оборачивалось скорее прогулками, чем трудом, ходить любил. Он, может, и теперь попробовал бы это, будь градусов десять-пятнадцать, ветер попутен и пробита дорога, – но чего нет, того нет. Как понималось, только нужда заставила гнать трактор в такую дорогу... копить, держать сливки эти стало негде? Скорее всего.

Седнев добрался до райцентра на машине с производства своего, переночевал здесь у родни, был накормлен и подогрет, а потому начал что-то рассказывать сиповатым своим говорком, наклонясь к нему, мотаясь от рывков и водкой отдыхая из закуравшего поллушубочного воротника.

– У тебя ничего с собой? – перебил он его. – С утра на морозе, заколел...

– А зачем? Домой приедем – еще жажну, у отца всегда есть... А у нас так! Нам не дай попробуй... перекроем ток, тепло – и кукуй. Зарплата – я те дам, только в банках выше... импорт закупаем, квартиры... уметь надо! Прижимают, правда, щас. А ты вон где... а я думал – в городе. Часа три протащимся, поморозим сопли...

«И этот удачник. Кому война, а кому мать родна. А поглупел, – с сожалением подумал он. – Среди чужого глупеешь. Тихий был, себе на уме... разговорился. В трактористы б ему – глядишь, добрый мужик бы вышел. А тебя в напарники к нему. Нет, врешь: это раньше были напарники, теперь наоборот: на каждого два трактора и комбайн в придачу, все старье, без запчастей, солярки тоже нету. Поглядеть бы, какой из тебя тракторист вышел».

В будке быстро стемнело на нет: дверку входную они сразу закрыли, чтоб не завевало ветром движения и снегом, а маленькое окошко впереди так заросло грязью и поверху инеем, что, когда Гандобин включил там фары, заднюю тоже, свет ее желтоватый, качающийся пробивался сюда только временами, на рысканьях колеи, и не освещал, даже ближних очертаний толком выделить не мог, а лишь сеялся морозной мутной пылью их дыханья, остатков их тепла, как тисками какими выжимаемого этой несусветной, невесть с чего навалившейся на все жесткой стужей.

Он, как ему казалось сначала, в дорогу был неплохо одет и, главное, не в ботинках, а в чесанках, тонких, правда, и мягких, франтоватой богоявленской выделки – мать навязала, он и держал их у себя на случай зимней дороги именно; и вотхватило ума: хоть и колебался, а надел при выезде. Галоши накалялись, вдобавок стали от мороза соскакивать, и он еще в аэропорту снял их и сунул в сумку. И пальто было не из плохоньких, в семье добротность ценили, и свитер под пиджаком шерстяной, плотной вязки, с мальчишек любил те романтические, времен варварского сибирского покорения, свитера, а вокруг голубую-голубую тайгу, которую увидеть так и не довелось пока, не доедешь, а вот родней родной... Теперь

добротность эта гляделась жалкой. Отчего-то жалко стало все: тайгу, вместе со страной раскуроченную, одичавших до неузнаваемости людишек, какие тяглом, работным людом государства будучи, куда достойней выглядели, нежели свободными рабами своих инстинктов ныне, инстинктами раскрепостясь... сброд придурков, рушащих себе все, своим детям порнуху продающих, отравленную консервантами жратву, уже и за счет своих самых ближних каждый выжить хочет, ну придурки же – а все равно жалко. А ребятишек – больше всего, вот уж кому не повезло с родителями... Не пережалеи. Сами себе выбрали, сами за козлами пошли, детишек своих повели; все мы виноваты, всем и отвечать. Не себя жалко – возможностей своих. Себя, слава Богу, не привык жалеть, не велик праведник – столпником согнувшийся на колхозной, уготованной кем-то ему побитой фляге ледяной, угнувшийся в себя, в нутро свое безнадежно темное, где ознобно дрожал, беззащитной шкуркой передергивал последний в нем комок тепла.

Давно замолчал Седнев, не в силах перенести совершенную безответность соседа, перекричать грохот и взрыкивания трактора, сварливо-многоголосый скрежет и взвизги полозьев под будкой. Еще раньше умолкли бабы, укутавшись с лицами в пуховые шалешки, – вот уж кому к терпению не привыкать, везде у нас баба крайняя. И все нужда: у одной, по разговору, сестра в больнице, где голодуха теперь, у другой что-то с дочкой в райцентре, что-то семейное, неурядливое – не хочешь, а поедешь. Лишь папиросные затяжки мужика с Выселок, в углу у двери сидевшего прямо на полу, смутно высвечивали порой их, согнутых тоже, друг к дружке привалившихся. Трактор опять, в какой уж раз, поворачивал куда-то, дорожный замет,

может, объезжал; будку взбросило, накренило и так потащило вверх – и ухнула она под сквернословья мужика, завалило их к передней стенке, фляги под ними сдернуло и поволокло вперед... И раз за разом, как ни сбавлял скорость трактор, пошло так, с горы на гору, с одуряющим, с изматывающим однообразием, растрясая, не давая ужаться в остатках тепла своего, всякую вытрясая веру, что это когда-нибудь кончится...

От безнадеги этой он тоже попробовал закурить: сигарету достал, нашел ею онемевшие губы, сунул, стал чиркать спичкой, принаравливаясь, пережидая очередной дорожный увал. И промахнулся, сам у себя выбил коробок, не смог удержать его совершенно зазябшими пальцами – и тот, брякнув, улетел куда-то, под ноги или в сторону – не понять. Нагнулся, попытался нашарить его на полу, в мерзлой трухе соломенной, и только теперь ощутил, как застыли его ноги, ступни в чесанках, – будто уж отдельные, отделенные от него, лишь ниточкой-другой нервной связаны еще, дают знать... и стукнул по ступне, и тупой, словно чужой болью отозвалось, стуком посторонним, чужим. Все, больше нельзя ждать, терпеть; что-то делать надо... что?

Он встал, пригнувшись под низкой потолочной, потоптался, зная уже, что делать надо, нашел голову, потом плечо Седнева, позвал:

– Ты как?.. Пробежимся?

– Н-не. Погожу...

Зашевелился мужик тот – Чевычалов, сразу и ясно вспомнил он фамилию, – но ничего не сказал. Тогда он толкнул дверь, ничем не запертую изнутри, плотно в косяках сидевшую, – и та распахнулась, гремя накладкой, наотмашь открылась в ночь, в степь.

V

Держась за наружную, вбитую в заднюю стенку железную скобу и за косяк, он сосступил неуверенными, плохо служащими ногами на широкую, ниже дверцы, доску, что-то вроде приступки, – и небо бросилось в глаза, совершенно уже ночное, полное звезд черное яркое небо. Они висели, звезды, ниже и выше – ясные, переливающиеся, они просились в глаза, с отвычки городской близкие, почти доступные, будто просевшие к скованной стынью земле... или, может, это сама степь так высоко завалена была непроходимыми снегами, приподнята была к ним, ко взысканью этому Господнему, страху Его и последней красоте?..

Даже у горизонта, смутно сереющего снеговыми взгорьями, звезды были так же крупны, лишь мерцали настойчивей, мигали, звали; но нет, не звезды одни только, но и человеческие, цепочкой вытянувшиеся огоньки далеко справа, и он сразу угадал, узнал их: Околки, деревушка дворов в тридцать, как-то раз бывал в ней. Дальше пролежала до самой Богоявленки двадцатикилометровая, считай, безо всякого жилья пустота – с колками березовыми, с речушкой, поросшей сплошь ивняком и бересклетом, вровень с берегами заснеженной теперь, с лесопосадкой по долгим, томительно просторным пологим увалам, ковыльным взлобкам.

Дорога здесь, на подъеме, вся была перерезана идущими со стороны темного безвестного поля снеговыми языками в рост вышиной, их-то и одолевал натужно, с неуклюжестью силы через каждые двадцать-тридцать метров трактор, капот задирая, карабкаясь гусеницами в глубокой и грубой, им же самим проложенной утром колее. Высоты полозьев будки то и дело не хватало,

и тогда она то драла, то с хрустом шипела днищем по замороженному снегу, заваливалась вся, и упасть набок ей мешал лишь все тот же снег по сторонам. Под приступкой ее он вовремя увидел волочившийся на коротком, в какой-то метр с небольшим, тросе железный крюк – не наступить бы, на дорогу спрыгивая. Скорее всего, по ширине судя, были это раньше просто тракторные открытые сани для соломы ли, сена, а крюк нужен был, чтобы натягивать через него веревкой слегу на поклаже, бастрык.

Нет, не быстро шел трактор, не отстанешь, и он дотянулся, закрыл дверь и только тогда, примерившись, отпустил скобу и спрыгнул. Приглаженная полозьями и днищем, неожиданно жесткая твердь снега ударила в занемевшие ноги; он чуть не упал, но выправился и тут же повернулся, пошел вслед будке и, понемногу разминая непослушные ступни, суставы занывшие, неуверенно побежал, кое-как удерживая равновесье в вязкой колее. Не бежал – трюхал, и на первых порах показалось это ему чуть не избавленьем от болтанки той, темноты, безнадёги...

Бежал долго, не чувствуя от холода усталости, стараясь размеренно дышать и, как полагается, двигать локтями, лишь теперь понимая, насколько он промерз. Огни Околков все дальше уходили в сторону и назад, редели и, косогором приподнятые, уже почти неотличимы были от звезд. Выходя время от времени на ровные, малозаметные промежутки дороги, трактор рывком прибавлял скорость, с носа на корму колыхаясь, вперед уходил – и тогда странно было почему-то видеть и это рычащее, качающееся в морозной взвихренной пыли средь раскинувшейся во все концы звездной ночи совершенно чужеродное и ненужное здесь пятно света

тревожного, и себя, куда-то и зачем-то бегущего нелепо... домой бегущего, к теплу, от тесноты и пустоты жизни одичалой нынешней – и в том был самый простой, казалось, самый что ни на есть житейский смысл; но в то же время почему-то именно здесь, как никогда, была видна ему и вся бессмысленность этого пред небом бега, убеганья, и почти все равно было, сидеть ли в промерзлой утробе тракторного прицепа или бежать, хватая губами невдыхаемый, где-то в горле застревающий, горло перехватывающий воздух, – или остановиться, вылезти из колеи, выбраться всего шагов на пять-шесть в сторону, где глубже и помягче, сесть и согреться наконец, сквозь наваливающийся сон все еще видя участливо склонившиеся над собою совсем близкие звезды и уж ощущая вокруг себя оживление некое, радостное, ожидание приподнятое имеющей сбыться вот-вот непреложной встречи...

Он не сразу нагнал будку и, схватившись за скобу, приладившись к ходу, кое-как вспрыгнул на приступку. Отдышался, влез в ее темное, соломенной пылью и овчиной отдающее нутро.

– Ну как? – услышал навстречу себе сиплый голос Седнева. – Согрелся?..

– Да так...

Ноги отошли, он ощущал их все, дрожащие то ли от усталости, то ль от вернувшейся к ним способности чувствовать холод; а вот лицо... прихватило, нет? И стал разминать его, чужое, стянутое морозом в страдальчески искривленную, сам чувствовал, маску, растирать, обрывая надышанные, намерзшие сосульки с меха собачьей, под подбородок завязанной шапки. Покурить бы – но где их найдешь теперь, спички. А у Чевыча-

лова. Взял, прикурил прыгающую в губах сигарету, затянулся вонючим, показалось ему сейчас, негреющим дымом. Переждал очередной, на дыбу вздевший будку сугроб, попытался было, светя себе быстро гаснущими спичками, найти между тесно составленных фляг и ног в валенках свой коробок – как сгинул! – и отдал с сожалением Чевычалову, тоже не выдержавшему, полезшему из своего угла к двери, тоже пробежаться...

Сколько раз потом пришлось выбираться на приступку – этого он не мог бы сказать... да и кому, зачем? Пробежки не согревали, лишь возвращали на время саму возможность двигаться, хоть что-то чувствовать, не застудить насмерть ноги ли, спину – на время, которое все укорачивалось. Тепло уже все ушло из него; день слишком длинным оказался, без передышки хоть какой-нибудь, отогрева, вдобавок и на голодуху, что там два бутерброда, наспех перехваченных им в аэропортовском буфете... Он уже вымотался и знал об этом, только ощущал тупую эту боль усталости в костях и мышцах сведенных как не свою, чужую, извне нагруженную; дернуть бы плечами, сбросить... не сбрасывалась. Вваливался Чевычалов, гремя ставшим как фанера пастушьим, поверх телогрейки надетым плащом, притыкался тут же в углу на пол; и Егор, в свою очередь открывая дверь наружу, видел тогда смутно его нелепый малахай, улезший в воротник плаща так глубоко, будто под ним не было головы; видел под окошко забившихся, укрывшихся одной шерстяной шалью и напрочь замолчавших, можно подумать – уснувших баб, если б только можно было тут хоть на полминуты заснуть, и присоседившегося к ним, упрятавшего лицо в пазуху Седнева – и вылезал опять под звездный переливчатый,

недвижно-яркий накал, под ясный, величавый и вместе с тем возвышенно-простой покой их, с мелкой внизу человеческой страдательной сложностью несоизмеримый, несравнимый.

Пробрало, продрало в какой-то момент и Седнева, видно; и однажды, сосупая с подножки на бегущую, виляющую под ногами межколейную полосу и стараясь на крюк не наступить, он не удержался все-таки, упал неловко, запрокинулся – и, подняться пытаюсь, услышал вдруг чуть не над ухом скрип бегущий, неспешный по соседней колее и вслед уже увидел, узнал – Седнев. Когда тот успел вылезти из будки, он не заметил; да и кто там за кем следил, вышел кто или зашел – каждому самому до себя... Он встал, пошел, побежал; мелькнувшая было неприязнь или презрение к Седневу – мимо протопал, не подумал остановиться даже, помочь – ушли так же, как появились, потому что все это было теперь несущественным, неважным, мало ль таких; важным было не отставать далеко. Ногу в другой раз не подверни, останешься. Седнев бежал сгорбившись, то попадая в тусклую от будки темень, которую вместе со светом давала задняя фара, а то, шатнувшись, в колею заскакивал, на свет, частые облачки пара отпыхивая, и тень его возникшая шаталась тоже, корячилась и вытягивалась на дороге, рваная... и была то не тень, мелькнула в нем опять полумысль, но душа его – темная, как у всех. Вот с видимым усилием быстрее заработал заплетающимися ногами, руками тоже, отмахиваясь будто, отрещиваясь от наседавшего мороза; вот пядь за пядью догнал, приноровился к мотающейся в колее будке, ухватясь за скобу и вдгонку перебирая кое-как валенками, на приступку раз-другой попытался ногою попасть, срываясь, – и встал

на нее наконец, по-седневному цепко держась; и, дверцей темный проем открыв и даже не оглянувшись, полез в него, захлопнулся.

VI

По тому, как надал на полуповороте, взрыкнув, грохочущий впереди трактор, как заработали, окутались искрящейся снежной пылью гусеницы, подстилаясь под катки, наматывая на себя, навивая пыль эту метельную, он понял, что дорога дальше пошла ровней, без больших заносов. И правда: колеи уже почти не было здесь, на высоком, круто по бокам обрывающемся в темноту грейдере, проглядывал местами на нем черный, еще с оттепели, незаметаемый ледок, накатанный до блеска; а справа внизу, в прогалине старой лесопосадки, затемнело что-то в поле, кусты ли какие, строения... ну да, Староверка, хутор брошенный, восемь до дому верст.

Нет, что ни говори, а порядочная эта дыра – их Бого-явленка. Летом, той же весной, когда Маша тут была, еще куда ни шло; а вот в осеннюю распутицу хоть матушку-репку пой, и асфальта теперь тут не скоро дождешься... Его предложение переехать сюда она даже как шутку не приняла: вся полиняла сразу, сжалась – развлек, разговаривал только к концу дороги, когда село открылось в речном межгорье, в зацветшем бересклете, набухшей гроздьями сирени...

Он тоже прибавил ходу – но, для себя неожиданно, ненамного. Вроде еще слушались ноги, как ни занемели там, как ни бесчувственны стали мышцы; слушались, но всякое усилие воли к ним будто с замедлением передавалось, с малой, но ощутимой паузой... Не поспевали ноги; или это, может, сам разум, рассудок его,

весь этот долгий день целиком подневольный телу и тем опустошенный, уже запаздывать стал, отстраненно все принимая, не успевал распорядиться вовремя ком вывернутого снега обогнуть, середки колеи держаться – и пауза эта шатала его, раскачивала словно. Он собрался весь, приказал еще, но вообще не получил ответа.

Трактор быстро удалялся, уходил, дрожа радужным вокруг себя заревом, рокоча отдаленно уже и как-то словно отрешенно, в тон низко звучащей во всем струне мороза, проводам на столбах, обочь дороги шагавших... самому молчанью в тон, как хор звучащему от земли до неба, и он вдруг услышал его – сквозь хрип запаленного дыхания своего, сквозь рокот удаляющийся и снега скрипенье задышливое под подошвами, сквозь все. И это пенье, неслышное и великое, не грозное и не бесстрастное, нет, но величавое в своей приветности ко всему, к нему, одиноко под небом оставшемуся, на дороге забытому человеку тоже, – эта милость услышанная как будто отняла остаток сил, на котором еще держалось все в нем, и он, на какой-то малости споткнувшись, упал.

На спину упал; и когда, не сразу, понял это, прошло уже какое-то время, какое и сколько – он не помнил: может, несколько секунд, а может, и много больше. Надо встать, понял, но для того прежде нужно было открыть глаза. Открыл, ресницы слипались, намерзло на них; и прямо над собою увидел звезды – но далеко-далеко, там, куда заглядывались они когда-то, мальчишками летом на плоской соломенной крыше лапаса ночуя, с томительной в сердце пустотой поражая себя этой вышиной, и далью, и тайной, и отрадою непостижимой... Повернуться надо было, вернуться, а сил и,

главное, желания не осталось, ни в одном уголке себя он его не нашел, не было. Но кто-то сказал: не сейчас. Ему показалось, что именно вслух это сказано было, голосом, но не над ним, не из той высоты вознесенной и не в нем самом, нет, а рядом совсем, руку протянуть: голосом негромким, чуть укоризненным, может, но твердым... показалось, да. Он перевернулся на живот и не сразу, но встал на четвереньки. И не глядел, где трактор, есть ли он вообще, главным было встать. Встать, не сейчас.

И поднялся – через какое-то, трудно им теперь уловляемое, ощущаемое время. Встал, качаясь, ноги еле держали, как подставленные под него, чужие; и, чтобы не упасть опять, он сделал шаг, другой... куда?

Страх мгновенный, помимо и поверху воли, остановил его – куда? Вперед? Он совершенно забыл, куда, в какую сторону бежал и где он, перёд. Это было мгновеньем лишь, но резким, даже грубым, все его существо сдвинувшим куда-то, сместившим в другое, раздвоенное словно бы состояние, когда и окружающее оставалось как оно есть, как было и будет – да, будет и без него! – и, одновременно, все некий иной обретало смысл, надстроенный или, может, изначально в обыденность встроенный, но раньше не то что не замечаемый – пренебрегаемый давно и оттого полузабытый, и только теперь вот неожиданно и, показалось сначала, совсем уж неуместно, некстати проявившийся здесь...

Было – реальней некуда – происходящее с ним, с ними, людьми, обуянными бездумьем, какое хуже любого безумия, вышним произволением, что ли, в тяжкое неразумение впавшими, в рабскую похоть потребиловки всесветной; и было, творилось где-то рядом

совсем, рукою подать, свершаемое – рядом, за неким не-осязаемым средостеньем мировым, но полное смысла и высшей воли, от нелепого ига происходящего не зависимое, все в мире провидящее и, почему-то зналось, к людям этим не презрительное, чего они заслужили стократ, не снисходительное даже – сочувственное, сострадательное почти... Вон она, Староверка; а он и впрямь назад, пусть два шага, но назад сделал; и фары, зарево их, уже слабое и беспокоящее, где-то на краю... все здесь, здешнее, никуда не делась она, эта чуть было отстранившаяся или, может, оттесненная чем, но единственная здесь, стужей лютой прохваченная насквозь реальность; но появилось в ней другое что-то, ему совершенно непонятное и все-таки не чужое, словно еще одним измереньем больше в знакомом стало, прибавилось к сущему вокруг. Не чужое, вот это он мог сказать точно – сказать даже сведенными враждебным холодом губами; но в том-то и дело было, что он вдруг и холод этот перестал считать враждебным себе: это не враг был, а просто холод большой, обстоятельство такое, как бывает мокрым дождь, трудной какая-нибудь работа, длинной и долгой дорога... Не чужое и не равнодушное, но именно расположенное к нему, приветное, и шло оно не только сверху, от будто бы еще сильнее и ярче распустившихся в объемной, обнимающей этой глубине звезд, но отовсюду, с близких ли, дальних мест: от пенья стройного и торжественного проводов, детским хором отзывавшегося в нем, вызывавшего к высокому чему-то и строгому, от терпенья ссутулившегося и печали темнеющих в поле староверческих построек, все еще, может, ждущих человеческого к ним возвращения, от призывно дрожащего зарева фар впереди... Все имело смысл или готово было к нему, и он ни на миг

не удивился теперь этому, не усомнился, потому что знал об этом и раньше, знал потаенно всегда, просто по-другому, чем сейчас, грубее и уже, стесненней из-за толкотни людей и вещей вокруг, из-за тесноты грубых ощущений в себе – которой теперь не стало.

Не стало; но и не освободило никак от обязанности, какой – он еще не вполне понимал... обязанности идти, даже бежать, не сейчас. Надо идти, да. И пошел, подставляя под себя то, чем стали его ноги, шатаясь и руками не успевая помогать себе равновесье держать; и каждый шаг отдавался не усталостью уже, а тупой, останавливающей болью в костях, где-то в голених, и он дергался от нее, до черепной коробки, казалось, пробивавшей все тело его, неподатливым на движение, жестким ставшее, – но шел. Что-то очень важное свершалось сейчас; и происходящее с ним и с людьми, чтобы хоть как-то поспеть за свершаемым, тоже должно было идти, никак нельзя, чтоб остановилось, – и он шел, не мог не идти.

Еще какая-то мысль крутилась, толкалась рядом с сознанием, взывать пыталась к нему – но не до нее теперь, не до того, надо было как-то заставить себя, ноги свои побежать... бежать, да, иначе ему не успеть, а этого нельзя. И он сам, всем усилием своим, шатнулся вперед, падая почти – и побежал. Или ему показалось так, что побежал, боль ударяла не к затылку только, но в глаза тоже, он почти ослеп от нее... Не ослеп, нет, а это не выдерживают, закрываются от каждого толчка ее глаза, от нестерпимой, и только одно спасенье тут – не считать ее, боль эту, своей. Не считать, отречься. Как от мысли этой, рядом где-то все работающей, от мыслей всяких, сейчас не нужных, но все старающихся проникнуть в сознание его: рядом, но не моя. В теле боль, в моем, но не моя. Не моя, сволочь,

как ни муторно глазам и в голове, в костном всем, ходульном, готовом сломаться в шарнирах своих хрустких и непослушных, сломиться...

Мысль была простая: не дойти. Одному не дойти, не успеешь. Даже если б силы оставались – не успеть, перемерз. Он не знает – когда, но передумана уже, продумана и другая, мелькнувшая было: Староверка, спички. Спичек нет. Он даже не пожалел об этом, нету – и все. Не суждено. Суждено вперед, на сколько хватит. Ненамного хватит; но главное – не сейчас, не в эту минуту... в другую, третью, но не в эту, протянуть. Резину протянуть – пусть и резину... а она замерзла, да, не тянется, и время застыло будто, и сам он бежит ли, на месте ль топчется, и боль – когда б не чужая боль, почти уж отторгнутая им от себя, отталкиваемая, но бьющая и бьющая в голову, в глаза. Вот комья снега в ногах, сыпучее опять месиво – занос? Только б не упасть.

Он разжимает веки – занос. Высокий, и как-то в колею надо успеть свернуть, а ступни не поднимаются, плоские, все в боль превратившись, в стон костный, застылый, – не подчиняются, чесанки носами в снег тычутся, упадет, если не остановится. Остановиться надо.

Через силу – усилием таким же, каким заставлял бежать себя, – он стопорит, зажимает что-то в себе, на шаг шатающийся переходит... да, на шаг надо, совсем останавливаться нельзя; и не зарево отдаленное, а свет фары вдруг взбрасывается там, впереди, в глаза попадает – дальней, но фары самой. А он на заносе, на вершине его уже, оказывается, как-то вот взобрался, сумел; а дальше скорее угадывает, разглядеть не успев, сплошную этих увалов череду, высоких и крутых, если по черным провалам теней судить, – они-то и задерживают трактор...

Только б не кончились. Он чуть не сваливается по скату, внизу мало заметенный, голый почти промежуток дороги, его несет по ней, из стороны мотая в сторону, в спину толкает будто, лишь бы не упасть; и месит по осыпи, по визгливому плачу и стенаниям снега – наверх, наверх опять по тесной колее, к рокоту, слышному уже, неровному... Нет, к рычанью с выхлопами частящими, что-то одолевающему там, временами захлебывающемуся этим недвижимым, неразъемным на малые даже глотки воздухом – дерущим горло, перехватывающим, все нутро забивает ледяными его натающими комками...

Все это, что вокруг, полно смысла, жизни, какой-то еще не открывшейся во всю свою радость, но вот-вот готовый объявиться всему красоте; и надо б остановиться, знает он, на самую что ни на есть малость хотя бы, и вслушаться, и понять все наконец, умом обнять и в себе приветить, как приветила его эта прозрачная, с недостижимо близкими звездами ночь, эта степь материнская, кормилица, вся как вздох неслышимый один отдохновенья зимнего под пеленами снегов, забытья, снов о небывалом... Всё рядом, руку протянуть; все причины, предопределения и цели, ему кажется, начала и концы, в свершаемом соединенные, – всё не где-то там далеко, в эмпиреях, как приятель-гуманитарий это словцо смаковать повадился, но именно здесь, вокруг него и в нем самом – только остановиться.

Но этого-то как раз и нельзя, не сейчас, это запрещено ему всем приветным, глядящим на него отовсюду близкими, его жалеющими и ждущими глазами, – пред которыми он, мужик тридцатилетний, едва ль не дитем себя видит, но не оскорблен тем ничуть, оскорбляться не может, русский мальчик, так оно ведь и есть – мальчик...

VII

Сколько прошло времени, как оно шло – он помнит урывками. То оно растягивалось, останавливалось почти, увязало в крупке сыпучей и комьях, в слишком многих под ногами подробностях смутных склона очередного, которого, казалось, уже не одолеть, один из лобастых сугробов он так и перелез на карачках, на руках, бесконечно долго перебирался; а то стремглав летело, и он за ним ногами не успевал перебирать, глаза переводить; и как, когда через последний увал, его от будки отделяющий, он перебрался – не помнит вовсе. Как из ничего, из небытия временного возникла корма ее, юзом ползущая, в грохоте, скрежете гусениц и снега, в рыке тракторном задышащемся, в прыгающем, шатающемся свете – шатающем все, на что ни попадал, его, жалкого преследователя, тоже, ослепленного, оглушенного набатом крови в голове, до тоски опоенного виденьями каких-то далей, в себе приоткрывшихся, пространств невообразимых провальных, невыразимых не только на языке, но даже в попытках вспомнить их потом, представить еще разок хотя бы – душу, как дитя, заставляющих плакать попытках... Он, кажется, падал не раз, судя по посторонней саднящей боли на лице и коленях; но и это не могло отвлечь его от детской, вдруг узнанной опять, тоски этой, какую замолить или уговорить было ему уже нечем.

Елозила, то на одну сторону, то на другую заваливалась перед глазами будка; и он вдруг захотел – очень! – чтоб за дверкой закрытой ее не было б сейчас никого, никаких свидетелей этого отсутствия, побега его в ночь, в тоску щемяще прекрасную, невыразимую, какая все мяла, все тискала и мучила сердце его сейчас... с которой

только наедине, только с собой. Все лишнее, подумал он, – все. Перед нею все лишнее. Это таким безупречно ясным, таким единственным и верным представилось ему, необходимейшим и в то же время простым по исполнению и для сердца желанным и легким, что он остановился и, шатаясь и медля в желании сладком своем, сел. Сел, явственно слыша сквозь дизельный с переборами захлеб и сквозь тишину, струнно звенящую, хором звезд и проводов нисшедшую к земле, снега приветливое поскрипыванье под собою, его крахмально-податливую хрусткость, свежесть постельную; он изначально сущность покрывала, постели имел в себе, снег... Он сел бы, лег сейчас, вытянув насколько можно застылое, закорженелое в какой-то последней надсаде тело, – если б оно послушалось, вообще подчинялось ему; но нет, он все на ногах был, оказывается, все еще переставлял их, ноги, или это сами они как-то двигались, рывками, на остатках не им заведенного механического завода – не сейчас, – а он лишь не упасть старался, хрипя, хватая ртом, откусывая кусочки ледяные воздуха, глотая и давась ими...

Будка, сцепкой и флягами внутри громыхнув, перевалила сугроб; он полез следом, руками пытаясь о стенки колеи опираться, стенки рушились, сыпались... все, последний это сугроб. Следующий он не осилит, все. И на приступку не забраться – это он понял с остатней отчетливостью и почти равнодушно: не залезть, зря догонял. Если не отдохнуть хоть чуток, не вздохнуть, дыханье не перевести. Это конец.

Спускаясь кое-как, валясь почти вслепую на подгибающихся, на сламывающихся ногах, он чуть на нее не наткнулся, на будку, уже задравшуюся, ползущую

наверх опять. Вот она, скоба, рядом – он рукою неслухной хватнул, промахнулся далеко и едва не упал. Не залезть, все. На шаг отстал, на другой, чтоб на приступку лицом не упасть в случае чего, и увидел крюк тот на тросу, волокущийся по межколейной, днищем будки отглаженной полосе. Он вроде хотел опять попробовать до скобы дотянуться, хотя уж знал, что это теперь ему никак не удастся, ноги не держали, – но вместо того вдруг сам, не сознавая уже толком, что делает, повалился на трос, на крюк упал животом. Успеть ухватиться, другого не было ему больше, не оставалось здесь, в этом враз ожесточившемся почему-то к нему людском, подлостью, как смогом, затянутом, подлостью и пошлостью все дали себе перекрывшем мире.

Крюк продрал где-то под ним, но он схватился уже за сам трос – и его дернуло, руки выворачивая, и поволокло с дурной и совершенно слепой механической силой, только и признаваемой здесь. Он лишь догадался, успел, когда верх заноса переваливали, подтянуться на руках, чтоб рывок смягчить, руки еще что-то могли... и страшным был рывок, едва не порвавшим позвоночник ему, почудилось, чуть не лишивший сознания. Но удержался, что-то вспыхнуло только, как перегорело, перед глазами; и так волокло, било о бугры и комья, и он, голову вжав, лишь старался локтями, ногами, чтоб не затащило в колею...

За всем тем он опять было потерял представление о времени; опять открылась, как настежь распахнулась, какая-то в нем глубина головокружительная – без дна, хотя бы самого дальнего, чувствовал он, без какого-либо предела, и в ней мириады не то звезд, хотя что там звезды немногие морозной ночи, не то огоньков искрящихся,

светов живых, к себе манящих, сулящих полноту всего и прежде душе заждавшейся его полноту неизбывную и смысл – жадной ко всему и всевидящей теперь душе; и все светом незримым пронизано, проникнуто было, идущим ниоткуда, и в нем каждая из бесчисленных искорок этих отличима от других была и явственно видна, и каждая не иначе как душою чьей-то была, живой... Звали, теплом и светом отраднейшим обняв, все в нем невнятное и смутное, тягостное высветив и уж одним этим от тягостей разрешив; но тащило и сюда, тащило здесь – с выдергивающей руки неукротимостью, заваливая в колею, растаскивая на части бесчувственные, закоснелые в грехе и позоре, навек обреченные на муку и терпенье, на терпенье и муку этого существования...

Навек? На человеческий его век?

Рывок смял все, выдернул его... куда? Рук нету, пальцев. И лишь по бесчувствию их понял – есть еще; и как опасно, как намертво на тросе их свело, пальцы, как пережавлены окоченением, будто клещами, запястья, куда набился в рукава, в перчатки снег... разжать, отпустить. Не получилось; но трактор с астматическим задыхом взрыкнул там, заревел, пробуксовывая, проламывая снега, будка торкнулась и еле поползла – и он сдернул руку одну, через другую трос протащило, узлом у крюка чуть не разодрал перчатку с ладонью вместе; а он, перевернувшись в колею, уже на четвереньках, он со стоном встает, качаясь, на какую-никакую передышку получившие ноги, он идет ногами этими, комья мяса и заплетаясь в узкой колее, все быстрее, доходит до еле волокущейся, набок съехавшей будки и, телом всем дернувшись вперед, хватается обеими руками за скобу, падает коленями на приступку...

Его чуть не скинуло, не сорвало, когда будка, рывком взбросив задом опять, с перевала свалившись, погналась за ломившим уже вовсю трактором. Не сорвало. Уткнувшись в мерзлые доски, в жизнь эту, он пытался отдышаться, но напрасно. Наоборот, спазмы какие-то сотрясали его всего, похожие на рвотные, мучили, ничем не разрешаясь, самой малой радости не разрешая, да ее и не было никакой и быть не могло. Была зыбкая, как после тяжелого сна или бреда, муть в голове – муть памяти об увиденном, о смысле, вроде бы уже узнанном было, но тотчас забытом, утраченном в какой-то момент, как вода в песок ушедшем в эту опять его, беглеца, обложившую мутную, жить не хотелось, средю. И тоска по нему, смыслу, все тяжелее налегавшая на него, и ничего, кроме этой тоски. Кое-как он залез в будку – встреченный из ее темноты: «Ты, что ль?! Ты разве... Что долго-то?» Не ответив, сунул ся ощупью, свалился на флягу свою, утнулся, руками обхватил заоченелые отбитые колени и на какое-то время забылся. Обнаружил себя, очнувшись, на полу сидящим, по другую от Чевычалова сторону дверцы, но думать, как и когда он тут в углу очутился, не мог и не стал. Еле поднявшись, вместе со всеми топал напрочь уже не чувствующими ничего ногами; трактор стоял на въезде, Гандобин спрашивал, дверку открыв, кому где остановить, Седнев за всех отвечал, а одна баба плакала, повторяла: «Скорей... Господи, помереть можно – скорей!..» Чего он не мог понять – это глухую вину свою, чем-то он был виноват перед собою, а потому и перед другими... и при чем тут вина, какая?

VIII

И все те дни не мог он пересилить тоску свою и вину, старики – и те насторожились было, озаботились, неладное чувствуя. Обошлось обморожением, пальцы

на ногах уцелели, и жесткой, но недолгой по молодости простудой, помог матери, называется. Отлеживаясь у теплой, блаженно жаркой порою печки – ходить первые дни почти невозможно стало, шкурка со ступней и пальцев слезла, – отмалчиваясь, он пытался думать, хотя бы вспомнить толком, что же все-таки было там... не получалось толком.

То, что это серьезно и теперь вот значит для него не меньше, кажется, чем сама реальность, отрицать он не мог. Слишком многое в нем противилось, не соглашалось никак с отрицанием, да и не давало оно ничего, даже пустоты, а потому терялся всякий смысл его.

Еще хуже было с утверждением. Не его немощного, так податливо, оказывается, смещаемого рассудка дело было утверждать, уверять себя, тем более кого другого, в какой бы там ни было достоверности происшедшего с ним – не волен был, все равно как в том, чтобы хоть на градус сбавить лютость этого за окном холода, какой, кстати, сам в два дня слез до вполне добродушного, с повеселевшим солнцем морозца. Тут молчи и виду не подавай; тут все зыбко, неверно и странно уже даже одним тем, что самое-то достоверное, одно только и оставшееся теперь в памяти – это ощущение необыкновенной, небывалой явственности того, что он видел там, знал и чувствовал одновременно, нераздельно... В том и дело, что та явь несравнимо реальней, сущностней оказалась или, может, казалась ему, чем то, что происходило с ним на дороге, что происходит здесь и сейчас, в мути и приглохлости простудного жара, с ноющими сверчками пустой длительности, с ненадежной, все мнится, матицей и потолком, то набухающим тяжестью, снижающимся, а то ощутимо для глаз уходящим ввысь...

Был урок, конечно же, хотя бы и самому себе данный; но в чем он состоял и мог ли вообще что-либо значить в жизни его, как у всех, бытовухой ставшей?.. Ну, бытовуху-то, положим, кое-как одолевал, но вот не забыл, не упустил ли чего-то более важного и нужного ему, как непростительно забыл все виденное там, и не оттого ль вина? Огрубел, да, все напрямки, через коленку; а когда дадено было наконец, сам смысл даден был, открыт – не сумел взять, душа оказалась мала... душа? Она самая, совсем о ней думать перестал и вот оплошал, забыл – то, что забывать нельзя, зубами бы, ногтями держать увиденное, уже было познанное, ни на миг не отпускать из сознания, не зря ж было дано... Выходит, зря; только и осталось, что – «не сейчас». И нелепо, и некого спрашивать – когда.

Но, может, не для памяти было это дано, назначено – для памятки?

Душа не вместила, не хватило ее, вот что, оказывается, называют малодушием. Вот где ищи свое непотерянное... не навек, может, потерянное. Он опять закрывал набрякшие жаром глаза, но и там ничего не мог увидеть, кроме темного пятна тоски, все сейчас за собой скрывавшего.

И не то что беспокойство, но скорее недоуменье вызывало словцо какое-то еще, поначалу незначущее, всплывшее откуда-то само собой и неведь с чего, он его сначала и всерьез-то не принял было: не укореняться слишком? Что значит не укореняться здесь, тем более – слишком? Словца этого ни тут прежде не было, ни там, в поле ночном разверстом, – нигде; оно позже и самочинно стало появляться, в болезни, что ли, проявляться то в одном, то в другом, снача-

ла как бы довеском невнятным каким к мыслям его и тугодумным всяким смыслом – потеснившее вскоре и сами эти смыслы... Пока не уразумел он наконец, что и это – не укореняться слишком – оттуда тоже, из не-сказанного, или толком не сказанного ему, или забытого им, позорно упущенного...

Матери пришлось сходить на почту, дать телеграмму на комбинат о задержке по болезни на пять дней. На исходе их, перед самым отъездом, он пошел в школу – отошедший малость от этой своей смуты, отрезвевший. Решенья своего, как-то само собою уже принятого и успевшего в нем утвердиться, менять он не думал и не хотел: если уж большого не переменить, не исправить – перемени хотя бы свое, малое, хоть тут-то останься хозяином себе. Но не разделенная на двоих тягость его, решенья, недолгую дорогу до школы ему так-таки удлиняла. Он вроде бы уже убедил себя, что было б, конечно, жестоко переваливать на нее, Марию, хотя бы даже часть своей мужской обязанности – выбора; не ей же, в самом деле, маяться, мучиться тем, чего она решить не может, да ведь и не хочет. Выбор – это прежде всего, суконным языком говоря, самостоятельная постановка бытийного вопроса, и требовать от нее этого... Нет, не бабье это дело – выбирать тебе жизнь, а себе судьбу. Она может отказаться, может согласиться, но решать-то тебе. Она, скорее всего, и попытается ради сомнительного вашего счастья оставить тебя там, вконец сделать частью наемного того при производстве и розного пролетарского сброда; что она ни говори, а в рабочем грязном, но городском общежитии ей куда предпочтительней проживать, чем в обжитом и теплом, в единственном твоём на всем белом свете

доме жить, – вот тебе правда ваших отношений, из нее и решай, исходи.

Правда была, но за нею их жизни не было, не виделось.

Весною в отпуске, когда она дня на три приехала знакомиться со стариками, он завел ее сюда, в школу: «За спрос не бьют... ну, спросим и уйдем. Своими глазами погляди, моим не доверяй». Школа как школа, не сказать, чтоб нищета – бедность на грани приличия, плохо скрываемая и давно, сколько себя помнит, знакомая, чем-то даже сердцу милая, пахнувшая известкой побелки и дешевой, диковатых расцветок краской. Беззащитно соглашалась: директор очень симпатичный, и вообще тут хорошие места у вас, и люди, и ребяташки на улицах здороваются первыми...

Но в этой беззащитности такая ею не создаваемая сила сопротивления услышалась, что он поначалу растерялся даже: «Ну-ну, не преувеличивай... все это – норма, понимаешь? Пока еще норма, ее бы удержать...» И чем больше, упрямясь, хвалила она все, не слыша ни его, ни себя тоже, тем меньше оставалось в нем надежды. Ей просто страшно было отказывать ему перед всем, что успело их связать, и потому она лгала. Она себя искренне считала любящей и потому, любя и страшась выбора его, врала... и не так уж и мало это, как некоторые думают, – нет, совсем не мало для женщины, другие и враньем себя не стали б затруднять.

Но выбора-то у него, по сути, не было – нажился он там, дошел, ей ли не знать... Домой надо. Не укореняться слишком – да, смысл в этом есть и для неверующего даже; но, земное предав, предашь и небесное, все тут намертво связано, навек.

На человеческий, что ли, его век? Всего-то?

Подожди, не обижай ее, не торопись, все может еще совсем по-другому обернуться. Все мы, в конце концов, существуем друг у друга в жизни на известных условиях... нет, на неизвестных, от нас, слава Богу, не зависящих все-таки больше; и за всем этим, житейски безвыходным, не менее как судьба маячит, рок встает, и вольны мы или не вольны выбирать – это еще вопрос... Невольно вольны, оттого и тоска.

И потому отрицать все то, что произошло с ним и в нем, или утверждать – равно не имело смысла. Все здесь тоже упиралось в его личную, ничем вроде бы особо не ограниченную свободу воли, духа... Ты обречен, детдомовец диамата, ты проклят на собственную свою свободу; она заложена не только в тебе, но и в неопределенности, вариантности всего сущего вокруг тебя, в вопрошании о Боге тоже... Да-да, и в этом тоже: ведь будь бытие Бога так же непреложно и неоспоримо, как наличие вот этого светила в небе, то что бы тогда осталось от нашей хваленной свободы воли? Если все с оглядкой на Него, на кару Его неотвратимую, неизбежный суд?..

Он впервые так ясно и впрямую подумал о Боге и не то что подивился, а усмехнулся простой такой догадке своей: в самом деле, будь Бог неоспоримо явен, как это вечернее в печных слоящихся дымах морозное солнце над заречным дальним косогором, то уже сама эта определенность Его вошла бы в непримиримое противоречие с всесущностью Его и бесконечностью, с принципиальной неопределимостью во всяких там конечных человеческих координатах, в человеческих ощущениях тоже... Любая определенность, форма ограничивала бы Его, Он и не должен вмещаться в рамки этой реальности, в жалкие рамки нашего

слишком здравого, в здравость спятившего смысла. Но нет и других видимых причин того, что так редки и мимолетны вообще какие-либо проявления Его, Бога, кроме одной: сохранить человеку эту самую свободу воли, по возможности не дозвлет над нею... так? Похоже на правду; почти правда – но как же далеко ей до истины, до сокровенности тех искорок живых, тайн светоносных, в разгадках не нуждающихся – и к разгадке своей совсем не понуждающих уже...

Холод напомнил о себе, его ознобно передернуло всего – непроизвольно, скорее инстинктивно, озябнуть еще не успел; да и мудрено было зябнуть посередине села. Постоял еще у низенькой, из старых порепанных штакетин калитки школы, ее заметенного выше ограды кленового сада с подкосившейся метеорологической будкой, никого не видно было – урок, что ли, шел? Калитка заскрипела утло, с мерзлой в сугробах отзывчивостью, и он, хромя, вошел в широко расчищенный, вернее – отрытый дворик перед входными дверьми, исполосованный свежими лыжными следами. Уж будку-то можно было поправить и на двери краску найти, треснувшие звенья стекла кое-какие заменить в окнах, а то как детдом. Детдомы эти недетские, общаги, вокзалы... Другого нет и не скоро будет. И будет ли когда?..

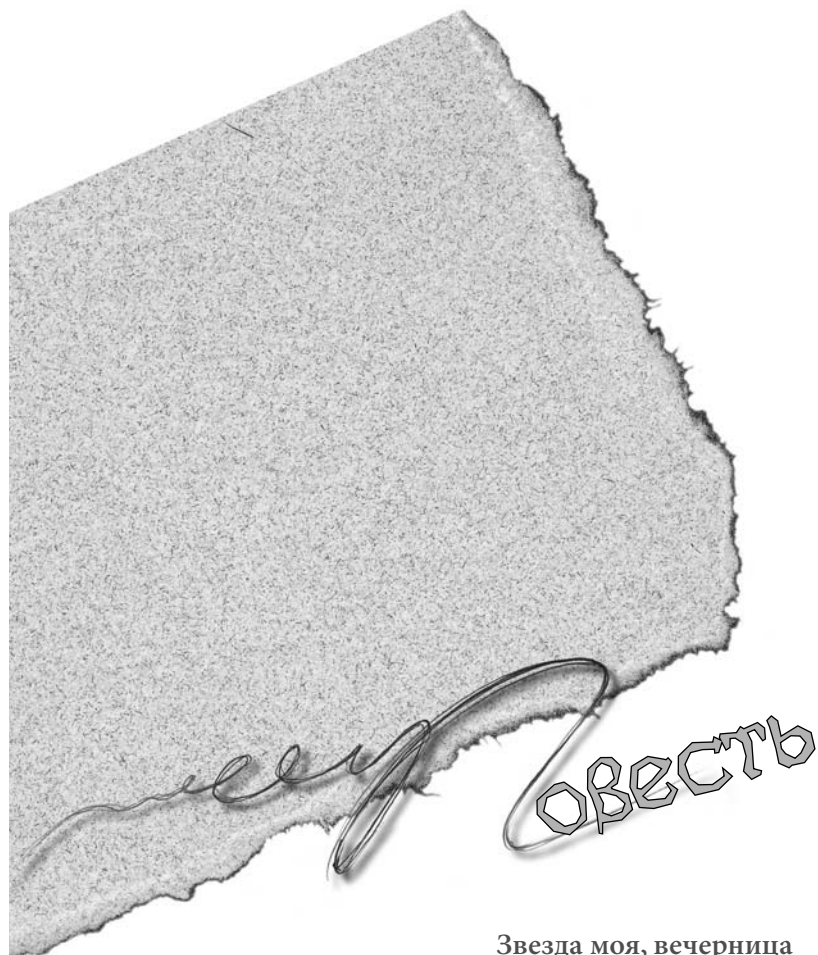
Вернулся он в Богоявленку только к Прощеному воскресенью – морозному тоже, ветреному, как будто не на весну глядя. Мария вызвалась помочь ему довести немногие вещи, книги он заранее отправил багажом к приятелю в город, до первой богоявленской попутки грузовой.

Было все за это время – перекоры с размолвками, вздор всякий, ничем не кончающиеся и их обоих

изматывающие разговоры, слезы, все как у людей. Была, конечно же, обида на жизнь, друг на друга и, само собой, на среду, хотя кто ж всерьез принимает человеческие обиды. Но простилась она хорошо – и с родителями, и с ним.

1996–1998





Звезда моя, вечерница
Пой, скворушка, пой



Звезда моя, вечерница



1.

то не было дымкой сухости, мглою
ли тонкой облачной, какая с темнотою, бывает, затя-
гивает незнаемо откуда и как небо, гася по-летнему
тусклые и теплые звезды в едва угадываемой мерклой
вышине, неся с собой какую-никакую прохладу перего-
ревшей, ископыченной суховеями степи, истомленной
огородной ботве, осаживая прозрачную, невесомую
в закатном воздухе пыль, возвратившимся стадом
поднятую горьковатую страдную пыль второго Спаса,
какой дышат поздними вечерами, в какой забываются
беспамятным сном усталые селенья.

Не было очередным газовым выбросом недалекого
отсюда завода, в полгоризонта расплзшегося за поло-
гими взгорьями, тяжелой и всему чуждой здесь вонью
кривобокой розы ветров – будто там, на западе, невы-
разимо тяжкую тектоническую плиту на мгновенье
приподняли и спертый безвременьем адский смрад
вырвался долей своею и стал мучить и душить травы

окрестные, попавшиеся на пути ростоши, враз потускневшие воды прудов, изводить хоть уже и попривыкших, не сказать чтобы верующих, но с адом не согласных селян. И никак не могло быть тонкой, тянучей, еще чуемой гарью полусожженных, полуразбитых где-то далеко на юге городишек с перепаханнми танками, усталыми битым шифером, черепицей и стеклом предместьями, с трупным смердением в иссеченных осколками, изрытых воронками и траншеями черешневых садах – слишком далеки они были, хотя горели, тлели день и ночь, который год.

Это ни на что такое похожим не было и быть не могло; но какая-то, чудилось в последнем, зодиакальном уже свете, сухая мгла сопровождала неведомое это и неопределимое – сама сродни ночной тьме, почти от нее неотличимая и в ней скрывающаяся. Не с чем было сравнить эту мглу, которая и собственно мглою-то не была, а скорее мерцанием неким воздуха, тусклым его проявлением. Она возникла как бы из самого пространства, из координатной его тончайшей сети просквозила и замечена никем не была, все ушло с головой в первый, утягивающий на дно существования сон, в забытье полное – всё, всех увело, кроме разве старика, выбравшегося скоротать с куревом часок-другой бессонницы своей в палисадник старый, полуразгороженный, под непроглядные ночные тополя.

Перед тем, на самом исходе вечерней зари, еще чувствовалось снизу от огородов и прибрежных кустов неярное движение, наплывы, помавания речной свежести, еще одинокий степной комарик тонко зундел, жаловался, и была надежда на скудную хотя бы, пусть под утро, напоющую росу. Но с тьмой и во тьме появилась,

проявилась, но облегла все, мертво обняла эта будто иссушающая все в себе мгла, обступила – и завывала где-то одна собака, брехнула испуганно и залилась другая; и старика, без того согбенного, еще согнуло в глухом клочке кашля, в попытках не дать доломать себя, жизнью ломанного-переломанного, продохнуть, сказать себе самому: да што, мол, за черт... што такое?!

Но не успел. Оцепененье настигло все – глухое, обморочное, и старик уже не задышкой – им зашелся, воздуха лишившим, онемением этим, в какое-то мгновение охватившим и его, человека, и все живое вокруг и неживое, все звуки, движенья, даже осокорек молоденький, незнамо как занесенный сюда и вылезший за штакетником, только что шевеливший изреженными своими, в чем душа держится, листками, но замолкший враз, даже черный этот кривой, вразнобой глядящий штакетник... На миг долгий оцепенило, неизвестно сколько продлившись, в нетях застрявший, в беспамятстве мгновенном и полном, и от него, человека, ни горя, ни радости, ни даже сознания себя не осталось, а одни только глаза будто – чтобы видеть все это, обезличенное напрочь, утратившее всякое содержание свое, жизнь.

И он, казалось, долго видел эти исчерпавшие себя, сутью как кровью истекшие формы бывшие, совершенно плоские теперь, пустые и никому не нужные, пустее выеденного яйца, дыры от баранки дешевле, всю эту небывшую, небывшую, даже и прошлого, казалось, лишившуюся тень мира, испорченный и выброшенный негатив его... да, тень, ничто, просто тени – как местá, где не хватает света. Сколько теней, сколько не хватает света. Сколько тщеты.

Он не думал так, мыслей таких не было, никаких не было; он просто видел все это, как видят, скажем,

что лошадь гнедая, не сознавая этого, – и, если только спросит кто потом, говорят: да, вроде гнедая была; точно, гнедая!.. Так и старик видел эту безнадежную, опрокинутую все смыслы нехватку света, тщету немотствующую, эти тени не существующих уже дерев, ничего не огораживающего штакетника, избы своей выморочной, заметно севшей одним углом, и местоположение свое на завалинке, где только что вроде и он пребывал и где даже тень его усматривалась тоже; но ни сказать, ни даже подумать, что это он там есть, или недавно был, или мог, как существо некое, быть вообще, – не представлялось возможным, поскольку и сама возможность эта у него была кем-то или чем отнята. Было только зрение чье-то, стороннее, прозрение в ничто, остального не существовало ни раньше, ни теперь, ибо не существовало и самого этого «теперь».

Отсутствие «теперь», отсутствие самого отсутствия – зачем дано, позволено было видеть ему все это, эти тени теней?

И если никак не мог он там, в стороннем и совершенно немислимом, быть и видеть, зачем дано прозрение, что он там все-таки был и видел?

В вернувшемся тотчас, но каком-то ином «теперь» он уже знал, что никому никогда не скажет ничего – не захочет, это одно, как не захотят о том сказать, он был уверен, и другие, если были они, конечно: не посмеют, разве что совсем уж глупый какой человек болтать начнет, сам себе плохо веря... А другое – о чем и как сказать? Нечего сказать, на это и слов не найдешь, ничего же не было, не произошло... ничего, кроме смерти всего, распада, растворенья в той мгле тончайшей, место ночной тьмы заступившей, место всей земли и заревом завода

обозначенного на западе неба, крошечных над головою тополей. Или того, что обреталось за этой серебрищейся серо мглой, чего ни назвать, ни хоть как-то обозначить...

Нет.

Такое слово было, да, но ничего не говорящее, равнодушное и где-то внутри этого своего равнодушия страшное таящее, отказывающее человеку во всем. Но и оно не могло передать самой даже малой толики того, что он почувствовал, умерев и – сквозь долгую-долгую паузу, которой не было, – вернувшись тотчас назад зачем-то, опять сюда, на завалинку опостылевшую, под расщепленный два десятка лет тому грозою, под соловьиный по весне тополь... Зачем было – назад?

Он пожал плечами и ощутил снова свое затекшее, как после долгой посиделки, тело и так уставшую, начал своих и концов так и не нашедшую, покоя не обретшую душу... куда больше тела уставшую, измызганную и уж не подлежащую, казалось, никакому очищению или освобождению душу. Куда ее, такую? Кому она нужна, кто ее взыщет, беспутную, спросит, кто под высокое покровительство свое примет, да и есть ли такое? Ему самому, одному, она не нужна.

Он вдруг понял это с безжалостной к себе отчетливостью: да, не нужна, надоела до смерти, устал он разбираться с нею, непонятливой бестолочью, строптивой когда не надо, глупой, вечно куда-нибудь занесет... Не любит ее, как всякий русский человек, не больно жалует; а она все вздорничает, а то виляет, врет безбожно себе и другим или болит без толку, мает... Надоело, устал и не знает, куда ее приткнуть, кому отдать. Богу бы, пусть разбирается, – но чертей он много видал, всяких, а вот Бога ни разу, не сподобился, то комполка вместо

его, то районный секретарь очередной, не достанешь, а сейчас и вовсе... Не возьмут, не нужна, им это и по штату не положено небось, за свою бы ответить. Всякому до себя; и вот он с нею, изношенной, не годной никуда, неподъемной иной раз – чемодан без ручки, вспомнил он чье-то походя присловье: и нести тяжело, и бросить вроде жалко. Не жалко, нет – зазорно: а зачем нес тогда столько? За каким?.. Вроде чего-то ждешь еще, хотя что можно ждать от жизни этой; вроде сказать должен кто-то – зачем; но никто тут, он уж знает, не скажет этого, а уйти не уйдешь. Жизнь – она, подлая, заставит жить. Просто так вот не уйдешь, зазорно.

И сидел так, тяжелы были мысли, и опомнившийся, напуганный чем-то осокорек трепетал и трепетал перед ним, неслышный.

2.

Она его почувствовала, узнала сразу – едва только вошла в непалимовский свой автобус.

Народу уже натолкалось, но с каким-то мальчиком повезло, полузнакомым студентом, приличным и в очках, уступил место; и пока рассовывала сумки – большую под сиденье, так, легкую к ногам, а замшевую сумочку побыстрее с шеи, а то как тетка какая запурханная, - уже глянула и раз, и другой на него, стоявшего в проходе вполоборота к ней... да нет, затылком почти, виднелась сухощавая, даже на погляд жесткая скула, продолговатый нос, прямой, и небольшие совсем, заметно выгоревшие усы, а глаз как будто нет – так, прочерк один, откуда временами проблескивало холодно, даже тускло. И он глянул, не очень-то, видно, довольный, что его побеспокоили вниманьем; не сразу отвел глаза –

и отвернулся, отвлекли, какой-то опоздавший мужик бежал рядом с тронувшимся автобусом, кричал шоферу и гулко раза два грохнул кулаком в листовую обшивку; и звук отдаленным получился, из каких-то будто иных пространств, и грозный – так в дверь твою стучат...

Еще раз, дернувшись, тронулся автобус, мальчик спросил про Зину, подружку ее, – да, этим же, своим автобусом и ехали весной, и студент их пряником угостил, большим таким, в коробке. Тульским, да, нежеван летел пряник, пробегались за полдня по магазинам, а дело к Пасхе шло, и как же им, городским теперь, гостинцев не захватить, родительский стол не украсить. Смазливый был, аккуратный мальчик, очки ему даже шли, но руки какие-то бледные, с черными волосками, не скажешь, что из сельских тоже; и с руки этой на поручне сиденья она переводила глаза на белесый затылок того, впереди, не стригся и шею не подбривал давно, завитки. Не из толстых была шея, но сильная, загар на ней уже серым стал; а сам довольно высок, под мышками клетчатой с закатанными рукавами рубахи полукружья пота. Испохватилась, мизинцем пододним глазом, под другим – не потекла? Жара стоит изнуряющая, второе уже лето не щадит ничего, а тут еще замятня та московская, людская, дикая – как перед концом света, мать это всерьез говорит, без всякой скидки, сокрушенно прибавляет: а бесов, бесов-то развелось сколь!.. И едва успела отвести взгляд. Но он глянул не на нее, с ней ему было, может, все ясно уже, а на мальчика именно – и оценил верно и опять отвернулся.

Они ехали едва ли не час, мальчик вел разговор ненавязчиво, нет, вполне непринужденно, раза два заставил даже рассмеяться (она как со стороны услышала свой

смех – грудной немного, чуть не зазывный, с чего бы это, девоньки?!); и на своей остановке, в Лоховке, слез с явной неохотой – родители, дескать, ждут тоже, – и обещал наведаться, в клубе-то она будет вечером? Нет-нет, какой клуб, сказала она, завтра в город ей с утра, назад, работа же. Ну, тогда в городе, на днях как-нибудь, через Зину? Она пожала плечами; ей и неловко было, слышат же люди, и прямым отказом обижать не хотелось, вот уж ни к чему встречи эти... Зинке сказать, не забыть, чтоб не вздумала телефон ее рабочий дать, проболтать ненадолго. И постаралась с благодарностью улыбнуться ему, от выхода оглянувшегося, выручил же.

А этот не сказать чтобы худой, но какой-то плоский телом и прямой, это из-за плечей, не узкие. И припыленный весь будто, его бы отмыть, приодеть. Отчего-то она сразу не то что равнодушно эту мысль приняла – взволновалась ею прямо... ох и дуры мы, без тебя, наверное, есть кому отмыть-одеть, не парень уж – мужчина, погляди получше. Семеро по лавкам, гляди... ну, не семеро – девочка одна, две ли, у таких девки всегда, не оторвешь. Такого не оторвешь. Через плечо сумка, к родне, может, какой едет в Непалимовку к нам или по делу – к кому бы?..

Ну не кулема, уже ругала она себя, переспешила со сборами, кольцо на левую не надела – а ведь хотела! Ведь уже сунулась в шкаф, к выдвижному, а тут кофточку увидела – взять, не взять? Жара, а с другой стороны – легонькая, для утра-вечера, и к платью шла, давно такую хотела, треть полочки ухлопала; и вот взяла, а на кой, спрашивается, париться в ней? Снять надо, вот что, и прямо сейчас. И в сумку ее, в сумку! И кольцо – носи, за тем ведь и купила, нечего опускаться... что, опусти-

лась? Ну нет, еще годочков несколько... А тоска какая, Господи, кто бы знал тоску.

Он, что ли, знал? Наверное; но никогда ей после о том не говорил и не скажет, с ним на эти темы не разговоришься. Не разбежишься, скажет: ты ли это, матушка? И правильно, не говорят об этом, все равно ничего не объяснишь. Молчат, и оттого, может, тоска.

Но до чего глаза равнодушные у него – там, в прищуре ли, прорези: посмотрел, и она храбро выдержала их, глядя открыто, честно, как могла; а в это время автобус уже заваливался с грейдера на сельский их «аппендицит», и открылись разом в прогале старой кленовой лесопосадки Непалимовка их и заречная луговая даль, а за нею увалы степные со скудной зеленцой по красноглинистым осыпям и потокам на склонах, с туманным осевком небесной сини на самых дальних, в плоскость земную утягивающихся возвышеньях – там, далеко, куда ходили, бегали они сигушками еще в колок осиновый за ландышами, там бери их не оберешься. Ей нечего таить, она честная девушка. Она так это и сказала ему, глазами; а сказать вслух кому – не поверят: мол, знаем нынешних вас... Не всех знаете. Господи, как она тогда вырвалась из-под того, Мельниченко, – себя уж не помня, вывернулась: «Не сейчас, обожди... не здесь!» Не здесь и нигде, локти себе потом кусал, бегал за нею – а ведь уж думал, что все, приручил, никуда-то не денется... Делась. Делась-подевалась, как знала.

Постой, о чем ты?... Знала? Знаешь, для кого?

Да что она знала, что знает сейчас вот – когда мужчина смотрит, с этим равнодушным и потому оскорбительным почти взглядом, на нее смотрит, на красивую, цену не сама выставляла – люди; а он Бог знает откуда,

не сказать, чтоб уж такой приглядный, и совершенно чужой: резковатые складки у губ, это серое от загара, припыленное будто лицо... Чужой, но тот. Которого никогда еще, кажется, не встречала она, во снах разве, но и там ни глаз, ни лица даже, одно ощущение силы этой, надежности в прямых плечах и того, что – свой... Смотрит, и ни тени интереса, кажется, ну как на куклу, на стенку ли какую, черт бы их тягал, дураков, то удуться готовы, то не глядят. И тот, Мельниченко, девку послушался, дурень, пожалел – «не здесь»... А где, скажи на милость, в мечтах? Там нас нет, там шкурки одни, бесплотность. А мы здесь: кулемы с утра, к работе подмазалась, бежишь, стирки набралось и долгов, регула мутит, на все бы плюнула – а ты цветы и пахни. Ты скрипи, но пой.

Юрочку вот вспомнила, Мельниченко... нет, правильно сделала, что рассталась, гастролер был и фат, широко известный в узких кругах, и хоть сам по себе добрый, этого не отымешь, она ведь и увлеклась поначалу не на шутку им, дурочка, - но как же, должно быть, жалел, что пожалел... Оксанку потом водил, из бухгалтерии, у той всегда и стол и дом, всегда и всем наготове; и отвалил, пропал с горизонта событий. Так не для Юрочки же, в самом деле, береглась – он бы этого и не понял, пожалуй... Или Слава тот же, какой на тебя на всякую давно согласен, на все, - для него? Девушка с приданым, нечего сказать. Взнос в семейную жизнь – вот уж некуда тошней...

Господи, для этого бы!

Она это жарко вдруг и потерянно подумала, в спину ему глядя, почти молясь... не пожалела бы ничего. Один раз пусть – а там хоть куда. Хоть кому – осточертело. Ему первому, чужому, чтоб даже имени не знал ее, – от стыда жизни этой. От стыдобы, какую

она не то что определить, понять – назвать-то даже не может.

Автобус подъезжал уже к сельсовету, люди вещи собирали, поднимались; нагнулась, стала нашаривать под сиденьем ручки сумки своей и она. Нашарила, вытащила, а замшевую хоть в зубы – ну за каким вот взяла, для виду? Для виду, обреченно подумала она, для чего ж еще?

Выходили так, будто не все успеют сделать это; и она заразилась тоже, толчком этим при остановке, не терпелось на воздух, на землю нетряскую, надежную свою. Продвигалась к задней двери и уж искала глазами среди немногих встречающих отца, они ее ждали сегодня, – и вдруг большую ее, тяжеленную сумку взяли сзади за лямки, с ее рукою рядом, и вторым движением молча отняли. Она оглянулась, увидела близко его лицо, не узкое, как ей вначале подумалось, нет, усы над сухими губами и прищур этот, пригляд, и от растерянности кивнула, тоже молча. Они продвигались, потом вовсе остановились, там выгружали громоздкий ящик; и в какой-то момент она явственно услышала запах его пота – совсем не сильный и именно его, он так и должен был пахнуть... как у отца, да, пряным, чем-то табачным, что ли, так рубашки его, майки при стирке пахнут; а мать, когда люди, бывает, хвалят запах в их доме, соглашается, говорит чуть не с гордостью: «Это от мужика... как мужик пахнет, так и в доме. Вон у Ерофейчевых – не продохнуть...» Его, по-мужски тяжеловатый чуть, отцовский и все ж непривычный... под мышку бы ткнуться, замереть, пропади оно пропадом все, сумки эти, автобусы, работа, двадцать эти четыре, – вдохнуть и не выдыхать, пусть несет куда хочет, все берет, не жалет, незачем нас жалеть.

А сердце ее билось уже толчками, чуть не вслух – неужто увидел?! Надолго, к кому тут? Спросить? Она боялась, что не выговорит, под этими-то глазами – хотя почему б и нет, всего-то слов... Кивнет сейчас и уйдет, а кто он, зачем, к чему мелькнул тут, поманил и пропал – неизвестно, ищи тогда; а ей с утра завтра автобус опять, общага, малосемейка их драная, с обеда на работу... и все? Хуже некуда искать непотерянное. И растерялась, как школьница, оглянувшись боялась – это она-то... Нет, попросить помочь, донести – хоть до магазина, к повороту на свою улицу. Люди? Да Бог-то с ними, пусть глядят... ну, поболтают, делов-то. Придержаться, только б не встречали его, – а там дорогу, может, показать, то-се. Вроде нет отца, не встретил, ну и... Дорогу, да, и хоть в клуб вечером, хоть... Или спросить?

Это как лихорадка была – минутная, но оттого, может, резкая, всю ее захватившая, до жилочки, только что не трясло... как тогда, под тем. Помогите, Заступница! И по ступенькам спускаясь подрагивающими ногами, она уже знала, знала, что это – ее, что здесь никак нельзя упустить, что-то не так сделать, не то, и что ей сейчас нужно и можно все делать – все... И когда наконец оглянувшись, на нетвердой, будто еще пошатывающейся земле стоя – укачало? – и уже хотела спросить ли, может, или спасибо лишь выговорить, какие глаза будут, – он сам, упреждая, головою вбок качнул, на улицу показывая, сказал:

– Помочь вам? Донести?

И опять она лишь кивнуть смогла, уже во все глаза глядя на него, не стесняясь ни его, ни себя самой, забыв будто об этом, о людях вовсе не помня, не видя, – толклись вокруг, вещишки разбирая, переговаривались...

И так дико среди всего этого, так некстати и неожиданно завыл вдруг бабий надорванный, в голос, причет:

– Ой да ты сыночек-то на-а-а-ш, ой да ты миленька-а-ай!..

Она вздрогнула вся, почти опомнясь, оглянувшись. Еще не все вышли, набилось много на вокзале и по дороге подсаживались; и вот из передней двери торопливо спускается ее однокашник бывший Колька, недоучка, где-то в городе монтажничает на стройках, – с каменным лицом спускается, а снизу сестричка его, дядя, бабы какие-то ждут, ей незнакомые, и мать Степашиных впереди, всем слезным, что в ней есть, всем намученным своим за жизнь рвет голос, сердце, и нет укрыться от этого, нет исходу...

– Ой да папынька да твой... да горямышнай наш ды батюшка-а, да ты зачем же нас покинул-та-а!..

Николай уже держит мать, озирается поверху набрякшими глазами, из последнего крепясь; и когда сестренка обнимает плечо его, виснет, трется мучительно лбом – сдает, суется лицом в материнский серенький полушалок старый, вытертый, меж их голов...

Двое, кто-то из своих мужиков, она успела это заметить краем глаза, коротко и скорбно поздоровались, проходя, – но не с нею, а скорее с ним именно, с попутчиком ее неизвестным, он хмуро ответил; и, глянув еще раз и пристально на плачущих и терпеливой кучкой стоящих вокруг Степашиных, к ней обернулся, спросил:

– Вам куда?

– А вот по улице по этой... недалеко. Если вам по дороге.

Еще она не поняла из-за происшедшего со Степашиными всего значения того, что с ним поздоровались; вер-

нее, поняла, но не сразу, не вдруг поверила, что он здесь, оказывается, не совсем уж чужой, – потому что прежде всего он ей был чужой тут, неизвестный совсем, и это как-то не связывалось еще... и хотела было уже спросить – что-нибудь спросить, неважно что, лишь бы заговорить как-то непринужденней, ее была очередь, – когда он опять ее опередил, качнул неопределенно головой, хмуро:

– Степан Николаевич...

И дошло, связалось, вспыхнула вся – знает... знал Степашу даже, Колькиного отца, малоприметного, на разных вечно работах с бабами... Знает! Работает тут? Неужто женатый, Господи...

– Да... – сказала она, они уже шли, шаг у него широкий был, нельзя отставать; и натянутость в голосе своем услышать сумела, добавила извинительно и – сама ничего не могла поделать – натянуто опять:

– Болел он, я знала. Добрый был... Так вы что, уже здешний?

– Ну, как... Агрономом тут.

– Агрономом?! И давно?

– Да с год.

– Це-елый год?! А я-то что ж вас не видела?

– Не хотели, может. – Что-то вроде усмешки тронуло губы его и скошенные на нее серые, вроде бы отмягчевшие глаза. – Не замечали.

– Вот уж нет... Я теперь, правда, наездами здесь... то учеба, то работа. А действительно, агроном... – Он бровь поднял, и она, не дожидаясь, с улыбкою заглядывая на ходу туда, в недоступную ей пока, непонятную, всю бликами, как вода, искрами отражающую глубину глаз этих, пояснила: – Шагаете как...

– А-а, да... Это есть. – Он сбил шаг, сбавил, ремень

сумки своей на плече поправил, тоже набитая была. – Волка ноги кормят.

– Да нет, ничего... Вы торопитесь, может, а тут я...

– И отважилась наконец, и с лукавостью откровенной посмеиваясь, с сухостью какой-то нехорошей во рту, слабая решимостью и потому торопясь – выговорила, глаза опустила: – Ждут же дома, наверное... семья, дети там. К ужину.

Он ответил не сразу, он ее разглядывал, она мельком увидела проблеск этот холодноватый в глазах, в прищуре – и было это, уже поняла она, хуже и опасней всего...

– Нету, – сказал наконец он. – Нетути. – И пожалел ее: – Не нажил.

– Да? – И нечего стало сказать, все как-то сразу ослабело в ней, отпустилось, и даже радости как будто не было, лишь толкнуло опять – он?! Хватило еще от глупости удержаться: мол, что же вы так теряетесь, или в этом роде что-то: хватило глянуть благодарно – все сам он делал, брал на себя, ей как-то и непривычно это было, хотя желалось-то давно, – и лишь проговорить:

– Вы уж простите... Смешно?

И опять он не сразу ответил, помедлил, было с чем помедлить, и сказал:

– Нет.

– Спасибо.

– Не на чем.

Усмешка? Ах, да Бог-то с нею, с усмешкой, не на чем так не на чем; ей удачно далось, искренне и легко это «спасибо» – так легко, что засмеялась бы сейчас; но она лишь улыбнулась ему – снизу вверх, именно так, хотя самую разве малость была ниже его, на каблучках-то, – улыбнулась его глазам, покачала головой:

– Ну, мало ль... У них – ну, у женатых там, у замужних – ведь столько дел... ведь так? Нам их не понять.

– Так уж и не понять...

– Нет, правда... Значит, прижились у нас? Не скучно тут?

– Некогда. Не получается скучать. – Он шел и поглядывал – на нее, на встречные дворы, и уже явная улыбка не улыбка – нет, усмешка все та же – появлялась на лице его, исчезала. – А хитрая вы.

– Я-а-а?! – Она повернулась к нему, широко раскрыла глаза – и рассмеялась, не выдержала, просилось все смеяться в ней, высвободиться, едва ль – мелькнула тень испуга – не истерическое... нет-нет, девонька, нет, как во сне все, как надо, молодчина ты, умничка, умница какая у меня... – Что вы! Я просто... Ой, пришли мы!

И поставила сумку, какую несла, у ног, лукаво глянула опять:

– Угадайте, чья?

Не ахти какая шутка была, но он принял и ее: плечами пожал, по-мальчишески к затылку дернулся было рукой... угадай вас. Действительно, угадай попробуй. И смотрел: впереди по левую руку их дом на взгорке был, а напротив деда Василия избенка с тополями в полуразгороженном травяном палисаднике – непроглядно густыми сейчас тополями, под небо, один грозою расщепило давно, раскорезило до середины; и не на другом каком – на этом селился с давних-то пор соловей и томил, с каждой звездой-вечерницей томил майскими сумерками, и замолкал иногда, ненадолго; но не молкла ночь, вся полная отзвуками близкими и дальними его, соловья, тополевыми в открытом окошке вздохами, дыханьем веющим, близким в лицо – чьим?..

– Ивана Палыча?!

– Ага! – Она торжествовала, сама не зная почему... да почему ж и нет? Кого хочет пусть спросит: не зряшная семья, порядочная, не какие-то там... Да и знает, конечно же, – ему ль, агроному, кладовщика своего не знать?! Они-то давно знают, а вот она... – Люба.

– Алексей.

Алексей? А что, похоже... подходит, суховатое такое. Алеша – нет, Леша; и где она его видела, когда? Он такой, каким она его где-то видела, и вроде не во сне даже, нет. Такой и в то же время другой совсем, незнакомый. Ему бы костюм – в елочку, серый. К глазам этим, чуть тяжеловатым холодностью своей ли, пристальностью, это с непривычки, может, – с некоторым сейчас интересом ее разглядывающим, пусть, ниже на мгновение скользнувшим... пусть, так лучше даже, вот вся она, двадцать четыре, ей нечего таить. Не вся, нет – двадцать четыре тоски в ней, ожидания, снов неразгаданных, Господи, Ты же есть, Ты знаешь!..

– В город завтра?

Услышал! Слышал, хоть далековато вроде в автобусе стоял – слушал!

– Мне тоже с утра в агропром... подвезу, хотите? Машину должны мне сегодня наладить – могу до места.

– Правда? А то с сумками этими... а родители нагружат всегда... – И заколебалась, даже оглянулась на свой дом с полуулыбкой неуверенной, это и вправду было для нее неожиданным; и опять на него, уже зная, что он – решит. – А как?..

– Да хоть как. Хоть от двора.

– Прямо так?

– Ага, прямо. – Он улыбнулся, впервые, жесткие лу-

чки морщин у глаз как-то смягчились, дружелюбными стали глаза, почти добрыми... почаще бы улыбался. И сколько ему? Можно двадцать пять дать, все тридцать даже – такое лицо, глаза... – А что тут такого? Отец-то небось все равно пошел бы провожать... Ну, к остановке, к правлению?

– Пошел бы, – вздохнула она.

– Значит, в восемь буду. Тут вот. Зайду. Сблатовала, скажете...

– Что вы, как я такое скажу... Спасибо!

– Не на чем.

И, сумку передавая, глянул, запоминая словно, еще улыбнулся раз и повернулся, пошел назад – к правлению, скорее всего, еще не было и шести. Не то что скоро, нет, но и не медля... оглянется, нет? Навряд ли. Не из тех.

Она поднялась высоким отцовским крыльцом, на окна свои даже не глянув, обернулась – уже и не видно стало его за палисадниками, поразвели кусты, – в сенцах составила сумки, обессиленно прислонилась к косяку... Господи, вешалась же. И сразу жарко стало, беспокойно – хотя чего там, казалось бы... Ну, дева! Не зря он так глядел, не верил... а ей, что было ей делать?! Ищи потом, жалуйся на судьбу. Как знала...

Радость подпирающая, своей ожидавшая минуты, нетерпеливо дрожащая в ней, – радость волной тошноты подкатила под сердце, по ногам, хоть садись... И вешалась, и пусть. И правильно. Стыд жизни куда был хуже, непереносимей, темней – это у нее-то. Ведь она и знает, чего стоит, и не внешне только, нет, хотя внешне тоже... Она терпеливая, в мать, а это поискать нынче. Но людям этого мало, все как с ума посошли, все им разом, сейчас подавай, тотчас и в блестящей обертке –

а что там завернуто... Но она-то знает, что главное в жизни и в человеке – терпение, и к нему готова. Только понять в ней это некому – и некуда деться, как побитрушке последней. А теперь... Завтра теперь, все завтра. Дальше она знает – как, дальше дело терпенья.

А страшно. Уже сегодня, сейчас (и она это всем в себе почувствовала, не зря же ведь сердце торкнулось, стукнуло) что-то совершилось непеременимое, не подлежащее никакому возврату, и все теперь само пошло, не по ее даже воле... Кто он, какой – уже не вопрос. Твой, и другого тебе не надо, ты ведь сама это знаешь. Судьба, да? – спросила она кого-то. И судьба тоже. Ты же не захочешь назад повернуть, не повернешь. А потом поздно будет, это и есть – судьба.

И уже знала, как будет. Войдет завтра, под притолоку наклонясь, с отцом за руку поздоровается, на дверь в горницу глянет, скажет: ну, где тут попутчица?..

Заскрипела в избе половица, и она подхватила сумки, шагнула к открывшейся двери, к матери.

– Дочушка, ай ты? А я жду уж, немочь заела... вот-вот, думаю. Не встрел отец-то? А хотел, прямо со складов хотел к автобусу. Да-к и ладно, што ж теперь. Донесла же. – И посмотрела: – А ты што это... такая?

– Жарко, мамань...

Лишь вечером она сказала, что до города ее завтра обещал подбросить агроном – главное, к общежитию прямо.

– Эх вы, договорились уж... Это когда ж успели?

– Да так, в автобусе...

– Прямо на ходу все у них...

– Ну и договорились, – сказал отец. – Делов-то. Картош-

ки возьми поболе, раз так. А што, дельный. Вроде не пьет.

– Николай приехал, – сказала она, поторопившись, припоздало вспомнив. – Степашин. Встречали там...

– Да-а, кто б на Степку подумал... На похороны завтра. Ну, болел – ну да-к не он один, все болеем, время. А вот возьми вот...

Ходила по горнице, собиралась к завтрашнему, и что-то, ко всему вдобавок, Николай все не шел из ума, Колян, – подойти бы, хоть что-то сказать... стыдно как-то. Не до того ему было, понятно, встреча такая ему, – а все равно нехорошо. Все поврозь колотимся, всяк со своим, а тут еще и время – мутнее, поганее не было времени, как старые люди говорят, даже в войну. Отец у стола сидел, накладные какие-то перебирал свои, далеко отставляя и глядя так на них, в голове сивости... И подошла, для себя неожиданно, обняла сзади, к небритой прижалась щеке.

– Ну, ну, – сказал он.

Она запах сухого зерна уловила, теплый, чуть терпкий запах пота – и вздрогнула и еще прижалась.

3.

Обещал заехать к ней в среду – и не приехал. Она приготовила все, даже коньяк в холодильничке стоял – так, на всякий случай, конечно, он же за рулем; но мог же и с шофером-экспедитором, что-то говорил о нем и о том, что получить кое-что надо в фирме одной... вдруг останется.

Когда она в первый раз это подумала – вдруг останется? – ее передернуло даже: нельзя, ты что, совсем уж... Тубо, нельзя! Как Милка из первого подъезда

на собаку свою, на стерву развинченную, с каждым кобелишком путается, – тубо!..

Но и четверг настал; и она, девочкам своим лабораторным наказав про телефон и в заводууправлении поблизости с партиями американского зерна дела пытаясь утрясти – ни к черту пшеничка хваленая, скоту на фураж впору, – все думала: ну и... оставить? Все ж ясно – или почти все, а там как будет... Да никак там не будет и быть не может, ты ж сама не переступишь, не заставишь себя переступить – страхи свои, сомнения, наказания материнские давние... С чего вообще взяла, что останется, что – оставишь?

Нет, увидеться просто – и больше ничего не надо... Ругалась в бухгалтерии, затем с директором, Квасневым, спорила, уперлась, все из-за американской этой дряни, под видом и по ценам как за продовольственное зерно, сбавленной сюда с новоорлеанского порта, клейковины меньше, чем в нашем фуражном подчас, – требовала рекламации направить, в арбитраж опротестовать. «Рекламацию? Кому?! – побурев от возмущения тоже, кричал Кваснев на эту недавно назначенную им заведовать лабораторией мелькрупозавода своего хваткую девицу. – Заверюхе? Черномырдину?! Взятки там получены уже – сполна!..» А принять если – рассчитаешься ли потом?.. Спорила, затем со скрипом оформляла, как приказано; и опять тоска брала, и слабостью заливало, нетерпением увидеть и честно – честней некуда, Славик здесь постольку-поскольку, – взглянуть, ясно глянуть еще раз в глаза, потому что ничего кроме этой честности и ясности у нее не было, нечем больше доказать, сказать... Доказать – что? Неизвестно что; она лишь знала, что не в счет здесь ни смазливость с фигурой, ни наряды, ни

разговоры, тары-бары эти. Что-то малое совсем не поглянется, отведет на себя глаза – вот как волоски те черные на руках у студента – и все, и не уговоришь себя, и привыкнешь вряд ли. По себе знала, все мы знаем по себе.

Еще потрогать хотелось, она ни разу не прикоснулась даже, первой нельзя, – к руке хотя бы, она какая: теплая, сухая ли, этого не обскажешь, и вообще, умные ли руки... как нелепо, когда глупые, хамоватые, за человека тебя не считают, не понимают твоего, человеческого, комкают. Руками – это же разговор, и как отвечать, если ей что-то сказали... ну, тронули, это ж одно и то же, и она не может не отвечать, плохим ли, хорошим, а многие мужчины в этом смысле – ну просто матерщинники. Или зануды, тоже мало хорошего.

Она слишком, конечно же, многого от него ждала, сразу, а так нельзя, не нужно; ждала и этого – что руку на прощанье протянет, но как-то так получилось... ну, не получилось, но это не беда совсем, все и без того было хорошо – и главное, он сам следил, кажется, чтобы все так было. Или, может, это лишь ей кажется, казалось так, а все это само собой у него выходило, как сейчас говорят – без проблем? Противное какое словечко.

Ехали тогда, он курил простенькую, без фильтра, поглядывал – неприметно из прищура своего, и надо было готовой быть, поняла она, что он все увидит, не пропустит. И все помнила, как в дом их вошел он, опаску, даже испуг некий у матери в глазах помнила, для чужих, может, и не видный... Сначала и смешно стало; но ведь и самой-то перед тем, вчера, страшно было, да и что знает она о страхе этом – по сравнению с матерью? Да ничего, можно сказать, инстинкты одни. Но сегодня не было страха, он си-

дел спокойно, чуть ссутулясь к ветровому стеклу, рядом, и рука его на баранке плотно лежала, другая с сигаретой у форточки, капот «уазика» резко подрагивает, взбрасывается иногда на колдобинах – по задам проскочили, потом проселком, а то еще навяжется кто на выезде. Он этого не сказал, только посмотрел и ухмыльнулся; и хотя она сделала вид, что не поняла, но ухмылка эта была ей в тот миг, в секунду-другую какую-то, неприятна. Нет, не секунду, а дольше и гораздо неприятней – потому что это была ухмылка именно, слишком много чего-то знающая про них наперед, а не улыбка. На улыбку она ответила бы тем же, понимающим, – но не на это... резко ездит, и сам жестковат, показалось, как этот «уазик» его на ходу, все колдобинки считает. Вот он, страх, и не дай Бог, если это так, что она тогда делать будет?..

Но прошло, и как-то быстро прошло – от покоя рядом с ним. Необъяснимый для нее покой, она еще, кажется, ни с кем вот так, рядом, его не испытывала, разве что около отца. Вот на обгон пошли на очередной, а впереди уже встречная замаячила в асфальтовых миражах машина, на глазах растет, несется – и впритирку прошли в реве моторов, между бешено вращающихся справа и слева колес грузовиков; и она боится, конечно же, но спокойна – это она-то, второкурсницей еще напуганная таким, угодившая на попутке в кювет: визг подружки, совершенно животный, с механическим визгом и скрежетом тормозов пополам, все заволокшая пыль, и в ней – жуткое лицо шофера остановившееся...

А вот автобус за автобусом пошли «Икарусы» – колонной, несчетные; и он головой на них кивнул, мало сказать – неприязненно:

– Детишек везут...

– Как – детишек? Это ж...

– Ну да... пролетарьят, смена газзаводская. Детишки, ничего знать не хотят. Газ на Запад, башли на карман – и трава им тут не расти. Теперь не пионеров – придурков этих так катают...

– Ну, семьи у них...

– А кто о большой семье думать будет? Дядя? Придурки, типичные.

Разговаривали о том о сем, и как-то удачно у нее получалось, в тон ему, сдержанно, да и торопиться уже не надо было, некуда теперь: ага, технологический, у Соломатина покойного... да, у вас он тоже лекции читал на агрофаке, знаю, но я лишь дипломную при нем успела написать, защищалась без него уже... копуша был такой, ага, но дело-то знал. На мелкокрупо... назовут же. Крупо-рушка, вот именно. Совсем нет, но все-таки город же, привыкаешь... Не привыкли? Прямо уж так – никогда?! Ну, если только посадят, усмешкой отделался он: тюрьма – тоже часть города, существенная; и вообще... сложный это вопрос вообще, и город не люблю... Да никак: он не для меня, я не для него. А на мой век деревни хватит, ее указом не закроешь... Если бы дураки. Хуже, куда хуже. Мы-то еще карабкаемся, а другие... У соседей вон (и ткнул сигаретой вбок, на мелькающие за раздерганной лесопосадкой лховские поля) и сенокос отменили... А так: однолетних не посеяли, семян с горючкой нема, а многолетних трав век не было... Нет, село подходящее у вас. Старое. Выделили, да... за школой, знаете, где эти жили... ну, Осташковы, так их вроде по-уличному? Вот-вот, и неплохой домишко, до ума если довести. Отопление подвел, а остальное так, между делом... да и не горит.

– Коптит?

– Так, серединка на половинке – дымит.

– А родничок знаете... под горой который, если к лесу ехать? Успели узнать?

– За седьмой клеткой? Ну как не знать... Дикий, скотина туда, считай, не заходит. И вода хорошая.

– Как я давно там не бывала-а...

– А съездим как-нибудь? Я и сам-то... так, перекурить заскочишь когда, на минуту. А туда на полденька хоть бы. И повыше, на речку. Где вишарник.

Съездим!

И еще о всяком: о знакомых общих, о клубе – порнуху одну возят да боевики; о родителях его, которые рядом, оказывается, в райцентре, – ничего, тянут, сестренки двое при них... звать как? Таня и Валюшка, старшая в десятый уже. И так захотелось их увидеть. Белокрысы, должно быть; сестренки почему-то светлей братьев бывают – или нет? О городе опять – и вот уже он, слишком легок на помине. Промбазы полузаброшенные, изрытая и захламленная земля, «комки» пивные и жвачные; повороты из квартала в квартал, он уже больше молчит, на разбитые дороги ругнувшись только, резко крутит баранку. Вот под носом у громадного забугорного фургона спекулянтского проскочили в улочку частной застройки, промеж пыльных кленов прокатили в ее конец и в новостройку въехали, прямо к общежитию.

Вроде бы успела, прибрала вчера – хотя чего уж там такого прибирать, постель разве... Кто скворечником его называл, общежитие, кто – курятником, матерей-одиночек тут и вправду с большим избытком было. Подымались по лестнице, и стыдно было за всю гнусность и грязь многоборного этого логова эпохи реформ,

будто в самоиздевку людьми устроенного для себя, в самопопиранье; слов не находилось даже, чтобы как-то отвлечь его, несшего сумки сзади и – на лестничном повороте заметила – с явной брезгливостью заглянувшего с площадки в очередной с полуоторванной дверью и стенами и полами изодранными коридор. Только и смогла сказать: «Общага...» – на что он никак не ответил; и вздохнула облегченно, дверь отперев свою, открыв полную утрением еще солнцем квартиру – отремонтированную заводом недавно, уютную-таки, хотя не Бог весть какая мебелишка была, сборная. Оживилась, захлопотала – «да проходите же!» – кинулась чайник ставить... нет, спокойней, подождет, некуда ему особо спешить – некуда! – и сумки, первым делом сумки с глаз долой, не напоминали чтоб. В комнату на секунду: «Завтрак за мной, я должника!» – и он оглянулся от встроенных в стенку полочек книжных, согласно пожал плечами, и ей почудилось опять, что на лице его та ухмылка... или не умеет он по-другому, никак больше не умеет? Неправда, очень даже умеет, она-то видела уже. Она не чувствует страха – но страшно же, ужасно, если с сомнением, какой-то ужас тихий-тихий царит на нынешнем белом свете этом, в неслышных ходит тапочках, как Славина мама надзирающая, по коврам махровым нашего бесчувствия, по задворкам тоскующих наших снов – и не дай Бог глянет, ухмыльнется... Может, книжки эти? Читиво, конечно: Дюма, Дрюон какой-то, не читала еще... ага, Пикуль с Балашовым, это уже кое-что. Зато и Чехов, Пришвин, и Достоевский черненький, в десяти ли, двенадцати томах; но тяжело его читать и, ей-Богу, неохота, это ж каторга – про все это свое читать, запутанное, про себя... другие пусть читают, дивятся, мы и так про себя знаем. Все знаем, кроме одного: как жить.

И в зеркальце на кухне: ага, в норме почти, глаза только блестят – и пусть.

Посидели совсем по-домашнему. Он не стеснялся, казалось, ничуть, ел все, что она ему подкладывала, пододвигала, – чуть навалившись на стол, поглядывая доверенней, усмешливей; и когда она, достав банку растворимого, села сама наконец, всего-то через угол столика на кухоньке маленькой своей, рядом совсем, – то потерялась на мгновение от близости этой, от его лица с обветренной, кое-где будто шелушащейся кожей, выбритой... и темно-русые и словно припыленные, да, волосы его неожиданно мягки показались, это по сравнению с лицом, зачесаны небрежно набок, одна прядка на лоб упала, и уж на маленькие сухие уши, пропеченные солнцем, лезли давно не стриженные волосы. Что-то говорила, садясь, – и не договорила, забыла о чем; он жевал, не торопясь, в раздумье словно, яичница с колбасой и салатом на скорую руку перед ним, бутерброды ее с маслом и сыром, и двигались, подрагивали невысоко подстриженные усы, – и глянул, когда она замолкла, вопросительно и ясно тоже, серые глаза спокойные, близко...

Не приехал. Могло быть всякое, конечно, мало ль у него хлопот, сенокос же. Ждать, ее дело теперь ждать. Бабье, уже ты, считай, баба при нем, сама этого захотела; и как ни говори, а есть что-то в нем, бабьем... основательность какая-никакая, завершенность, что ли. Не на своих двоих только, слабых, тем более если к мужу дети еще. Болтанки свободы нету, поганой. Болтанки надежд, ничем не оправданных, несбыточных. Но, может, еще хуже, когда наперед все знаешь – как со Славой.

Что-то делать надо с этим – или подождать? Малый ласковый, как про таких говорят, Славик и Славик. Уже привык, водит, своей считает, уже папа, профессор со старыми связями, малосемейку вот помог ей выбить – если дооформит, конечно, с условием неприкрытым, коробящим, но ведь и решающим всё, все ее проблемы нынешние: муж, квартира, работа... ну, работа и без того хорошая, и что там еще? Машина? С ней чуть подождать придется – но будет, на папиной можно поездить пока; а сейчас, дескать, двухкомнатную построить, заказ уже где-то принят. Про детей же, со Славой, и думать не хочется, никакого почему-то интереса, даже и странно как-то было представить: Славик – и их, с ним, дети?!

Вот и все твои проблемы... все? Всего-то? Если бы так.

Нет, подождать, конечно, отдых Славику, уже она делала так – на недельку, на две паузу, такое временное охлаждение: хоть немного, а все-таки помогало... Переохлаждение, ведь замерзает при нем, рыбой холодной себя чувствует с ним, треской свежемороженой, гибнет... гибнет? Да, и его губит, ведь знает же: так и продаются – за квартиры эти, прописку, за то-се, весь свет им не мил потом, а муженек в стрелочниках. И ви-дела это, подружек хоть взять, сокурсниц, и читала, зря ж не напишут, такое нынче через раз, – вот где тоска-то. Зато ухожена, напитана, обстановка, круг людей. Не топить, грязь не месить, город. И стирать-готовить будет, приноровишь если, захочешь, – но тошно. Но кто-то пройдет мимо, глянет равнодушно – как вот он, Алексей, – и все, и что-то сло-мается, сломится в тебе, загаснет, и что с этим делать потом? Как жить с этим? Без пощады глянет и будет прав.

И прибежали: к телефону! – и оказался, конечно, Слава. Славик как таковой, как судьба – один из вариан-

тов ее, верней; но ведь не хотела, не хочет она выбирать, не ее это дело... Что-то, знает она, нехорошее в этом есть, в самой возможности выбора этого: соблазн, попытка решить то, чего решить до конца все равно ведь не сможешь... совсем лучше не решать, иногда кажется, чем дразнить ее, судьбу, колесо запускать это скрипучее, тяжелое, которое тебя ж и... Какому лишь бы катиться – не разбирая, по чему и зачем.

У Славика на руках билеты, певичка какая-то – баянова ли, гармошкина... а ты меня – ты извини, конечно, – спросил? Я не болонка, Слава, у меня тут дела, и вообще я на выходные к своим, может, опять – да, отдай кому-нито, пожалуйста. Или нет, лучше сходи с кем-нибудь – с мамой, лучше не придумай, Агнесса Михайловна хотела же так... ну, вырваться, она ж говорила как-то. Засиделась дома, говорит.

Мама – гладкая, медлительная, с холодным приценивающимся взглядом, прицеливающимся: знаете, так мало в городе нравственных девушек, с чувством обязанности, долга... должницу ей надо, Славику своему. Не мама – фортеция, все под прицелом, все рассчитано у них от и до. Выгуляй маму, а то не прокакается никак.

Нет, Слава, и завтра тоже... Ну, я не знаю; но так получается, что я до вторника ну ни-ку-да. Ни-как. Зайдешь? Ну как это – «просто»... тем более вечером, нет-нет! Девчата посмеивались, а Нинок ладошками, как купальщица, широкий свой пах прикрыла, прихватила панически – и все так и покатились, и первая Нинок сама, аж повизгивала... Да, тут девочки кланяются тебе, русы косы поотрезали, лохмы одни крашеные... Но кланяются, полметут ими. Конечно, Слав. Но ты уж пожалуйста. Уж отдохни, от меня стоит, я же... И от тебя, и нам – от нас

двоих. Ну, я же не могу сейчас, при... И хорошо. А я сама позвоню, потом – ладно? Девам отмашку, хихикают под руку, нет бы выйти; значит, как ты говоришь – до встреч, до расставаний! Но я сама, договорились? Ну, целую.

Лжецелование, оно же и лжеклятва... так и водится оно, так и ведется. Грубое дело любовь. Физиология – ладно, тут понятно; но не менее, может, грубо и это все, что душевным называется, сама необходимость этого – железная, спущенная нам с небес, железо так, наверное, спустили когда-то человеку вместо камня, нет – бронзы уже... Вот он все железный и тянется, век, хоть говорят, что атомный. С железкой необходимости этой в груди, в теле все и живут, волокутся, оттого и тяжело. Вроде как обязанность – а перед кем и, главное, за что? Перебегая двориком назад в заводоуправление, подумала опять: вот именно – за что, за какую провинность такую? Железка, а впридачу железы... Господи, чушь какая, вон уже зырит какой-то – чуют они, что ли? Чуют, псы.

Обещанье, какое Славику дала, выполнила: ни-ку-да, только дома и на работе, на телефоне. Мальчик слабоват был, мог явиться все ж, не утерпеть, и она готова была выпроводить его в пять минут: поцелуй там, по щечке погладить и – домой-домой, Слава... К маме. Сразу против души домашность их была, а теперь и вовсе. Ордер через друга-приятеля папиного временный какой-то выписан, даже в ЖЭКе удивились, такого у них вроде не бывало еще – либо уж постоянный, с правами, как на обычную квартиру, либо никакой; и она в квартире этой на самых теперь что ни на есть птичьих правах, как в рядовой общаге... А через Славину кухню, феноменальную болтушку себе на уме, дадено знать, что

постоянный на свадьбе вручат, торжественно... Через ту же связную или даже через Славику – неужто знает он об этом? – она бы тоже могла условия свои выставить: ордер на стол, а все разговоры потом, хоть о чем, хоть о свадьбе той же; но и противно, и никуда со Славой не торопилась она, не уйдет... тошно, кто бы знал. Обоюдовыгодная партия – обоюдовооруженная. Ладно бы – Слава, папа, добряка-то строит он из себя, конечно, а так тоже ничего; но мама... Тяжелая, как свинец, мама. Породу улучшить желает – за счет здоровых деревенских кровей. Нравственность ей подавай, обязательства. Улучшишь, сединки прибавила б тебе.

И какой тихий, золотой какой вечер за окном, как обняло им домишки, дворы, кленовые с яблоневыми заросли частного сектора, вытеплоило как все, всю его немудреную издалека жизнь – как когда-то, в былом, еще мало-мальски добром мире. Машины совсем редки, явственно слышен говор со скамейки у одного из дворов, там всегда собираются старики, и противный, скандальный крик мальчишек под самой стеной малосемейки, вечно поделить не могут... А звезды ее любимой, вечерницы, не видно, рано еще или, может, с другой она сейчас восходит стороны – Бог знает с каких пор выбранной ею звезды, с шести ли, семи лет. И в какой не зная раз захотелось домой отсюда, огородом по меже вниз, к речке под ветлами пробраться и на камень сесть, гладкий от извечного полосканья бельишка на нем, от материнского валька, прохладный всегда; и натруженные, нажатые целодневной ходьбой ноги в теплую, сумеречно тихую воду опустить и смотреть сквозь прореженную понизу навесь ветвей, как нежаркое уже, погрузневшее солнце тонет в закатной дымке, в пыли прошедшего пажитью стада.

4.

Он приехал на другой вечер, в пятницу: позвонили в дверь, она уже и не ждала, но платья не переодевала еще, открыла – он... В легкой куртке-ветровке, с сумкой через плечо, с некоторой неловкостью в усмешке – не ожидали? Ждали, еще как ждали, с румянцем не могла справиться, почувствовала – заливаает всю, жаром охватило и тут же сжало живот, как предупреждая; а он вошел, сумку, помешкав, в угол к тапкам, мельком глазами по всему – и на нее, улыбнулся:

– Вечер добрый... Но я, Люб, ненадолго – к другу тут надо, днем еще созвонились, ждет... – И в руки ее, не знающие, что делать, газетный большой кулек сунул, легкий. – Примерной попутчице... в воду. Истерик на перекрестках не устраивала, за баранку не хваталась...

И ей легко сразу стало, еще не сознавала – почему, засмеялась, а рукам работа, разворачивать тут же стала, развернула – розы! Две белые, розовые тоже две и одна пурпурная, тяжелая, черная почти... И протянула зачарованно:

– Спаси-ибо... – И очнулась, спохватилась вся: – Да проходи же! И не разувайтесь, зачем?!

– Нет, разуться-то надо... и жарко же.

Пока, легкая, летала, вазу доставала, на ходу покрывала на креслах и диване поправляла – на столике в кухне уже бутылка муската, шоколад, коробка зефира, что ли... И он, высокий, все еще какая-то виноватость не виноватость, но и неловкость в улыбающихся ей – ей навстречу! – глазах:

– Сенокос только свалили, а тут к уборке надо, готовимся уже... замотали! Пришлось в самоволку.

Нет, не то что высокий такой уж, от сухощавости

это и прямоты; и все еще ветром каким-то потягивает от него – полынным, может, или это пота запах, его продутый чистой соли, а она в тапочках рядом, к шути эти шпильки, в тапочках лучше, на миг взглядывает еще раз – прямо в глаза ему, что-то говорит, все равно что теперь говорить, ничто ничего не значит уже – «не на губу же, в самом деле, вас, не армия же...» Говорит и глядит, не отводя уже покорно поднятых глаз, приостановилась рядом совсем, и будто за волосы изнеможенно оттягивает что-то голову ее назад, лицом к нему, и кухня вроде как уже не тесная вовсе, и нельзя ближе. Наливает воду, тормозит чужими пальцами в вазе цветы, чтобы сами распались, расположились, как им самим хочется, ему это поясняя и чувствуя, как он смотрит на нее, на ее шею; оборачивается и подает ему вазу, с пальцев стряхивая капельки воды, неудержимо тянет взглянуть опять, – и ему неожиданно нравится это, способ этот расставлять цветы, повторяет, усмехнувшись:

– Как им хочется, значит... Есть резон. А то мы все по-своему, никому свободы не даем. Даже этим... цветам этим зарезанным.

«Зарезанным...» Скажет же!

– Сама придумала! – с девчоночьей гордостью говорит она. – Расставляешь их, расставляешь... пусть сами!

– Сама?!

Сама, конечно. Все сама – или это ей лишь кажется так, может, с обид ее всяких своих, мелких... да и какие обиды теперь?! И кивает, спрашивая, да нет – утверждая уже:

– Голодный?

– Есть малость, – посмеивается он, нюхая цветы. – Пробежался, а тут некогда, на вечернюю лошадь чуть не опоздал... Сжевал бы этот веник!..

Счастливым ужас на лице ее – и в ней, отбирает цветы – «мой!» – бутылку ему вручает, шоколад и вы-
проваживает в комнату, следом сама, все на столик
журнальный. Мимоходом телевизор, так, программку
прихлопнула перед ним – потерпи, ладно? Ей время
нужно, мясо поставить жарить, уже нарезанное, сви-
нинка – она быстро; и салат еще один, летний, хорошо,
что помидоров с запасом взяла. Но и минуты-другой
не прошло, как он уже на кухне опять – на запах, де-
скать, хоть никаких еще и запахов-то нет; опершись
на холодильник, следит веселыми глазами, рассказыва-
ет, как вчера ночью серого чуть не задавил... не волка,
конечно, нет – зайца, сейчас они серые тоже. С полми-
нуты, дурачок, перед радиатором скакал, под фарами,
а чего бы не свернуть, прыжок один в сторону... вот бы
кого на сковороду!

Задавили бы?!

Да незачем... Возни с ним, да и какая сейчас шкурка?
Разве что для вас – зимой, как перелиняет... Ужас! Нет-
нет, ради Бога. Стрелять еще куда ни шло, но давить...
И вообще, не подглядывайте... не ваше дело это, кухня.
Достала из холодильничка, в руки ему: вот, идите, може-
те хоть в обнимку!.. Коньяк?! Дело хорошее, а не плохое,
как говорят китайцы. Иметь врагов – дело хорошее,
а не плохое. Ага, китайцы, у них с этим четко, с плохим
и хорошим... не наши долбаки. Продажные эти. Кстати,
я не давлю – охочусь. С ружьем. За зиму четыре аж зай-
ца, одна кумушка... буду иметь в виду. Еще чего нести?

Но как быстро темнеет за окном, уже не золото – медь
мерцающая на крышах, кое-где провалы сумерек меж
домишек, сухая туманная синь, сизость поздняя; и мерт-
венный сбоку, с проезжей части, от минуты к минуте

набирающий силу накал фонарей, где появляются еще
тени редких прохожих – косые уже, преступные. Не за-
глянуть в ее окно, высоко, – но как их зашторивать тянет
всегда, окна, прореху эту в жилье... женское это, знает она,
уже не раз такое замечала за собой, за другими, на то мы
и бабье. А ему хоть вся стена будь стеклянной, лишь
бы не дуло; бутылками распоряжается, не очень ловко
шутит, что-то о мужских достоинствах коньяка, головой
качает и морщится смешно и вожаденно от шкворчанья
сковородки, с которой раскладывает она поджарку, что-
бы погорячей было, прямо здесь на тарелки; и поднимает
рюмку наконец он и смотрит как-то легкомысленно – нет,
с усмешкой над своей легкомысленностью:

– За попутчиц?

– Ну, не за всех же... – улыбается, притеняя глаза,
она, зная силу этой тени, этой тайны – которой нету,
если не считать двадцать четыре ее тоски, а если и есть,
то для нее такой же темной и непостижимой, как и для
него. И он послушен этой тайне, он перед ней – она
видит – как мальчик, он за нею-то и пришел, за тайной;
и ни обмануть его, ни сказать ему всей убогой прав-
ды, какую она знает, ей нельзя, иначе она потеряет его
рано или поздно. И ей остается лишь одно: до конца,
до последнего хранить от него и ради него эту суще-
ствующую где-то помимо нас тайну... да, хранить, всюю
собою утверждая, что существует она именно здесь
и сейчас, в ней, в сумеречной этой, едва проблескива-
ющей желанием тени глаз, тени слова и каждого безот-
четного движения, иначе не удержать.

Он покороен ей – пока – и с мальчишеской само-
уверенностью надеется, может, разгадать и это, по-
знать не женщину только, но и тайну ее, и – сам того

не желая – разочарование в ней. И весь смысл ее, женщины, в том, чтобы уберечь его от самого себя, уберечь от разочарования не столько даже в ней, женщине, сколько в их общей, их совместной тайне жизни... потому что, понимает она вдруг до конца, вот сейчас именно понимает, прикрывая искрящимся фужером глаза, что в ней одной никакой ни ближней, плотской какой-то, ни дальней тайны неразгадываемой нет – без него. Одна она пуста, секреты разве что какие, но ими-то она не больно дорожит, не Бог весть что, и все бы, верно, отдала – ради тайны их двоих. И он тоже пустой, усталый таки, часов, может, в пять утра встал, на мужской одной усмешливости держится, кожа вон шелушится на скуле – поцеловать бы туда, потереться... ну, что он без нее? Агроном, функциональное нечто, как Соломатин говаривал, – с тяжелым мужским, пугающим ее азартом этого познания в глазах, нарочитой легкомысленностью едва прикрытого... дурачок мой. Чужой почти, даже и жесты не все знакомы еще, узнавать и узнавать своего, вот под нижней, резковато очерченной губой сгибом пальца почесал, озадаченный, как тост свой неуклюжий поправить, – мой, не отдам.

– Не будь эгоисткой, – говорит он наконец, справившись. – Их вон сколь по дороге, по всякой же погоде – что, никого не брать?

– Никого! – мотает головой, так что волосы захлестывает в рот, смеется она. – Только этих... с детишками которые. И старше сорока.

– Сорока-а?! – Он так как-то изумлен, так смотрит на нее, что она, тоже всерьез почти спохватившись, торопится:

– Нет-нет... сорока пяти!

И в смехе падает грудью на колени себе; а когда подымает смеющееся свое лицо к нему – он смотрит все еще растерянно как-то, с полуулыбкой недоверчивой, и взгляд его, помедлив, сдергивается, соскальзывает ниже, к вырезу платья... И Боже, как неохота подыматься ей под взглядом этим, прятать, ойкать фужеру в руке, отвлекая, и на спинку откидываться – но надо.

– Однако... – говорит он. – Рамочки! Есть же знаешь какие... мотор глохнет возле таких. Сам!

– Ничего не знаю. Сменить мотор!

– Придется, – как-то буднично вдруг соглашается он, будто о моторе и речь; и уже прищур опять этот, спокойный, а усмешка домашняя какая-то, близкая, где только взял. – Тогда за одну... за тебя.

– Ну нет, как это... За нас. Чтоб никому обидно не было, – оговаривает на всякий случай она. С улыбкой глядит, ждет – и он, покорный тайне, первым тянется рюмкой к фужеру ее, звякает и, кивнув ей, не торопясь пьет. – Только на меня не гляди, ладно? Ешь! Остывает же!

– Не согласен, – говорит он, жуя уже и пытаясь подцепить вилкой ускользающий грибок.

– Чего – не согласен?

– Не глядеть.

Она не помнит, точно ли так все было тогда, но ей кажется теперь, что именно так... Как кажется, так и было, ни при чем тут какая-то правда, которую никто ведь не знает и толком не узнает никогда. Было; и час ли, полтора, этого и помнить не упомнишь, он засобирился, и что в ней больше было, облегчения все-таки или сожаления, она не помнит тоже. Весь завтрашний день был обещан им, сердцу не тяжело было ждать, она пошла проводить его до телефонной будки – товарищу

тому еще раз позвонить, предупредить о приезде своем, ночном уже.

На полутемной лестнице навстречу подымался медленно, будто на что-то недоброе решаясь, заметно подпивший мужик, и он в два шага, как только увидел того в пролете, поменялся местом с ней, нашел руку ее своей, сухой и теплой, и так, несколько сзади себя, провел. Рук они не разняли. От асфальта все еще шло теплое, солярыкой отдающее удушье, разве что немного просвежело. Им пришлось, отойдя в тень кленового, самоволкой выросшего под стеною подгона, переждать компанию – в ней и девки были, – которая толклась у будки, что-то по очереди орала в трубку, смеялась, материлась и взвизгивала. Он только спросил, есть ли другой где рядом телефон, она покачала головой – поразбиты все – и чуть переместила ладонь свою в его руке, самую малость поудобней, и еще плечом к груди его не прислонилась, нет, – коснулась; и так стояли они, ждали, пока орава эта человек в пять ли, шесть, что-то непотребное выкрикивая и хохоча, не ввалилась в подъезд.

Зайдя и придерживая ногой тугую дверь кабинки полуткрытой, он раз набрал номер, другой; было занято. Тогда, протянув руку и потеснясь, он вовлек ее осторожно к себе, дверца с утлым скрипом сама притворилась за нею, взял руками за плечи и не сразу, но нашел ее губы.

И от ожидаемой, но все-таки неожиданной, другой совсем, но желанной как никогда жестковатости губ его, усов, ощутимой табачной горчины их и этой повелительности ладоней на плечах своих – что-то на мгновение сместилось будто в ней, поплыло, как в первый раз совсем, когда-то; и не зная еще руками, натываясь ими на сумку заплечную, на угловатости локтей, лопаток его

не сухого, совсем нет, но плотного, жестковатого тоже тела, она обняла его, обессиленно – за все-то эти дни – прижалась, замерла.

Осторожно, как-то бережно он целовал около губ ее, у глаз, потом к уху сунулся, потерся; а уже руки, пальцы его успели зарыться в волосах ее на затылке, добираясь, достигая истомного чего-то в ней, беззащитного, пугающе обморочного... нет-нет, ничего. И бережностью этой помалу побуждаемая от первого оцепенения, от желания просто постоять так, привыкнуть, еще этой неожиданной опытности его рук боясь и уже им веря, больше ей ничего не оставалось, – она взглядывать стала, лицо подымать понемногу, губы его ждать... Вот дыхание его, вот они, отмягчевшие, под колко щекочущей податливой щетинкой усов, откровенные теперь губы, и она тонет в них, в близости без дна и опоры... есть опора, и она еще подшагивает, сколько можно ближе, обхватывает всего, приникает – но близости, странно, если и становится больше, то уже ненамного. Ее будто даже начинает не хватать – и хорошо, и здесь, сейчас не надо больше, но ее все-таки недостает уже. Она и этой, какая есть, еще не сыта никак, не полна, еще все обретения, владенья новые ее впусте лежат, ею толком не обследованные, целые таинственные области в них, провалы девчоночьего головокружения в знающей, в ласковой властности этих рук, в прикосновеньях, мимолетных пока, посланцах проникновения, – но недостает. До мучительности потом, до непониманья, кто же и зачем придумал эту ненасытимую, страшную же, но и сладостную муку; но это познает она потом, позднее. А здесь, сейчас, еще в себя не придя после первой их долгой, бездонной, задохнуться заставившей близости, она отстраняется,

почти удивленная этим, смотрит жадно, ищуще в лицо ему, в едва угадываемый в темноте проблеск глаз – и опять дыхание ловит его, теплое, губы, его понимающую, все обнимающую власть...

Он еще раз проводит ладонью, грубоватой чуть, но о своей мозольной грубости знающей, по ее щеке, отводя волосы назад, за ухо, задерживает на шее; и снимает трубку, ничего не говоря, и начинает набирать, приглядываясь в отсветах фонаря к диску. Но медлит что-то, останавливается наконец и поворачивает к ней смутное в бессонной фонарной ночи, неопределенное, как все в ней самой сейчас, лицо:

– Что ему... сказать?

Она не знает, растеряна, тычется молча в шею его – и снова этот запах, с полыньком еле уловимым, ноги заставляющим слабеть, сесть тянет, как в степи на прогретый ковылек... Тычется, виновато почти, и не целует, а прижимается лишь губами в мягкое, может, самое в нем и шершавое от проступившей щетины, под скулой, и потом лбом... И он, кажется, понимает – или нет? Суховато целует в висок, в волосы ее, набирает опять, ждет. Медленные идут гудки, слышит она, неохотные; наконец отвечают, он говорит: «Привет, не поздно я?..» И разговор, в какой она не то что вслушивается, нет, ей не до того сейчас, а просто слышит, низкий его, с усталой хрипотцою, что ли, голос слушает: отсюда, откуда ж?.. Да, знаешь, дело. Ну, не дело, а... Дома как? Нормальная ненормальность – сложновато... не в кон? Да это я так, на всякий случай – случаев знаешь сколь? Знаешь. Он опять гладит, отводит за ухо стрижку ее, прижимает за плечо... не один? Почему ты решил? Да нет... Ну, еду тогда. Ладно. Одна? Есть, не суетись. Есть, говорю. Все, давай. Все.

Трубка повешена, она целует его, и благодарность скрыть, кажется, не удастся – да и надо ли? А он горячей, требовательней, в шею, и она даже на цыпочки привстает, обнимая под курткой и чувствуя, как перекатываются под рубашкой плотные, с тонкою, наверное, кожей мышцы, всего чувствуя... слишком всего, и с тихим, с прерывистым смехом отстраняется бедрами, отталкивается и плечами вывертывается из рук его, все-таки и смущенная его желанием. Но кабинка тесна, руки сильные и не чужие, свои почти, она уже их знает немного и дает забрать всю себя, все, и казаться начинает, что падают они куда-то, обнявшись, или плывут с кабинкой этой вместе – мочой же пропахшей, лишь сейчас почему-то замечает она... Ее передергивает всю, возвращает; она усилие над собой делает – и над ним, отрывается, спиною выбирается на воздух, выводит его, не выпуская руки, и еще раз тянется губами к нему, к подбородку, уже колючему, в уголок губ, второй раз сама.

Он помнит, конечно же, что – пора, хватит; но ведь и в самом деле ему пора, ночь давно, перебрех собак в частном секторе умолк уже и всякие теперь скоты ходят на свободе, не то что фонарей – света дневного не боясь, а у него дело, какое оно ни есть. Она разглаживает кармашек на его груди, на куртке, взглядывает – нет, он все понимает, у него добрые совсем глаза, без прищура всякого сейчас, и она кивает ему: ага? Ага. А где он живет, этот... ну, Иван? Да? Так это ж по линии по одной – далеко, но все ж...

– Нехорошо у него там, неладно... – говорит он. И поясняет: – В семье. Да нет, ничего... я там вроде парламентаря. Дурит она – а чего б еще надо ей? Посидим с Иваном, ночку отдай... Нет, я провожу.

Он смотрит, меряет глазами малосемейку; они поднимаются к ее двери, и слово, всего одно – «кофе?» – с совершенно непонятной себе самой интонацией произносится ею, голосом таким непослушным, что высечь бы его, голос... В ответ он опять тянет ее на себя за мягкие, она сама это чувствует, в его руках безвольные плечи, тискает ласково их как-то, говорит: «Нет, пойду...» – целует еще, бодает скулой и уходит – в самом деле уходит, оглянувшись на повороте из коридора и кивнув ей: жди...

Она отпирает дверь, входит – и посреди комнаты останавливается, не в силах что-либо думать, делать ли, оглядывается; и спешит к окну, к незашторенной его, в слепых отсветах темноте, зная сама, что ничего-то она там, на другой стороне, не увидит, кроме одинокого среди листвы фонаря в улочке и недвижно-бессонного, настороженного зарева над скопищем ближних и дальних мертвых огней города. Немного погодя с воем прокатил за углом неизвестно в какую сторону поздний троллейбус – успел? Должен успеть, остановка недалеко. Напряженно вслушивается, пытаясь определить, где остановился троллейбус; но тут, как назло, этажом или другим выше, в одной из дыр оконных пролетарского этого ковчега врубают на полную мощность магнитофон, и начинает хрипеть, глухо выть не забытый здесь еще Высоцкий.

Потерялась совсем девочка. Затерялась где-то между тоской ноябрьских выстуженных огородов с нетающим в бороздах снежком, слякотью небесной, в вечер переходящей, в вечность, гремящих пустых и плескающих коровьим пойлом тяжелых ведер, вечно сырых галош на грязном приступке заднего, во двор, крыльца – и оскорбительным равнодушием этих пустых огней, для

чего-то другого засвеченных, не человеку, но чему-то преступившему уже все законы, нелюдскому кадящих синюшным своим призрачным светом, назначенным не осветить, но скрыть, растворить в призраках своих все, самого человека тоже – оставив от него лишь косую тень... И что так надрывается этот, над чем, волчьему подвывая в себе, в нас, в мертвенном этом недвижимом зареве ночи?

Заело шторму, приходится на стул вставать, на подоконник – и вся как нагая она под волчьим немигающим взглядом города, лишенного небес; вместо него, неба, муть какая-то, сизая от дневного смога взвесь, немота и хриплый этот, осатанелый, в ней полузадохнувшийся уже голос.

5.

Она не знает, от чего проснулась – не от радости ли? Уже налиты тяжелым багряным жаром шторы, брызжет в их расходящуюся от сквозняка щель солнцем; и она на груди переворачивается – потяжелевшие, ей кажется, груди – и все теперь помнит, все... Даже то, что вчера как-то ускользнуло от ее внимания, запало в промежутки головокруженья того, странного же, сладкого, забытого почти... как за диван бигудишка какая-нибудь западает или заколка, потом только и найдешь.

Помнила, как в какой-то момент за шею обняла, повисла почти; как лицо его потом в ладони взяла, когда в плечо он целовал, – и как оно сильно, неукротимо двигалось в них, лицо, порывалось все ниже куда-то, все глубже в нее, вздрагивать и ежиться заставляя... Какое на ощупь плотное и сильное тело все у него, такая

приятная под рукою плотность у благородного, тяжело-го дерева бывает – у статуэтки африканской такая, Слава же и давал как-то подержать, готовиться мальчику... И руки его, когда владели всею, – мог же, но не позволил... совсем мало, вернее, но не в этом же дело, а в том – как. И телом всем вытягиваясь, руки под подушку запрятав, в прохладное, вспомнила, как отстраняться пришлось, и смешок вслух упустила – замираньем каким-то ото-звавшийся в ней; и вдруг поняла, что не в комнате одной это сквознячок гуляет, жар ее сна наяву разгоняя, радость отвеивая и умирняя, а в ней самой, что – боится...

Прибралась и, на миг какой-то поколебавшись, под-няла спинку дивана, хотя этого-то обычно не делала. Коньяка оставалось больше полбутылки, она еще вче-ра мимолетно тому порадоваться успела, по-бабьи, не увлекается, вина и вовсе. И розы на столике, она уже присаживалась к ним, на минутку: отборные самые, свежие нашел...

Надо было в магазин, хлеба свежего ему, всего, что попадется подходящего и по карману, да еще и пригото-вить успеть, котлеты, может, фарш у нее есть, а уж деся-тый час. И на лестнице вспомнила: Слава... Вполне ведь может прийти, не в первый же раз, как она не подумала сразу, – позвонить, упредить.

В телефонную кабинку заскочив, огляделась: неужто здесь, Господи?! Ничего-то мы себе не выбираем, нико-го, всё кто-то за нас. Нет, она и выбрала вроде – но кто и что может сказать ей наперед? «Кто может молвить «до свиданья» чрез бездну двух или трех дней?..» – из книжечки маленькой у нее... из Тютчева? Лето, давно ничего не читала, а надо бы.

Никто там не отвечал, и было это странно даже,

в такую-то для горожан субботнюю рань – собачку вы-гуливают, что ли? Собака считается Славиной, сказали – чистокровный французский бульдог, а выраженьем мор-ды, прости Господи, скорее на маму чем-то смахивает; и она никогда ни за что не поймет, как можно не то что любить – а там любили, ласки сюсюкали, склоняясь, – но просто жить в одном помещении с этим омерзитель-ным существом кривоногим, злобноватым вдобавок... Опоздала; ну, еще раз попробует, от магазина, там авто-мат в тамбуре, не успели еще раскурочить.

Возвращаясь, увидела его, Славу, у подъезда – видно, поднимался уже к ней и теперь, на бетонный блок присев, служивший тут чем-то вроде скамейки, поглядывал во-круг в раздумье... накаркала, надо же! Он что, в самом деле слов ее всерьез не принимает?! Разозлилась даже, шаг сбавила – может, свернуть куда, прогуляться? Нет, нехорошо, низко. И он заметил ее, издали было видно – обрадовал-ся, встретились на самом солнцепеке.

– Я ж просила, кажется...

Больше было нечего сказать ему – больше раздраже-нья этого, непреодолимого.

– Ну, а если рядом оказался... по пути! – улыбался он нисколько не виновато. – Шеф просил тут к клиенту зайти, бестелефонному – вон в тех домах... О, какая се-годня ты! По какому случаю?

И за руку хотел взять, но она отшагнула, плечами пожалала:

– Выходной... – Не нашла чего другого, солгала: – К родне надо, к тетушке. Пошли сядем.

– Уж и кофейку страждущему...

– Нет, Слава, нет... Сядем, – и пошла, он за ней, с деланой уже веселостью недоумевающий, к скамейке старушечьей

у частного дома напротив, там они, бывало, сидели. С нее, кстати, и подъезд был виден.

– Мы ж договорились...

– Да что ты озабочена так этим? – Она уже села, а он стоял перед нею, высокий, от природы стройный, черными живыми глазами ласково глядел – куда эффектней, конечно, Алексея, это она вынуждена была признать сейчас, девы лабораторные не зря считали его красавчиком... Если б не квартирная белотелость, не мягкость рук его, эта не то что безвольность, нет, но уклончивость от всего... от мамы привык уклоняться. – Пришел – и ушел... Ну, люблю. И не скрываю.

Она молчала, всегда он обезоруживал ее этими откровенными слишком, непривычными и, как казалось иногда, неприличными даже в чем-то словами, каких не любила и побаивалась, лучше молчать уж, чем так, прямую; но и оспорить не могла, обижать не хотелось... Что вот на них отвечать? Сидишь как дура – словами этими, глазами, всегда такими предупредительными к ней, незаслуженно ласкаемая, авансом будто, оглаживаемая... кошку так гладят. Или эту псину свою. Опутают словами, огорожат – не рыпнешься, это в семье у них манера, что ли, такая... И движение сделала, как бы освобождая место ему рядом на скамейке, без того достаточное, и он подсел:

– Скрывать это вообще опасно. Как сигарету в карман от учителя – прикуренную... – Он руку ей на плечо положил, качнул шутливо: – Ну, пришел, увидел – и ушел, пять минут не деньги... У тебя что-то?

– Не знаю... устала.

– Скрывать ты устала, – сказал он все в том же шутливом тоне, каким, кажется, привык уже с нею разговаривать, и она подумала: верно. Он вообще чувствительным

был и, в конце концов признала она, умным человеком, и мягким... чего б еще надо? Так Алексей вчера сказал, Леша, о той, жене ивановой: чего еще ей надо?.. Она не знает, как той, а вот ей самой – надо. Не скажет, может, в точности – чего, но надо. Не чужого, своего, и чтоб он шел, вел, но так предупредительно не оглядывался, незачем, если веришь. Чтоб понимал, но не так вот, с заглядыванием в глазки. Сказал чтоб – и охота пропадала спорить, как у нее и матери после иного слова отца. И много чего еще надо, о чем она сама имела пока смутные, в слова пониманья не переведенные до сих пор представления, да в том и не имелось нужды, оно так сохраннее было, чем в словах... Да, это все тоже надо было скрывать, и она устала.

– Что, угадал?

Угадал; как будто то, о чем она думала сейчас, она ему вслух сказала... бывает же чувство такое. И ответить нечем, не сумеет она ответить.

– О чем ты? Что именно – скрывать?

– Ладно... По крайней мере, хоть я этого не делаю. И, значит, скрытности в два – да, равным счетом в два раза меньше между нами. А в два раза – это много. Это целая куча откровенности... Монблан, мама миа! Это между нами можно счесть даже за нормальное.

– Мама... – Раздражение опять накатило на нее. – Не скрываешь? Даже мою... – Она подыскивала слово, не глядя на него. – Вариантность мою?

– Как-как?

– Ну, что я – вариант... я не знаю... кандидатка, в общем, не очень надежная. Подходящая, может, но...

– Конечно, подходящая! И единственная. И вообще, все мы кандидаты – куда-нибудь, во что-нибудь!

В жизнь!.. – Он не зря юридический окончил, Слава, в конторе адвокатской какой-то работал теперь, набирал разгон. – Любого из влюбленных спроси... да, подходящую ищут, подходящего. Чем я-то в конце концов не вариант?!

Он встал, выпятил грудь и отставил ногу, смеющимися глазами глядя сверху, даже подмигнул.

– Я не о том – о другом совсем... Что на привязи у вас, как овечка. Как не очень надежный вариант. Привязанность, нечего сказать...

– У нас?! Ну что ты городишь, Любава!

Что-то от нее в свой лексикон уже он успел взять, шутил иногда, поддразнивал. Но она лишь мельком взглянула, нашлась:

– Из вашего материала горожу. Подкинули, я и горожу. Да из этого, хотя бы... Чудо-юдо рыба ерш – временный ордер! В ЖЭКе сбежались все посмотреть – ни разу такого не видели. Вас особо, говорят, почтили, как никого. Теперь я у них на особом... особое почтение мне. В случае чего и выставят в два счета. – Она не давала ему сказать, торопилась, обида лезла – да он и возразить не пытался, кажется, удивленный. – Ваш знакомый, этот... ну, Виталий Моисеевич, – ну просто маг! Начальница ЖЭКа говорит: легче постоянный было выдать, раз уж все документы от вас приняли, чем этот... Временная, на крючке... Рыболов-спортсмен. А дорогой кухне твоей поручено меня известить. Передай, что порученье она выполнила – блестяще, нет слов!

– Позволь... порученье? Какое?

– Что постоянный ордер – заметь, постоянный, законный! – я получу только на этой... за этим, за свадебным столом. А не будет... Стола если не будет – не по-

лучу, это уж само собой. Видишь, нагородила сколько. – И вспомнила, не удержалась: – Монблана теперь целых два, мама миа! Если сложить, эта самая получится... с любовь высотой. Гора эта...

Она забыла название горы, да и зло свое тоже, потому что он так растерялся, что даже смотреть неудобно было, нехорошо. Встала, не зная, что дальше делать, сумку перед собой из руки в руку перехватила – и вышло по-дурацки деловито, дальше некуда, прямо приговор подписала... И поняла, что лучше всего сейчас было б уйти. Или ему, или ей.

– Подожди... – сказал он другим, какого она еще не слышала, голосом, невнятным.

Она покорно приостановилась, ничего не ожидая, глядя, как у ворот соседнего дома какой-то тип с согласия хозяина пугает и дразнит молодого кобелька, и тот не лает уже, а сипит, задыхаясь, на врага – какой тоже чуть не на четвереньки встал, хотя не пьян вроде... как грубо все, гнусно тут, не по-людски. Зоопарк какой-то – без решеток. Он тоже не смотрел на нее – а где-то перед собой, ближе, чем стояла она, остановил взгляд, где происходило что-то для него непонятное или нелепое.

– погоди, – сказал он еще раз, морща лоб и все так же не глядя. – Ты зря... Я спрошу... может, ты зря. Разберусь. Я позвоню...

Он повернулся и пошел. Потом заметил, наверное, что идет слишком медленно, и пошел быстро.

Народу на большой улице, куда выходила торцом малосемейка, было по-прежнему мало еще, все никак не наспятся, не наваляются, разве что кудлатка похмельная какая за водкой-пивом выскочит, за буханкой,

да шли из недалекой отсюда, недавно открытой церкви с ранней обедни старухи в неярком, а то темном, все как одна в платочках – и не сразу его белая тенниска затерялась среди них, среди чахлах околотротуарных липок, которые сажай здесь, не сажай – все равно сломают, какая-то темная страсть к разрушению полезла из многих, слишком из многих... Помолиться бы. Но что отмолить можно в бесстыжности и нелепости жизни этой, как умолить ее, Господи?!

И села опять, почти обескураженная: неужели все?.. Как это скоро все получилось, получается – и с ним, и с нею самой... в самом, что ли, деле судьба? Она грубо так не хотела бы вроде, так скоро... Не ври, сделала – значит, хотела. С вариантами этими дурацкими прицепилась к человеку, навязалось на язык, – а у самой что, не варианты?.. Ну нет, она же не знала, она уж разуверилась, что может быть такое: автобус, «вечерняя лошадь» их обшарпанная, спина его в проходе – и гулкий этот, как предупреждающий, удар и следом другой в дверь ее, все не забывается это никак...

И Слава – он же тоже не знал, это видно же. Мама с папой всем там крутят, с хитромудрым знакомым своим, вот у кого вариантов... Но и это неправда тоже, что ни о чем не ведал, так не бывает. Хоть что-то, но знал. И ждал. Глаза только не знал куда девать, сейчас вот...

Все равно жалко. Хорошего жалко, было ж. Нескучный, шутить, рассказывать умеет, она немало всякого узнала от него. И ласковый, искренний же: «Яркие карие глаза у тебя какие, теплые! Даже сердиться когда... нет, уволь, не могу твою сердитость всерьез принимать!» – и она тогда насторожилась, выговорила ему: как это – не всерьез?! И когда предложение делал – как волновал-

ся, как словам ее («да, Слав, но чуть подождать...») обрадовался, не спрашивая даже, зачем ждать и чего, да она и ответить бы не смогла, сама не знала... Как от мамы даже пытался защищать – и заслонял иногда, когда слишком уж наседали, словами опутывала. Всегда наготове, придешь – уже готов у нее силок очередной, заводит уже в него, заманивает... откуда она силу эту слов знает? Цепкие какие-то у нее слова, как гардинные «крокодилы-чики», не успеешь оглянуться – вся в них обвешанная, в обязанностях по отношению к ней, обещаньях, из тебя, оказывается, уже вытянутых: вы ведь так и сделаете, не правда ли?.. Ведь вы не забудете?.. Уж вы Славу, пожалуйста, заставляйте, он рассеян бывает, разбросан – слишком, знаете, круг интересов широк, я на вас надеюсь, вы, я знаю, не подведете...

Нет, еще не кончено ничего – во всем, что навалилось вдруг и почти врасплох захватило ее. И решать все это, похоже, не ей, не Славику и уж тем более не маме – какой придется все-таки со скрипом оставить свои такие обширные замыслы. Решать ему. Ты и сама не заметила, когда и как передала это право, да нет – обязанность тяжелую эту ему, и назад уже не возьмешь, не захочешь взять. Разве что сам он бросит...

Бросит?!

Это так ново было, неожиданно – так подумать, – что она в первый момент себе не поверила: он бросит? из-за чего, как? Даже улыбнулась, все еще со скамейки этой старушечьей глядя, как копошатся под стеной общаги с выводком подвальных котят первые с утра детишки, такая ж безотцовщина тоже, – но уже не чувствуя улыбку, усмешку свою уверенной. Как бросают... Сама как бросала, ни с того ни с сего порой, надоедал очередной –

и отваживала, не слишком-то задумывалась. Сама-то «брошкой» не была еще, ни разу.

Она встала, пошла к подъезду: чушь какая, думать об этом – это сейчас-то... Растерялась, вот что, потому и лезет в голову всякое. Главное, ведь ни поводов к этому, ничего нет; да она и не даст их, поводы, она просто не может дать их сейчас, не сумеет даже... Господи, вот дура-то! Взбегая по лестнице, на часики глянула: десять уже, о котлетах лучше думай. О гарнире – гречку отварить, может? Или рис? Рису маловато осталось, нет бы вспомнить, купить, мимо же витрины прошла, глянула же... Вот дуреха-то.

6.

Еще она думала, представить пыталась, как он поведет себя в первую не минуту даже – миг этот, почему-то очень важным это казалось, и как ей себя с ним держать, слишком уж скорым все между ними было и вместе с тем расплывчатым, неустановившимся – при дневном-то свете... Непозволительно скорым, если с кем другим, она так не хочет и не умеет, хоть как-то привыкнуть должна.

Но для него, на полчаса припоздавшего с лишним, никаким вопросом это, похоже, не было, не выказал того ничем. Сумку, в целлофановом пакете цветы – пионы?! – все в сторону, потом; стояли в прихожке крохотной ее, в проходе, верней, и ей-Богу же соскучился он, в чем другом, но в этом-то не могла она ошибиться. Не обманывалась же, волосы глядя мягко-русые, лицо подставляя губам его, бережным, – после того, первого мгновения, продлившегося, когда заглянул в глаза своими, будто от блеска собственного сощуренными,

и губ долго не отнимал от ее виска, вдыхая, просто обнял и стоял так. И сказал то, о чем она только что подумала, но чего еще никак не ждала от него – недоуменное чуть, шепотом:

- Ей-Богу, заскучал...

От него пахло малость водкой, и он знал о том, помнил; цветы подавая, еще раз в глаза глянул, а усмехнулся не ей, себе:

- За амбре извини, чуть не ночь просидели, считай... ну, повелось у нас так, не часто видимся. Не сказать что-бы часто. Разговору набралось.

- Вы хоть завтракали там, орелики?

- Да покормила... – И засмеялся, вернее, сказал, посмеиваясь: – Да уж, орлы, далеко залетали!.. Ну, а ты-то как тут?

И, не дожидаясь ответа, в волосы ее сунулся лицом, отыскивая все, что находил вчера, к шее.

Открыли створку окна, шторы задвинули и обедали в прохладе, в гуляющем по комнате сквозняке. Иван работал, оказывается, в старой областной газете, бывшей партийной, и фамилию его – Базанов – она слышала уже не раз, что-то даже читала. Карьеру некоторым попортил он тут... неужто тот самый? Самый тот. Учились вместе, в общаге четыре года голова к голове спали, на койках соседних. Жалеет уже, что агрономию кинул, – так ему и надо, не лезь в эту грязь... журналистскую, какую еще! О семейных его делах Алексей не стал говорить, не хотел: ну что скажешь... ну, плохо. По-доброму, к ним бы в гости. Но это до лучших, даст Бог, времен; а может, на реку – а, Люб? На дальний пляж, там хоть бережки посвежей, не так накопчено...

Предложение неожиданным было и чем-то ее смутило, заколебалась про себя – вот так, вдвоем? И ответила не сразу, подумала опять: как-то скоро все у них, будто даже поспешно – и не от нее ль это, не она ли торопится? Опасно скоро, да, и она не привыкла так... и что хорошего, если бы и привыкла, как лабораторные девки ее? Но и ничего особенного в том не было тоже, чтобы на пляж, сама сто лет не купалась – целых сто, с весны если считать, да и в городе сейчас некуда податься, не в киношную же духоту; а дома оставаться...

Она с сомнением, с неготовностью пожала плечами... ну, можно. Ей не хотелось отказывать ему сейчас в этом еще и потому, что, может быть, придется отказать позже – если бы он захотел остаться. Вот чего она боялась и боится, с самого утра. Ведь и помнила вроде эту свою опаску, а как-то не то чтоб забыла... Нельзя оставлять, ни за что, иначе что сам-то он о тебе подумает? Нельзя, пожалуйста, попросила она себя. Все будет, если тому быть, но не теперь, не сразу.

Да и что, в самом деле, смутило ее в этом – на реку сходить всего-то, искупаться? Или уж старой девы комплексы проклюнулись уже? Ну, есть в ней, она и сама знает, это не то что старомодное, а... Есть, и кто догадывается из подруг – усмеваются, а то попрекают, и пусть, мало ли дур, всем не угодишь; но ведь не до ханжества, нет же. И ей это его предложение кажется уже нормальным вполне, хотя, будь вечер, лучше бы в театр сходить или на ту же Баянову – но нет-нет, не надо на вечер...

А на реке она была весною, со Славой, вернее – целой компанией, больше пили, дурачились, чем купались, вода еще обжигала ледяной свежестью своей, будто снеговой еще. Не для нее и тем более не для Славы была

вода, так что загорать ей пришлось в родительском огуречнике, за прополкой да поливкой... и ничего, успела, она и всегда-то любила загорелой быть.

Но ощущение неловкости, да и, может, ненужности всего, что произошло между ними какой-то час-полтора назад, вернулось к ней, заставило потупить уже перед другим, перед Алексеем, будто он мог что-то об этом знать или догадываться. Что-то не то, не так она сделала... и не от ее ли боязни этой перед выбором, перед жизнью досталось мальчику? Она подумала об этом впрямую – да, вопросом, ответ на который и без того был ясен. Мальчик и виноват-то, может, меньше всех. Он по-своему, но любит. А это другое, она не знает, как это можно выразить, но совсем другое дело, это другие совсем права у человека и на человека, она же ведь помнит себя в первой, горькой от избытка сладости, несмысленной еще влюбленности – он где теперь, юный тогда еще их учитель географии, Андрей Сергеевич? И готова почти признать, что любящий – не виноват, хотя бы уж потому, что как бы не по своей воле любит, а по вышней, и за себя не всегда может отвечать, не в силах той воле перечить – да, именно так, и Славик бедный мог и не на такое пойти, лучше всех зная эту зыбкость отношений меж ними, чтоб удержать...

– Эй, на том берегу... вы где?

Он, оказывается, смотрел на нее – не то что настороженно, но как-то внимательно... неужто почувствовал что? А ты еще не убедились разве? Какие они... Почти торопливо встала, к нему, коленями в колени, за руку взяла: около тебя. С тобой. Так на реку? Ты так хочешь?

– Спрашиваешь!.. Нажарился я на этих посевных-сенокосных... вяленый уже. Балык.

Даже в низкой зеленой пойме под крутоярами коренного берега не ощущалось почти реки. Зной, пылью висевший над городом, разве что чище здесь был, но плотнее, безветрием отяжеленный, без всякой тени; и лишь на самом подходе сильней потянуло наконец травой с сыроватых ложбин, лозняком, открытой водой. Такая жара, а река в мелких бегучих бликах серая на вид, колючая и неприветливая, это от поблекшего, высоту потерявшего неба. Но вода-то теплая – она, босоножками в руке болтая, забрела в ее отрадную ласкающую плоть, песок отмытый продавливался меж пальцев, игрушечный галечный перекатик шептал рядом, в ступню глубиной, и обморочно кликала над ними чайка.

Подбережье пологое, какое дальним пляжем называли, было пустынным. Вдалеке, на пляже городском, что-то разноцветное лениво роилось, еле пересиливая полуденное оцепененье, а здесь лишь спекшийся иловатый песок, полянки зелени кое-где, пойменный на той стороне реки лес; и за дальним лозняком компания какая-то сидела, отсюда неразличимая, и женщина стояла там, расставив ноги и к солнцу лицо подняв, прикрытое панамой. Им не пришлось долго искать, сразу выбрали место, просто выбрали на него – под тальничком тоже, на травяном его подножье.

Она, может, слишком долго расстилала старенькое тканевое одеяльце, пристраивала сумку в жидкой тени... она, странное дело, раздеваться перед ним стеснялась, хотя в компаниях-то делала это едва ли не с охотой, чувствуя на себе собачьи глаза парней, что-то в них собачье сразу появлялось, и неудовольствие подруг; то же и с Мельниченко когда-то, чуть не додразнилась... Ждала, и оглянулась лишь тогда, когда шлепанье ног услы-

шала по воде: прямой, узкобедрый, в синих то ли плавках, то ли трусах трикотажных, он шел без остановки туда, где угадывалась глубина, и резко выделялся загар шеи и рук его... рабочий загар, на песочке валяться некогда, на людях не растелешишься даже и в поле, хотя спина уж прихвачена тоже солнцем... И тесемка тоненькая на шее – крестик?

И быстренько стянула через голову платье, на тальник накинула и пошла, но не за ним, а вбок куда-то, выше по реке... Господи, да что с нею? Засиделась, старая, думать стала много, вот что. Уже он плыл, от течения косо отмахиваясь, с головою и раз, и другой, с наслаждением негромко отфыркиваясь; и ее приняла вода, чуть не холодной показалась в первые ознобные мгновенья, – охватила и понесла к нему. Она поплыла, огребаясь лишь и стараясь в лицо не плеснуть себе, и прямо на него вынесло, стоявшего по грудь, ждавшего уже.

Он поймал ее, в воде скользко-холодную, такую ощущала она себя, тяжелую, и теченьем ей ноги на него занесло, так что пришлось обхватить ими его, под напором шатнувшегося; но устоял, прижал к себе крепче, бережней и заглянул в лицо, прямо в глаза своими смеющимися, в дрожи брызг на ресницах, и стеснение, и боязнь эта дурацкая оставили ее. Обняла, всего его, как ни отвлекала вода, чувствуя – он, вот весь он, его напряженное, мышцами в сопротивлении потоку подрагивающее тело, оскальзываются друг по другу они, как большие холодные рыбы, качает их, то прижимая ее к нему, то вздымая плавно и разводя; и еле удержаться могла, дожидаться, когда он первым коснется близкими губами, скользящими по мокрой щеке, к губам ее, шее...

Они так и вышли, обнявшись, и легли, лицом друг к другу. Она стирала ладошкой со скул его оставшиеся капли, отводя мокрые потемневшие русые прядки со лба, с висков; и он тоже провел осторожными пальцами в одном уголке ее глаза, в другом, вытирая.

– Что?

– Краска, – сказал он. И усмехнулся, добавил: – Грим ваш...

Она быстро встала, побежала к воде и, зачерпывая полные пригоршни ее, теплой и пресноватой на губах, умылась и крепко вытерла лицо и подглазья ладонями. И, возвращаясь, увидела, как он смотрит на нее... с удивлением ли, мальчишеской растерянностью? Невозможно было понять – как, да она понимать и не хотела, главное – он ждал ее, дернувшись навстречу было, приподнявшись на локте и почти недоверчиво глядя или с жадностью, пойми их... Нет, она-то знала, волей ли, неволей, а отметила, что это ведь в первый раз со стороны ее он увидел без платья, увидел почти всю; и уж не стеснение никакое в ней, нет – радость за него и за себя, девчоночья, за них, и если было б что на ней прозрачное, вроде газа, то прихватила бы пальцами прозрачное это и крутнулась перед ним, язык показала...

И упала рядом с ним, на него почти, и лицо к нему повернула, прикрыв глаза, подставила:

– Вот!..

И только она знает, как легки и неуследимы губы его, прикасающиеся к ее лицу то тут, то там... целуют ли, капельки собирают ли оставшиеся, и усы не жесткие, нет, щекочущие чуть, а руки... Ох, руки, она в них вся, они вездесущи и все в ней знают, почти все, и она вздрагивает от них и прижимается, бежит от них к нему же, бояться

опять начинает их. Она зарывается от них в него, прячет даже лицо, губами в ямку его у шеи вжимается вся, – но так незащитна, оголена спина ее, ноги, и каждое этих рук то касанье, то крепкое, дыхание перехватывающее объятье так пронизывают невыносимо, как дрожью тока, что уж только на спину – перекатиться бы, прикрыть ее, спину, его не отпуская... нельзя, что ты, нельзя! И напугалась, стоны не сдержав, оторвалась, руки перехватывая эти, и губы его чуть не вслепую нашла, впиалась...

В тот же миг чайка панически закричала над ними. Она вспомнила, что – берег, опомнилась вконец, приподнялась и, глазами блуждая, обернулась туда, к лозняку; но нет, слава Богу, женщины той уже не было там, не видно никого. Он лежал навзничь, с закрытыми глазами, синий эмалевый крестик на плече, и что-то вроде улыбки бродило по его лицу. Она взяла в обе ладони его руку, безвольно тяжелую теперь, тряхнула ее сердито, как щенка нашкодившего, – и не удержалась, прижала к своей пылающей щеке.

7.

Вино было кисленькое, чудесное по жаре и чуть сладило, она давно такого не пила, это они по дороге сюда в магазинчике купили. Он открыл бутылку оставшегося еще коньяка, выпил рюмку – нет, жарко, ополоснуться надо... И она уловила его взгляд, еще отрешенный от всего, только ими двоими занятый, – взгляд мимо нее, на берег, и оглянулась.

Вдоль него, берега, не торопясь шли двое, парней ли, нет... не парней, нет, постарше один, в рубашке расстегнутой и в сатиновых черных трусах, коренастый, другой моложе гораздо и повыше, с обгорелыми плечами;

а сзади, отстав на сотню шагов, брел по отмели, по воде третий, видно было – подвыпивший... К ним шли, мимо ли них – непонятно, но уже сердце ее заколотилось нехорошо... к ним. Она встревоженно посмотрела на него, и он кивнул ей – ничего, мол. И усмехнулся.

– Не связывайся только... ладно?

Она проговорила это шепотом, уже боясь, что услышат; а он лежал на боку, на локоть опершись, и медленно жевал, поглядывая на подходивших.

Они в ногах остановились, шагах в трех-четырех, и молча разглядывали их. Тот, что помоложе, белобрысый, под ежик стриженный, с красным на лице и на плечах загаром и мужественной вязкой мускулов вокруг рта, на нее глядел, потом перевел бледные глаза на бутылки. Она, не зная, что делать, села. Алексей посматривал на старшего, сощурившись совсем.

– Что? – сказал он наконец, и голос его был так неприветлив, вызывая даже, что она дрогнула, умоляюще оглянувшись... ну зачем, не надо! Миленький, не надо! Но он лишь мельком глянул, останавливая даже молчаливое это ее, больше в глазах его ничего нельзя было увидеть.

– Может, угостите? – Старший сказал это миролюбиво, и на левой стороне оплывшей его волосатой груди она только сейчас увидела со страхом татуировку, совсем небольшую. – Поговорим о том о сем... то да се.

– Нет. Не рассчитывали.

– Н-ну, ты!..

– Подожди, – остановил тот обгорелого и с каким-то интересом оглядел Алексея. На нее он совсем не обращал внимания, будто ее тут не было. – Не понял... жалко, что ль?

Вместо ответа Алексей встал – не торопясь вставал, на шаг вбок сосступил с подостланного и оказался напротив белобрысого.

– Жалеешь, – утвердительно сказал старший, и что-то в его скуластом лице промелькнуло, сожаляющее тоже. Качнул головой, оглядывая подбережье все, и сделал движенье, как будто собрался уходить.

– Зачем? Говорю, не рассчитывал. – И ей кивнул, но куда-то за спину: – Идем... пора нам.

– Сиди!

Это ей, лицо у белобрысого почти бешеное; а подходивший сзади, тонконогий, вообще худой, невзрачный и весь каким-то редким волосом поросший, засмеялся, крикнул:

– Парам-пам, да?!

И тут же дернулся обгорелый, шагнул; и, увидела она, отшатнулся от его кулака Алексей, но второй в лицо ему попал – так, что голову мотнуло. Глаза б закрыть, не видеть... не закрывались, и в ужасе глядела, сжавшись вся, как оттолкнул он белобрысого, сам отскочил, и как забегают ему сбоку, друг другу мешая, других двое.

И не успев глаза перевести на него опять, на Алексея, скорее поняла, чем увидела, как увернулся он от очередного кулака, отпрянул, но тут же толкнул, не давая тому развернуться, – и, как-то присев, ударил вдруг, снизу, и белобрысый со всего размаху сел, вдарился ягодицами в землю, с глухим каким-то жутким стуком, и завалился, оскалился беззвучно к небу, выворачивая шею...

Это безумьем было, мороком мгновенным, ничем иным – потому что ей жалко вдруг его стало, обгорелого... Да, на миг какой-то, на полмига всего, но жалко...

так боль его почувствовала, хряск этот, стук ужасный, в ней во всей отозвавшийся... Господи, помоги!

Но было, кажется, поздно. Уже коренастый в голову бил Леше, в лицо ему опять, тычками какими-то резкими и страшными, дергаясь телом всем, а худой вцепился в руку ему в правую; и Алексей, оступаясь назад и рукой другой не успевая отмахиваться, упал, за собой увлекая того...

Она вскочила наконец, закричать хотела... кому? И кинулась, толкнула уже поднимавшегося с карачек худого, и тот, руками нелепо, по-бабьи всплеснув, свалился через Алексея головою вперед, в ноги старшему...

– Ну, с-сука!..

Она не знает, кто просвистел с обещанием это – в рубашке тот, с ног чуть тоже не сбитый, или обгорелый, глазами на нее белыми глядящий с земли, перекосившись сидит, рукою за зад... Уже он, Алексей, Леша, встал и бежит, шатаясь, мимо нее и за локоть ее хочет, но промахивается, подбородок в крови – и она за ним кидается, с ним... Он хватает, чуть не падая, бутылку, а ее назад толкает, за себя, грубо; и другую нашаривает, уже глаз не спуская с тех двоих, разгибается. И друг о дружку их, бутылки, тукнуло со звоном, плеск, звяк невнятный осыпающегося стекла, – и переступает через осколки, в одной руке горлышко, в другой чуть не пол-бутылки уцелело, идет на них...

– Ладно-ладно... все! – Это старший: отступает поспешно на несколько шагов, руками примиряюще. И трогает губу, в лице у него брюзгливое уже что-то. – Все, шустряк. Почокались.

Алексей останавливается; и тот, еще раз удостоверившись глазами в глаза, что – кончено, поворачивается

к белобрысому, уже будто и не боясь, хозяином опять. Глядит, как встает, распрямляет тот, матерясь, мускулистую спину, говорит:

– Все, выпили. Вот не жалко же.

– Убью сук... найду!

– Убьешь...

Старший говорит это с непонятым выражением и идет к воде. Наклоняется там, лицо ополаскивает, примачивает и, утираясь на ходу полрой рубашки, уходит вдоль кромки галечника, и обгорелый явно за ним не поспевает, хромает...

– Алеш... Лешенька! – Она всхлипом давится, каким-то сухим, ее бьет им; пальцами дрожащими трогает его прямо на глазах запухающее слева лицо, подбородок... кровь, Господи! – Больно, да? Платочек сейчас...

– Стекло, – говорит он глухо ей вслед, когда бросается она к сумке, – и вовремя, чуть не напарывается, стекла удивительно много, везде. – Не надо... умоюсь. Соберай.

Она спохватывается, на уходящих оглядывается, на него, бредущего к воде, и лихорадочно заталкивает все в сумку, хорошо – большая. И руки ее опускаются вдруг, сами, и нету сил их поднять. Это страх возвращается к ней, одуряющий, и на мгновение мутит, затемняет все: что бы могло быть... Все могло, да нет – было б, за тем и пришли. И уж не жизнь была б... повесилась бы, утопилась. Она не знает, как смогла бы жить тогда. Не встань Леша...

Боже мой, быстрее надо – и не наверх тропкой, какой пришли сюда, а к набережной, на пляж, где люди. Вернуться могут – с ножами, с чем угодно... Смотрит опять, с содроганьем теперь: на подходе к лозняку уже, нелюди,

баба торчит опять... как, как можно – с такими?! И сры-
вается, бежит с сумкой к нему.

Он оборачивается к ней, хочет, наверное, улыбнуть-
ся, но получается криво: разбита губа, это теперь видно,
и кровь еще не везде смылась, успела свернуться, пятна-
ми на светлой щетинке подбородка, на щеке...

– Хорош? Окунись сейчас...

– Лешенька – нет! Нельзя!.. – Она тычется ему в пле-
чо и тут же вскидывает голову, глазами ищет глаза его,
умоляет: – Мы там, у пляжа... Вернутся же – с ножами,
не знаю с чем! Быстрей пойдём... уйдём!

– Не вернутся, – говорит он, глядит туда, его лицо на
миг совсем чужим становится и не то что злым... Но не дай
Бог, чтоб на нее когда-нибудь так посмотрел. Она впервые
видит такое у него лицо, она уже боится и его, всего боит-
ся в жизни этой проклятой, страшной, готовой сломаться
и все сломать, в любую свою минуту... Увидят, что купает-
ся, вздумают – и мигом же добегут, будут здесь...

– Не они, не ты... – говорит ли, кричит она бессвяз-
ное. – Я не могу, понимаешь, – я! Уйдём скорей! Я не
знаю, что... я заплачу сейчас. Ударь меня, раз так!..

– Ну, ну... – Он обнимает ее, сумку перехватывает –
согласился? Да; и оттого, может, что тяжесть эта снята,
что уговорила – вдруг обмякает она вся, ноги не держат,
и слезы прорывают что-то в ней наконец, горячие, тря-
сут ее, и щекой в грудь ему опять, трется, размазывает
их... девочка, что ль? Девочка. Руку его находит, надо бы-
стрей; отрывается, лицо отворачивая, и чуть не тащит
его – подальше отсюда, рада и бегом бы...

Уже на полдороге, чуть уняв сердце, она замечает на-
конец-то, что он, усмехаясь ее оглядкам туда, к лозняку,
теперь пустынному, далекому, слившемуся с зеленой

каймай всего подбережья, – что поморщивается он,
пальцами шевелит в ее руке, высвободить словно хо-
чет... Она опускает глаза – и ахает: суставы на правой
у него сбиты в кровь, распухли тоже...

– Миленький, прости!.. Да что ж такое это, мамочки?!

– Да ничего... достал пару-тройку раз. Эх, коньячку бы...

– Ага! Я прямо напьюсь!..

Он хохочет тихо, остановясь, головой поматывая
и морщась; а она смотрит почти обиженно, недоуменно –
и тоже улыбаться неуверенно начинает, и слезы опять
близки к глазам...

Они останавливаются на подходе к городскому пля-
жу, на мыску у лодочной пристани; наспех расстилает
она отсыревшее, что ли, с большим коньячным, резко
пахнувшим пятном одеяльце – и пока смывает он с себя
все, фыркает в воде, вдруг решительно натягивает пла-
тье, уже даже мысль сама забраться в воду противна
ей... Опять оглядывается в обе стороны: там – никого
не видно, а над пестрым, неестественно ярким лежби-
щем пляжа гам бессмысленный и крики, магнитофон-
ные завыванья, грязная вода сносится оттуда, и все
подваливают сверху, из города, спускаются... нет, домой
сейчас, только домой.

Он не удивляется, одетой увидев ее, садится как-то
устало, закуривает, и она подступает наконец с платоч-
ком и флакончиком духов из косметички.

– Э-э, без них, – твердо говорит он. – Не хватало бла-
гоухать... Ты этой лучше... слюной. Не ядовитая же.

– Нет, Лешенька, нет... – шепчет, дышит над ним она,
и чайка, тоскливая чайка опять откликается ей.

8.

Они шли к остановке тихими, сейчас и вовсе малоллюдными переулками. Возле винного магазина на углу отиралось несколько фигур; и она подумала, что впервые, может, смотрит на них без опаски – но только рядом с ним, конечно. Нарочно их разводят, что ли, – готовых на все?.. Теперь она не сомневается в этом...

«Подыши тут, я сейчас...» – «Нет, я с тобой». Зашли. Продавщица, под мумию заштукатуренная и выдавшая тут, конечно, всякое, подавая коньяк и вино, глядела не столько на Лешу, сколько на нее; и она подшагнула к нему, он расплачивался, под руку взяла и посмотрела ей прямо в щели покрашенные, равнодушные – и та отвела глаза.

Ехали в углу на задней площадке, он спиной к салону, говорили мало и не о том, что было и будет что. Не скажешь еще, что завечерело и жара спадать начала, неуловимо еще все это, но людей на улицах прибавилось – порожнего люду, гуляющего. Вот они едут домой; примочки обязательно надо, минералкой из холодильника, чтоб спало, и рубашку не забыть постирать – кажется, наступил на нее там... наступишь. Они едут домой, она мясо поставит тушить, еще утром вынула из морозилки, банку помидоров откроет, домашних; может, он поспит, он же ночь с этим Иваном не спал, а тут такое... он поспит, а она пока все приготовит. И они будут одни. И ни с каким вечерним он не поедет. Она подумала об этом просто, без какого-то уже теперь сомнения, потому что для себя все уже решила... когда? Не знает; где-то там, на берегу. И куда ему таким, на глаза людям сразу. Он переночует, а завтра хоть с утренним, хоть с вечерним, когда ему понадобится. И что будет,

то и будет. И не потому, что эти... Она белые те глаза не забыла и только не позволяла себе представить, что и как могло бы быть... нельзя, не надо. И решила не потому, что каждый зверь, нелюдь отнять может и оскорбить в ней все навек, до невозможного, до невозможности жить... да в возвращенье любое позднее, Господи, везде эти скоты сейчас. Но не потому. Просто она ждала, его ждала, и он пришел.

Держась за него и приподнявшись на цыпочки, она поцеловала его в уголок губ, в правый, куда давно хотела, и сама почувствовала эту какую-то не то что холодность, но прохладу своих губ, спокойное это свое, решенное. Он не понял, глянул, улыбнувшись чуть, и сказал:

– За что? За что так?..

Она не ответила, просто смотрела в глаза, просто руку ему положила на грудь. Не объяснишь; да и что они могут понять? Что мы понимаем во всем, что можем? Ничего.

Только дома уже спохватилась, ругала себя: как она забыть могла?! Чего-чего, а уж подорожник она бы нашла там, на берегу... И осчастливило: а во дворах, в частном секторе! Не объясняя ничего – «я сейчас!..» – сбежала вниз. И от подъезда увидела в тени на скамейке, где еще утром сидела и совсем-совсем другим была занята, двух бабушек, после похода в магазин отдохавших, наверное. Ходила с ними, стучалась в калитки и окна – пока наконец у одной совсем уж глухой старушки не отыскали его, подорожник, под заборчиком, среди подвяленной зноем муравы.

Прибежала, открыла ключом дверь – тишина. И что-

то захолонуло в груди на миг, не сразу на вешалку оглянулась: ветровка, сумка... ага, туфли – все здесь. И дыханье перевела, заглянула в комнату. Он спал в кресле, отвернув голову к плечу, лишь затылок был виден его с мягко завивающейся темно-русой вороночкой; а рядом, на столике, пионы тяжелым пунцовым цветом клонились, истомленные тоже... И шевельнулся запоздало на дверной стук, вздохнул и поднял голову:

– А-га... а кто-то, помню, напиться хотел!

– И напьюсь, – пообещала она, будто в самом деле верила в это; и присела около кресла, к плечу его. – Вот, смотри...

– Ну-у!.. Это где ж ты раздобыла?

– Там... во дворах, – махнула она рукой на окно. – Все облазила, нет бы на берегу сразу глянуть. Мы вот что: я приверну сейчас тебе, и ты ляжешь, поспишь... ага? А то сколько уж на ногах, с ночи той... часок-другой хоть сосни. А я готовить тут пока буду, пятое-десятое.

Он смотрел на нее и, ей казалось, не мог скрыть вопроса этого во взгляде... ох уж, мужики эти. Растолковать? Ну да, часа два с небольшим до автобуса – не успеть, конечно. Неуспевающими будем. Двоечниками. Но разве это скажешь?

– И рубашку, – сказала она, выдерживая взгляд. – Снимай рубашку, постираю. Наступили, что ли, на нее...

Он по щеке ее ладонью провел, погладил:

– Слушай... этого, третьего там – ты свалила? Что-то не понял я там...

– Не знаю... толкнула, что ли, – она не то что смутилась, а как-то неловко стало; и передернуло ее, прижалась лицом к его плечу. – Со страху. Ох, как страшно было...

– Храбрушка!.. – И опять погладил, пальцы в волосах

ее задержал. – А в следующий раз, – он сказал это и этому же усмехнулся, мельком, – в следующий раз не жди, беги – и чем дальше, тем лучше. Это просьба. Одна беги! Со всех ног, поняла? Нет, ты поняла?

– Поняла, – сказала она, закрыв глаза и подставляя губы.

Он спал, а она, стараясь посудой не греметь, поставила и суп варить тоже – мужику, как мать говаривает, без хлеба нельзя. Пыталась думать – но как-то, получалось, обо всем сразу и ни о чем толком... Нет, она почти не боялась. На кухне все в дело наладив, в ванную зашла, в совмещенный свой санузел... свой? Лучше не думать об этом пока. И прежде чем в пену затолкать, спряталась опять лицом в его рубашку, горчинку эту улавливая и еще что-то, она не поняла сначала... желание свое? И откинувшись к косяку, постояла так, чувствуя, как редко, но сильно начинает биться ее сердце.

Нет, она и уедет отсюда, только скажи он. Как ни привыкла, а все равно чужое все, холодное... да они все тут чужие друг другу, люди, – до тоски. Как он был, город, так и остался одной огромной для нее грязной общагой, и тут не в квартирном только вопросе дело. Привыкла, деревни вроде уж и побаиваться стала – но это одна боится, без интереса и поневоле если. Без него, устало спящего сейчас на твоей постели – и знающего что-то о тебе, о вас двоих, чего не знаешь ты. Чего ни Славику не понять, ни даже матери твоей с отцом, никому – как тебе жить.

Она и сама какие-то представления имеет о том, желания смутные, но знание – как жить в невразумительной этой жестокой жизни – только у него. В это она сразу поверила почему-то, почувствовала это знание

в нем, еще узнать-то его не успев, то радует он ее, то пугает собою, как девочку... Желания, да, девичьи всякие мечтанья банальные; но одной – то есть если хоть со Славой, допустим, - тянуть это, выправлять все до человеческого, до должного ей не то что не под силу, нет, но не хочет она. А в том, что одной тогда придется тянуть, она не сомневается, считай, она этих уклончивых знает.

Небо за окном в легком облачном оперении, вечернее уже, отмягчевшее; и она заходит в комнату – платье взять другое, переодеться. Он спит, на живот перевернувшись уже, приобняв подушку и лицо отвернув к настенному коврику, диван разложила она; и его спина голая, майки не носит, и плечи с суховатыми, даже на вид твердыми мускулами едва заметно поднимаются и опускаются, и посапыванье слышно иногда... неизвестный ей почти, Господи, незнаемый, что делает с нами жизнь. Но тихо как в комнате, сон стоит во всех ее углах, и это твой, почти твой мужчина спит на твоей постели, и ты уже не одна.

Не одна... Она сознает вдруг это, для нее совершенно непривычное, оказывается, с кем бы ни приходилось быть, необыкновенное... разве что дома, но там-то другое совсем, не то. Наконец-то не одна теперь. Даже и эта квартирешка могла бы, наверное, стать ей домом – с ним. Дом ее там, где она не одна, с ним. Вот ему, почему-то знает, уверена она, ее терпенье, ее покорность нужны, он их оценит, хоть не очень-то и обходительный с виду, много не говорит... А Славик – он и неплохой, и мягкий, и даже настоять может, когда очень захочет; но, похоже, и близко не знает, что это такое, терпение, и почему оно здесь. Ему и не надо было его, на всем-то готовом, и не понять, что оно значит в жизни этой, где

все надо терпеть... где даже и счастье надо уметь перетерпеть, мимолетное свое. И она даже представить себе не хочет, не может весь ужас того, что произошло бы, окажись не Алексей с нею, а он – там, на берегу...

И видит ссадину на его лопатке, как-то ею не замеченную, в подсохшей сукровице и припухшую тоже, досталось ему... Надо бы пластырь на ночь, хоть с вазелином... и на раскладушку, да? Не думай, почти приказывает она себе. Наклоняется, дыханье задерживая, смотрит в непроницаемое, чуть будто нахмуренное лицо сна его – нет, лики у сна, не лица. Он близко весь, вот он, поцеловать можно; но еще какого-то права на него не имеет она пока, на всего. Даже вот разбудить его сейчас, как это ни хочется ей, не чувствует она за собою права – и она знает, какого.

Горячая вода, слава Богу, всю эту неделю есть; она прибирает все на кухне, в окно поглядывая, и ей и досадно, и немного смешно: тоже соскучилась... Успела соскучиться по нему по всему и ничего с собою поделать не может. Устал же, говорит она себе, ты не пожалеешь если – никто не пожалеет... ну, на него-то найдутся, только и глядят, небось, пожалеть – такие ж, наверное, как и ты. Глянуть бы, как он управляет там один, у себя дома. И кастрюльную крышку роняет, дребезжалку чертову, не успевает подхватить, а дверь в комнату неплотно приотворяется.

Теперь следующих выходных ждать – как долго. Она, может, и на пятницу отпросится, чтобы в четверг вечером с автобусом уже дома быть – и у него... Если завоза вагонов неплановых не будет, а то все грозитсЯ Кваснев большой заказ раздобыть. И не пугается, когда из-за шума воды в раковине совсем неслышно подходит

он сзади и за плечи ее берет – потому, быть может, что как раз думала о нем... да и все время о нем, о ком еще. Поворачивается в его руках и жадно смотрит в лицо ему, со сна и отмягчвшее, и припухшее малость, в наклеях пластырных ее – опало, нет?

– Поспал?

– Ага... как провалился. – Он говорит это краем рта, губа разбитая с пластырем мешает; а глаза совсем добрые, непривычно даже, и руки тоже. – Как черти за ноги утянули. Сними, умоюсь.

– А может...

– Нет, сними.

– А смотри, вроде опало, – радуется она, пальцами осторожно оттирает следы пластыря на скуле, на щеке его, ласкает почти, он даже глаза закрывает. Губами ловит ладонь ее, и она, замирая, отдает ее и себя всю рукам, таким неловким теперь губам его... и вот задел больное, поморщился и усмехнулся вместе, отстранился чуть лицом:

– Ин-ва-лид...

– Мы на ночь еще привернем, ладно? А то как таким являться?

– Надо, – соглашается он. – Чтоб хоть лошади не шарахались...

Но плечи какие у него – теплые, плотные, не чужие уже, но словно в первый раз гладит она и тискает их будто понарошку, а у самой плыть начинает все, ненужным все становится и неважным – кроме этого, плеч этих и чего-то еще повыше ключицы, мягкого такого же, как в ней, едва ль не истомного...

Нет, Бог есть... И сама замечает, что думает об этом с неуверенностью и как-то между делом, не так, как

надо бы, как должно. Он дал ей это, услышал. И дал, и спас это сегодня, несмотря на неразумность ее – ведь не хотела же идти на реку эту, что-то же противилось в ней... не послушалась, пошла. На ниточке висело же все, Боже мой, на тоненькой какой. Но постой... Но не пошла бы если, то уж, наверное, проводила б его сейчас на автовокзале, ведь не оставила бы в девичьей глупости своей, в боязни, – надоумил, выходит? Поторопил?

Почти в растерянности суеверной от этой мысли, она включает телевизор, рука сама поддерживает што-ру на темнеющем окне, где перед открытой створкой сохнет на вешалке его рубашка. Уже в селе их автобус давно... Все на столике, под пионами, он в старой разношенной футболке ее, все равно ему тесной, наливает в рюмки; а на экране появляется и начинает с сипом бубнить по написанному осточертевшая всем, как папаши-алкаша в большой разбродной семье, запухшая физиономия...

– Дебил, – говорит он, Алексей, отставляя бутылку, глаза его сразу меркнут. – Не голова, а... Как в селе у вас яйца тухлые называют?

– Болтышами...

– Вот, болтыш. На кол посадить бы, по закону. Переключи.

Неожиданного в этом нет для нее, но вот нового... Много чего еще будет нового, как и в ней для него, конечно же; так и сводит жизнь, и если бояться всего, то хоть не живи. Но вот в нем она не видит этой боязни перед жизнью, и это ее не то что радует, нет, опасаться бы надо, – но и успокаивает как-то, и за спокойствие это, за покой многое можно отдать...

Поторопил, значит? Предупредил? Это как посчитать...

Да что ты считать можешь, девчонка, кроме регул своих с пятого на десятое, ждешь на завтра-послезавтра, а они подкатят... Сосчитаны твои двадцать четыре, и не здесь, в низменном, а где-то там, где всему ведется, должно быть, соизмеряется счет и сводятся судьбы. И теперь уж всегда ты будешь помнить, наверное, и не захочешь забыть те гулкие два ли, три удара, когда автобус тронулся уже и ты увидела в проходе между рядами его, спиной почти к тебе стоявшего... не увидела, нет, – узнала. Найди теперь, спроси того мужика, почему, по чьему велению опоздал он и бежал с автобусом рядом, кулаком в обшивку грохал, – нет, не опоздал вовсе и раньше нужного тоже не пришел, а точно в срок, вовремя, чтоб ты услышала в свою дверь... Судьба, она. И никакого у тебя оружия, никакой защиты, кроме послушанья ей, нету и не будет.

Пересев на диван, он покуривал, бесстрастными какими-то глазами глядя на мелькающие экранные картинки американского, что ли, боевика, рекламными кретинами и проститутками перемежаемого; а она лишние тарелки на кухню унесла, прибрала немного и наконец-то под села к нему, под его руку:

– Что там?

– Да вон, не наигрались еще в войну америкашки... не схлопотали еще ни разу по-настоящему. Ну, достучаются. – Улыбнулся, вспомнив, разговор их продолжая, заглянул ей в лицо: – Да, не сказал тебе... мать же видел, твою.

– Правда?

– Истинная, дальше некуда. У конторы, мимо шла. Мать Федотовна, говорю, я в город завтра еду, дочку увижу вашу – что передать, может, подкинуть?

– Так и сказал?! – почти испугалась она, голову вскинула.

– Ну да, – он весело, малость легкомысленно подморгал ей. – Так прямо и сказал. Испугалась... как вот ты сейчас. Нет-нет, говорит, Бог с тобой, ничего не надо... А что, нам чего-то бояться надо?

– Нет, что ты! Просто неожиданно как-то...

– Главное, что просто. – И поерошил волосы ее, какое-то к ним он равнодушие имел, это она заметила – хотя что в них особенного, шатенка, разве что чуть, может, потемнее его; но пусть любит. – Сложностей и без того хватает.

– Каких-то, – она помедлила, – твоих?..

– Нет. Вообще. Мне теперь задачка: твоим на глаза не попадаться. Пока не сойдет. А то подумают невесть что...

– Не поторопился? – Она сказала это губами в его плечо, и получилось глухо, не совсем внятно. И взглянула.

– Не опоздал, – опять усмехнулся он. Опухоль слева заметно спала и почти не безобразила его лица. Нет, ему бы не мешало чуть поправиться им, лицом. – Вот чего не люблю – опаздывать. К шапочному-то... Они у тебя такие, знаешь, степенные. – Она кивнула. – Не могу не оценить.

– И я такой буду!

Это получилось у нее, вырвалось как-то внезапно, она и сама не поняла, с чего и как решила на такие слова, – и, деваться некуда, храбро глянула в его сощуренные смехом ли, испытующим ли чем глаза.

– Ой ли?!

Нет, они смеялись, и как-то хорошо, почти любовно смеялись, нельзя было не поверить; но она потянулась вся к ним и губами закрыла все-таки их, по очереди:

– Не смотри так...

9.

Он хотел ответить; и, видно, передумал, стал осторожно целовать ее в шею, в узкий, застежкой перетянутый вырез платья сухими и теплыми губами – осторожно, да, но ему и так, наверное, больно, а потому должна она... Она должна, да; и до виска его дотягивается, до уха, а руки его все требовательней, сильнее и уж не гладят – мнут истомно плечи ее, бедра, все в ней смещая к желанью, уж близкому очень, опасному, из которого возврата нет, не будет... И как будто ее не хватает им, рукам, и везде они, сторукие, всю ее забирают без остатка, клонят. Клонят, и она, голову его держа в ладонях и в волосы, чем-то еще речным пахнувшие, целуя, подчиняется им, согласна с ними – так надо... и вдруг извертывается вся, вырывается, садится резко, с колотящимся где-то высоко в груди сердцем, невидящими глазами оглядывается в полутемной комнате, ища и не находя...

– Мне надо...

Но сама не знает, что надо, и он не помощник ей тут, это она еще понимает, растерянная совсем, вострапанная вся, наверное... Он на коленях у дивана, рядом, и по рукам, ее обнимающим снова, она чувствует, что нет, он не обижен, но что-то ждет от нее, в лицо ей заглянуть пытаюсь... и что ему сказать, как?

И отвернувшись совсем, лицо скрывая, она чужим, подрагивающим и, вышло, строгим почти голосом говорит, что она не знает – чего она не знает?... и что никогда... Еще ни с кем. Больше ей сказать нечего; и Боже, сколько же пустоты за словами этими, стыда жизни, если даже и он, ощущает всею собою она, вдруг замирает на какой-то миг... замирает – верить или не верить ей, поднятым плечам ее, спине деревянной и этой, она

не сразу сознает, все одергивающей платье измятое руке ее, перебирающей и одергивающей...

И верит, Господи, с такою нежностью он проводит по щеке ее ладонью, отводит волосы ей за ухо, так мягко лицо ее поворачивает к себе, ей веря, а не жизни, по задворкам наших снов шастающей, подстерегающей... Поворачивает, глядит снизу в лицо ей, и под глазами этими, добрыми, но и серьезными, она нерешительно еще съерзывает с дивана, на корточки тоже, к нему... Нет, на диван опять; она прячет лицо на груди у него, потирается, поводит им и слышит:

– Не бойся меня, - говорит он, - ладно? Верь.

Он говорит тихо это, одними почти губами, но она слышит и, прижавшись лицом, кивает ему в плечо куда-то, а непрошенные, ей самой непонятные слезы подступают, проступают из закрытых век, и она поспешно отворачивается, одной только щекой прижимаясь, чтоб, не дай Бог, не заметил... плакса какая-то сегодня, весь-то день, что за день такой. Но что-то он все-таки почувствовал – может, резко слишком отвернулась, – губами нашел глаза ее, и слезы еще горше покатались, не удержать, но и освобожденно как-то, освобождаяще, и как разрешение, может, принял он это и расстегивать стал ее платье. Уже рука его, вздрагивать заставляя, на груди у нее, под лифчиком, шершавая и бережная, – сдвигает его, и под губами его жадными и боли уж, наверное, не чувствующими выгибается она к нему, обхватывает и прижимает к себе, и мучительное в ней и что-то сладостное стоном готово прорваться, еле сдерживает себя... Со вздохом огорчения, вот его-то не в силах она скрыть, опускается в его руках, откидывается; само будто собой гаснет

бра в изголовье, а он над ней, губы в губы, дыхание ей перехватывая, и опять вздрагивает она, ежится под его рукою, ноги поджимает, коленки – и, опомнившись, вытянуться заставляет себя, всю себя отдавая, все. Верить, другого ей нет – ему, никому больше, его рукам бережным, знающим и для нее одной созданным словно, родным уже... Раздевающим, и она покорна им и только ловит губами, приподнявшись, лицо его, плечи, шею, тычется – лихорадочно как-то, не успевая за ним и в рукавчике путаясь, это от дрожи, не унять которой, вся ею дрожит она до кончиков пальцев, до отрешенности какой-то, будто не с нею это происходит... Не с ней – с ними, не разделить, ее ли губы солоноваты, липки чуть отчего-то или его, и где чьи руки, чья отрада подчиненья этого, согласия во всем и последней, ей кажется, свободы обнять и отдать.

И последним же – «Лешенька!.. Леша...» – усилием, инстинктом почти, трусики успевает нашарить в ногах, подсунуть – и все, и только руки его, губы, тяжесть его, покрывшая ее всю, с головой накрывшая, облегающая и родная, а то мускулисто-резкая... и руки, Господи, что они делают с нею, Лешенька, зачем?! Неутоленность свою, любовь свою к этим рукам куда деть, к родной тяжести благой и силе – обнять все, не отпускать, навек оставить с собою, себе... И боль – нежданная почти, стыдная, этой тяжести боль и любовь, это он, милый, и она не успевает губами, зубами схватить его гладкое плечо ускользающее, чтоб стыдное свое, стон свой удержать – врасплох боль...

М-мамочки!..

Боль-любовь распластывает ее, Боже, нескончаемая, как жизнь сама, и нет укрыться от нее, уголка даже под родимой этой тяжестью, под ним, собой укрывающим

от всего, кроме боли, – и стон, чей стон этот глухой, его ли, ее? – и боль толчками, песок словно втирают, вталкивают в нее... кто б помог, мамочки!

Время будто проваливается, а с ним и другое все; не сразу, не вот она спохватывается в нем, неуследимом, и паническое в ней... губы, где губы его, он сам?! Вот он, и то ль дыхание его, то ли стон хватается она, перехватывает ртом; и сознание теряет почти от рывка его к ней, в нее – последнего...

Первое, что слышит она, начинает слышать – ребенка где-то на улице плач, достигающий через открытое окно; но, странное дело, равнодушной остается к нему сейчас – жалобному, с кряхтеньем каким-то беспомощным, – хотя всегда, с девчонок еще, дергал он ее, где б ни услышала, впору бежать на него, к смеху нынешних подруг ее, дев-растопырок: «Твой плачет, беги!..» – не рада, что и сказала им об этом как-то. Они лежат, тесно – тесней некуда – прижавшись, лицом друг к другу. Он тихо, он просительно как-то целует в уголки губ, в подглазья и глаза ее закрытые, он прощенья словно просит, глупенький, – за себя, что ли, за родного такого? – но и боль не прошла, нет, а даже как будто, кажется, угнездилась надолго в ней, тупым чем-то... а может, мнительность это все, бабья. Господи, бабья... Все в ней от этого слова, перед словом этим немеет на мгновение какое-то долгое – радостное, нет? Женщина она, его женщина, насмерть все теперь, и не дай Бог ей другого, не его – не дай и не приведи!..

А рука его по плечам, по бедру скользит ее, едва касаясь порой, гладит всю, везде, и уж ни дрожи в ней этой нету, куда-то ушла, отошла неизвестно когда, ни зажатости той, лишь желанье руки его и чтоб не болело, перестало.

– Какая ты...

– Хорошая? – говорит она шепотом тоже и удивляется слабости голоса, шепота даже своего.

Вместо ответа он не обнимает – обхватывает ее, и нет, ей кажется, частички в ней, клеточки, которая не защищена была бы его руками. Ей так тесно и хорошо с ним; но все равно хочется уже, чтобы опять он лег на нее – просто лег, прикрыл бы собой от всего, но еще стесняется сказать о том ему... не стесняется, нет, боль эта еще мешает. А он уже готов снова, ей и боязно, и почему-то смешно это, и радостно, он любит и хочет – хочет, вспоминает она слышанное где-то, читанное ли. И гладит тоже по лицу, целует и шепчет, не дождавшись ответа, – зная где-то про себя, что мужчине, может, и не надо этого бы говорить:

– Я тебя ждала, только тебя... всегда. Я как тебя увидела... Ты веришь?

Ей хочется это сказать, наперекор женским всяким хитростям и всему такому, а он поймет все как надо, она в это верит. И говорит, и в сумерках сгустившихся, уже ночных, скорее чувствует, чем видит что-то на лице его, на пальцах своих, что-то липнущее...

– Господи, кровь?!

Чуть не ужасается, чуть не клянет себя – как же забылось, что губы у него...

– Болит, миленький? А я-то дура... Глянуть надо!

– Наплевать, – говорит он блаженным голосом; а она, приподнявшись на локте было, вспоминает о своем, сама боль напоминает... подплыла неужто?

– Нет-нет, Лешенька... надо нам.

И в кухоньке темной своей нагая стоя, обессиленно привалившись к холодильнику и к грудям прижимая

сдернутое с дивана покрывало, слушая, как он плещется там под душем, – она уж, кажется, ни о чем не может думать, не в состоянии охватить всего, что произошло сегодня... какой длинный, странный, к развязке всего забредший день – или к завязке? К ней, все только-только завязывается еще по-настоящему и все главное впереди, твои двадцать четыре тут лишь приуготовленьем были малым, посильным, ты так старалась вроде...

Нет сил уже, чтобы радоваться, исчерпаны они страхом, болью, радостью самой. Она думает, какой глупой была еще утром сегодняшним – давним, как, скажи, неделю назад. Каким все далеким стало: мальчик квартирный, мамыши-папаши, ордера. А важно лишь одно: любит ли? Ее не разуверить уже, как девочку, что этого нет ничего, мол, сексуха одна, увлечения, которых чем больше, тем лучше; ладно, жены и мужья, любовники там, – а мать-отец, а дети, это не любовь разве? И у нее сейчас – что, увлечение? Наверное; но не одно ж оно, и если она не знает еще доподлинно, то потому лишь, что и вопрос-то этот к себе и к нему преждевременный, может, не прояснено еще все это в том чуть не насильном, волокущем, как речное течение, влекущем потоке пяти-шести дней, встреч этих – всего-то!.. Сказали б ей, предсказали это недели две назад – не поверила, опечалилась бы даже, пожалуй, что такое невозможно... Нет, все возможно здесь, в этом спятившем взрослом, то и дело смысл теряющем мире, даже Бог сам возможен с чудесами, по морю яко посуху ходящий – с чудом какого-то смысла, который мы все никак не поймем. Он говорит: «любовь» – а мы?.. Ведь невозможно, тошно же, не любя, ведь сами знаем это – а делаем что?

Риторические фигуры, вспоминает она Славино, ироничное, каким осаживал иногда начинающую рас-

пространяться о нравственности мамашу. Фигуры – для прикрытия самооправдания нашего, лишь бы совесть заговорить, заморочить, стыд свой. И – вспоминать не надо – как заталкивал грубо Леша ее за себя там, на берегу, как глянул яростно, когда со страху не сразу, не вмиг она поняла, что за него надо... Но обрадоваться тому не успела, как полоса света с шумом водяным легла из двери; и она, какую-то еще минуту назад думавшая из кухни проскользнуть незаметно после него и запереться в ванной со своим, – она поспешила сама, встретила. Слишком поспешила, качнуло мгновенной слабостью, схватилась за плечи его, и он поддержал, нагнулся к лицу ее:

– Что, плохо?

– Хорошо...

Вся их она, эта ночь, ничья больше. Вместо ночника телевизор бормочет в углу, как колдун бессильный, в суму переметную витязем засунутый, пусть. Провыл за окном троллейбус – мимо, не наш, мимо. Закашлялась от коньяка и рада сунуться ему в грудь, а он пошлепал ее по спине, халатик после душа так и не дал надеть, и непривычно это так и не то что стыдно совсем уж, но... Пошлепал и, не выдержав больше, потянул на себя, и нетерпенье его передалось, хоть боязливое, ей тоже.

Но теперь он сдерживает себя, сколько можно, не торопит ее; и она смелеет, появляется свобода в руках, благодарная, и все внове еще, весь он сейчас новый в доступности своей для нее, как, верно, и она для него, и только желание в ней темней и осознанней, нетерпеливей, и он осторожней. Она б не поверила, не подумала никогда, что он может быть так нежен и уступчив на любое движение ее; хозяйка она – покорная, но хозяйка наконец любить и миловать всего, везде... но руку взял

ее, положил тихонько – и страх, счастливый, сжал ей живот, дрогнула вся: мамочки, я ж не выдержу, умру!.. И спохватывается, что сжимает судорожно как-то, немело, и что больно, может, ему – спохватывается в желанье, которому он дал время пересилить боязнь и уже истомить...

И тяжесть опять его, желанная, совсем-то не тяжкая, сладостно груди размявшая и всю ее; просительно-требующее это, с жестокой нежностью разнимающее на части какие-то несвязные, бредовые тело ее, душу, руки-ноги разъявшее, все-все; а следом страх и – опять – боль, перехватывающая все внутри, стыдно-сладкая, до сих пор чего-то всем нам не простившая, не оставляющая до конца... Жаркая, бесстыжая – животная ли, человеческая – истовость, вот-вот сорваться готовая в неистовство в нем, в ней самой тоже, когда б не боль... Но не от боли заповеданной, а от чего-то другого, от нехватки этого другого метаться начинает вся она, то прижимая что есть силы, обморочно тиская шею, плечи его, то откидываясь изнеможенно вся... что ж это такое, Господи, что за мука бездонная, безвыходная! И срывается в них наконец что-то, крушит все – и словно ввысь, стена, взвивается, в черное, распахнутое для страсти и боли небо, и огненным в нем осыпается, рушится сором, не долетев, не дострадав...

Они сцеловывают пот друг с друга, даже тюлем не шевельнет на подсвеченном снизу фонарем, шторами полузадернутом окне – и не надо, потому что бережность какая-то в них и во тьме над ними, тонкая, оберег из молчания и слов, на человеческом языке непроизносимых, невозможных, и любой, кажется, шепот спугнуть его может, любой сквознячок вытянет, вынесет в ту беззвездно

мутную над городом, страждущую в бессмысленности высь, и не сыскать тогда... Всё, вся жизнь ее сейчас в нем и имеет смысл только с ним... какой? Знать бы, ведать. Ведуней быть при нем, чтоб мужское в нем, мужественное зря не тратилось, на пустяки не исходило, не уходило бы в песок, во зло иль равнодушие, каким позахвачены все сейчас... мужинчики эти, суетливые, как собаки на помойке, женщины с холодными глазами, сколько их тут... С ледяными, все замечающими, но не внимающими ничему, для которых что ты, что столб фонарный – все едино, и лишь иногда завистью обожгут, тяжелой, сумрачной, как подземный огонь, передернуться заставят, все на бабьей зависти здесь замешено, на прокисшей, тошной. А она завидовать не хочет, нечему завидовать в человеке. Ей свое бы найти и прожить – добром прожить, как на селе говорят, пережить, перетерпеть все свое, человеческое, справить перед людьми и Богом, дает который и спасает... у Леши спросить, он так ли думает, не зря же крест носит, не напоказ же. А можно и не спрашивать, она и без того почему-то знает, что – так.

10.

Она провожала его с вечерним. Они вышли к посадочным площадкам, в бензиновую гарь, где бродили и перетаптывались сомлевшие от жары и ожидания, немногие по воскресному дню люди. Автобуса еще не было; работал, как ни странно, газетный киоск, и он пошел глянуть толстые – так и назвал их – журналы, давно уж нигде их не видно. Она в сумочке копалась, в сторонке став, чтоб своим, сельским, лишний раз на глаза не попадаться; легкий, в зеркальце, марафет навела, глянула – он, к окошку нагнувшись, расплачивался,

потом выпрямился, в нагрудный карман отстиранной и выглаженной ею рубашки бумажник засовывая, оглядывая с прищуром небогатую, из ближних сел, копошившуюся на скамьях под навесами публику пригородного вокзала, – и жаром охватило, радостью ее: мой!..

Шел к ней, свернутыми в трубку газетами похлопывал по ноге, прямой и в то же время в движениях свободный какой-то, до пренебреженья ко всему, и ей верилось и не верилось еще в это... И на подходе вывернулась откуда-то, чуть не под ноги сама подвернулась цыганка, невнятное что-то спросила. «Бог подаст... цыганский ваш, – ответил он, не останавливаясь. – Пошла вон». Глянул – и та будто наткнулась на взгляд его, отпрянула, молоденькая, отвилась к навесам.

У дальней площадки заканчивалась посадка в «пазик», скамейки освободились, и она показала туда глазами: сядем? Он вопросительно посмотрел на нее.

– Болит, – сказала она, улыбаясь ему и чувствуя улыбку свою беспомощной. Он, спиной загородив от всех, взял ее руку, не очень умело поцеловал, потом с внутренней стороны запястья тоже, подольше, и она задержала ладонь на щеке, на скуле его, твердой опять, опухоль совсем сошла. Повел туда, к скамьям, но из-за угла вокзала уже вывернул к площадке непалимовский автобус.

– Поселянин?!

Алексей недовольно обернулся. К ним поспешал, почему-то похотывая и протягивая заранее руку, невысокий плотный мужчина в рубашке навыпуск, где-то ей уже встречавшийся... не в том же автобусе? В Лоховке, кажется, ходит всегда, где и студент.

– Едем? – Он кивнул и ей, как знакомой. – Е-едем!.. О, где это тебя?!

– У гдеалки, где еще... адрес дать? Ты что ж, друг ситный: ел, пил – говорил, а ушел – забыл... Комбикорм наш схарчили уже небось, а где пило, эти самые, материалы? Обещанные? В колхозе у нас ни щепки, в зубах ковырнуть нечем... где?

– Да понимаешь, ревизия тут, начальство... я уж вашему Вековищеву звонил. Будет! – Лоховский и не думал смущаться, все похохатывал, чуть не пропел: – Все-е будет!..

– Не завтра, нет – послезавтра посылаю «КамАЗ», с ним ребят пару. Покрепче каких. Скажу, чтобы на постой лично к тебе стали... они встанут, не сомневайся. У двора, в воротах, чтоб ни въехать, ни войти. И будут стоять, пока не загрузишь!

– Кхе-хе... Ты это, Алексей Петрович...

– Что, не веришь?!

– Ну уж нет... верю. Загружу. Готового немножко есть.

– И два рейса, как договорились, пилорама у вас новая. Одно дело – колхозное... но мне к зиме ремонт закончить надо, дома, кровь из носу. Мне.

– Понял, Алексей Петрович. Х-хе...

– Ладно, по дороге договорим...

Вот так, Поселянин. Какая неожиданная для нее, новая фамилия, она такой не встречала, не слышала даже никогда. Не спросила сразу, а потом уж и неудобно было, и невозможно... поселянка, вот так. Судьба.

– Кто это? – спросила, глядя вслед тому, поспешающему к автобусу теперь; всю жизнь такие поспешают, а вот успевают ли?..

– Да лесник с Лоховки... колобок. Ну, сам к нему поеду, не укатиться... Что, Любушка, идти мне надо.

– Иди, Леша.

– Нет, иди ты, не жди. Стоять тебе ни к чему. Я теперь буду ждать.

– Жди, Леш.

Он кивнул, посмотрел.

– Прическа тебе к лицу, – сказал негромко, улыбнулся. – Смотри не крась.

И повернулся, пошел, оставив ее почти счастливой.

Какие длинные шли, какие тяжелые на подъем дни давно перевалившего за свою середину лета – с серым от жары небом, с непрестанными, какими-то дурными ветрами восточными, басмачами. Рванными полотнищами полоскались над городом, над окрестной выгоревшей до полынной седины степью; на площадях хозяйничали, куражились, с угрюмым подвывом носились вдоль улиц, а то в смерчи срывались – и тогда взвихривали в воздух, вздымали тучи пыли, бумажной всякой и целлофановой рыночной дряни и мусора, сорили на головы безответных разбродных толп на базаришках и в комочных рядах, и некуда деться было ото всего этого, спрятаться.

Никогда он еще так запущен не был и замусорен, этот город, – с ветшающими, а то разваливающимися прямо на глазах постройками и хозяйством всем, с раздолбанным (и это, как Леша сказал, в нефтяной-то великой державе?!) асфальтом, свалками сплошными в каждом закоулке или даже на обочинах проспектов новых, толком так и не достроенных, не обжитых... Казалось иногда, что будто толпы эти уже решили дожить

здесь еще какой-то, им самим пока неясный, неведомый срок, изжить тут все до окончательного запустенья и гнусности, доломать и прожрать доставшееся им по недоразумению наследство и, спасаясь от самих себя, попрошайничая и грызясь, покинуть его под чью-то дудку навсегда...

Казалось, конечно; еще и потому, может, казалось, что себя и своей жизни здесь она уже не видела – с какими-то еще сомнениями пока, даже суеверьем невнятным, загад не бывает богат, но не видела. Здесь – это значило без него, единственного, а представить это было, стало уже выше ее сил, выше терпения своего, которым она так глупо похвалилась, пусть и перед собой только... не хвались – ничем, никогда. И если раньше все ей тут хоть и чужеватым было и немилым, но, как говорится, притерпелась, даже и устроившись, кто ей мешал в ту же благополучную Славину родню войти со своим правом, какое уступать она вовсе не собиралась, – то теперь, после всего, остаться одной опять, без него, стало страшновато.

Страх не только в том даже был, наверное, что – без него, а с чем-то пустым внутри остаться, вовек невосполнимым, как если б узнала она вдруг – ох, не сглазить! – что зачать, рожать не может... Что «впусте ходит», по слову баб непалимовских, впусте живет. Вот позор, хуже какого нету.

В понедельник, сразу после планерки, подала директору заявление с просьбой отпустить в счет отгулов на пятницу с субботой, благо работа лаборатории настроена, чего-чего, а дело ее девки знают, клейковину отмывать их учить не надо. Да и что там мыть, в американском фураже?

– Так-так... – выслушав, пробежал Кваснев глазами еще раз заявление. – И что за причина? Где? Не вижу.

– Как вам сказать... домашнее. Семейное. Очень мне важно.

– Ну, если для вас дела домашние важнее... – брюзгливо проговорил он, подписывая. Она не стала отвечать, только извинительно пожала плечами... и почему, собственно, мы извиняемся все время, за все? А тебе нет, не важнее? Дачу отгрохал, а теперь особняк втихомолку возводишь, у обкомовских дач где-то, говорят, – шапка валится; если больше с прорабом каким-то вертким, черножопым дело имеешь, чем с нами, кто тебе все бла-га кует, по делу не всегда зайдешь, новую секретаршу, стервозу очкастую, при дверях посадил, уж поцапалась с ней... пош-шел ты!

– Н-но! – сказал он и толстый палец указательный поднял, не отрывая кулака от полировки стола. – Но это если партия мягкой пшеницы вагонами не подойдет. Из Турции. Тогда уж никаких отгулов.

– Как, еще турецкая?! Своей, что ли, нету? Предлагают же нам...

– Бизнес!.. – бодро говорит, широко разводит он руками и внезапно раздражается: – Рынок – вы это слово слышали?! И вообще, не нашего это ума дело, не вашего... Договоренности, одно слово – дипломатия. И мы обязаны ей подчиняться, а не... Тоже мне, поперечница нашлась! Иди, иди.

Значит, опять качество никудышное скорее всего, опять мараковать, наше хорошее зерно в подмол к этой дряни добавлять, иначе не мука будет – осевки; а на что и куда подмол списывать? На все один у него ответ: ищите! И попробуй не найди. А у своих, у родненьких

хозяйств добрую пшеничку даже за бесценок не берут: нету, мол, средств... А почему на американскую, на турецкую есть, если она куда дороже обходится?

Шумен, порой сварлив старый хозяйственник Кваснев, есть в нем это по-бабы вздорное – без особой нужды или причины упрекнуть, накричать даже; ладно хоть отходчив еще оставался по-мужичьи, а в чем-то и добродушен был, не злой вроде. Куда хуже, если в начальницах женщина. И с некоторых, уже давних-таки пор, еще с института стала замечать это, женское, во многих, чересчур многих мужчинах – вздорность с неуверенностью вместе, мелочность вообще, неуменье или, может, уже нежелание великодушными быть и твердыми. Непонятным было только, когда и как успели они так обабиться, пивососы, даже и военные, зарплату потребовать не умеют, трусят же. И женщины пошли – куда деловитей и циничней, даже злее, смелей, и это тоже было не совсем понятно: неужели им лучше, легче оттого? Она не поверит, что лучше: надежней, может быть, обеспеченней, раз уж мужики такие недоделанные, но не лучше, нет. И уж тем более бесстрашию их глупому не верит, потому что никакое это не бесстрашие, а равнодушие просто, да-да, разве можно за родное не бояться, если оно есть? Нельзя, и пусть не врут они, девки-женщины эти крутые, оторвы.

Неужто в доле Кваснев? И как в доле не быть, если все концы этих поставок в его руках и риск тоже на нем, на нас? Не такой он дурак, чтоб стрелочником просто быть – без навару. Как отец говорит: на мельнице будучи, да не запылиться... Ну, Турция покажет.

А томление какое в теле – глухое, невразумительное, и хоть не болит уже, но потерянность какая-то в нем,

в душе самой, даже девы что-то учуяли, переглядываются. Нинок рассказывает о похождениях своих воскресных, пьяных, а следом о хлебушке неважнецком, вторую неделю в городе только об этом и толкуют, жалуются, и где – в житнице страны! Мало того, и цены подняли... ну, шутка ли, из Нового Орлеана везти. А свой хлеб на складах колхозных да совхозных лежит, и слышно уже, что спекулянты заезжие-залетные шастают по селам, скупают ни за что, и деваться некуда колхозникам, продают куда ниже государственных расценок, задаром отдают: новая уборка на носу, а ни солярки, ни запчастей... Все это сама она растолковывала девам; и вот слушает свое, малость Нинкой перевернутое уже, и думает опять: это ж хлеб, важное самое. И если с ним так, то что ж с остальным тогда творится сейчас?! Не жизнь – бред какой-то... чем мы провинились, перед кем?

Перед собой, мы ж и творим.

Домой разбитая вернулась, припозднились с анализами; чайник только успела на плиту поставить – звонок в дверь. Даже ругнулась: да будет ли ей покой сегодня?! Может, не Слава все-таки – соседи?.. Нет, он, не мог не прийти, она этого ждала; но о чем и как говорить с ним – не знала, так и не решила про себя.

– Позволишь?

– Д-да, конечно...

– А если мы вина, Люб... во благовремени? – Он спокоен был опять, даже весел вроде, глядел прямо – собою всем показывая, что не придает случившемуся какого-то уж особого, драматического значения. – Для смягчения нравов дикого нашего времечка. Для умягчения жары

хотя бы, воздухов, - пожаловался он. – Весь день сегодня мотался по граду этому, достославному пылью. Клиент неразумен и жаден пошел, люди злы... Не против?

– Немного если.

– Немного. Штопор, есть еще в этом доме штопор?! Сувенирный тот? Ах, вот он. Но цветов у тебя!..

– От родни, - опять солгала она, что-то надо было сказать... вот зачем? Промолчать бы. У тетки, какую изредка навещала, и правда были во дворике всякие цветы, пионы тоже – приносила, бывало. – От тетушки. От праздника, излишек...

– Что в таком случае было не излишком?! – весело удивился он. – Могу представить!..

– Много чего было, – резковато сказала она, не на него – на себя разозлившись.

– Люба, – проговорил он, без перехода и не замечая грубости ее, но и без улыбки уже, – я знаю, ты же простишь меня... Не вел этого дела, да, понадеялся на других, мало что знал, да-да, ну и вот... В конце недели, лучше в пятницу, сходи в этот клятый ЖЭК и получи ордер – нормальный. И будем считать, что этого ничего не было. Не было, понимаешь? И никаких обязательств тоже... никаких! И к этому мы больше не возвращаемся, прости. Кагор, церковненькое, ты же любишь... пей, за тебя, я так ждал, тебя увидеть хотел. И прости.

– Я тоже... – Она никак не ожидала такого и, главное, столь скорого поворота дела – ей чужого уже будто и неинтересного сейчас, не важного; отставила фужер, собираясь с мыслями немногими, опустив глаза. – Тоже не хочу возвращаться к этому... ко всему. И ордер не собираюсь брать. Пусть будет как есть. Так лучше.

– Лучше?

– Да, лучше. Нам вообще не надо встречаться. Может, время – оно, может...

Он не то что побледнел, но как будто подтянулся, строже стал. Отпил, давая себе время, глазами опять комнату obeжал, на цветах остановил их – куда внимательней теперь... И с заметным трудом оторвался от них, долго посмотрел в окно:

– Понимаю, что не оценил, может, нашего... кризиса этого. Недооценил. Теперь понимаю. – Помолчал, отпил еще. – Но, пожалуйста, не путай меня с ними. С родственниками. Наши отношения – это только наши... я не позволю никому лезть, не дам. И сделал, отбил им желание – всякое... Разобраться надо только нам. Это проще и человечней. – И посмотрел наконец ей в лицо, не в глаза. – Или я тебе совсем... как это сказать... противен стал?

Она не отвечала, нечем, и он сделал усилие над собой, усмехнулся:

– Тогда вправду ничего не попишешь... не поделаешь. Только горькую пить. Или, того хуже, уйти в коммерцию... Н-не понимаю, чего ты хочешь от меня: что я должен, обязан сделать, чтоб...

– Нет, Слав. Ничего. Ты... хороший, ты не думай так.

– Со скрипом, но соглашусь, перед тобой я... А дальше?

– Мы не можем встречаться, не должны... нет, не так. Но я не могу и... Не хочу. И ничего не обещаю. Ты прости меня тоже.

Он не сразу и медленно откинулся в кресле, было слышно, как оно скрипнуло. Тишина обнаружила себя вдруг – будто сама сказала о себе из всех углов этого пристанища; и тупой отдаленный, освобожденный

потолочными перекрытиями от музыки и потому бессмысленный ударниковый ритм бесновавшейся где-то на этажах звукотехники не то что ее усугублял, тишину, но какой-то безнадежной делал. И жилище само, показалось, совсем утерало уже для нее суть какого-никакого дома, о нем и речь не стоило вести, не то что ссориться, обижаться и обижать; и подумала, что зря не пожалела этого человека до конца, именно так, и не сказала сразу хотя бы ту часть правды, которую он имел право знать... Но какую, что ему скажешь и как? Даже и сказанного поправить было уже нельзя, необратимо все здесь, даже и слова, мысли назад не затолкаешь, не вернешь, и только на одно оставалось надеяться – что сам что-то поймет... а навряд ли. Так легко мы с надеждами не расстаемся, хоть с какими.

Заговорил он как-то неожиданно для нее – негромко и так, как она вовсе не ждала, даже в интонации:

– А я сразу увидел: ты какая-то другая совсем, непривычная... тихая. Как монашка. Как горе пережила, отмаливаешь... – Она дрогнула внутренне, подняла глаза. – Вот-вот, и глаза... – Он сам отвел взгляд, встал. – Про время ты сказала... все фикция. Время тут наоборот... – Помолчал, все глядя в сторону; но ей так и не находилось, что сказать ему. – Я буду звонить тебе? Иногда, изредка? – Она кивнула. – Спасибо, позвоню.

В дверях он обернулся:

– Люб, возьми ордер... независимо ни от чего. Я прошу, очень. И потом, это такое десятое дело, что... Возьми, а?..

Она коротко качнула головой.

– До свиданья, Люба.

– До свиданья.

Вот теперь все.

Но что это было опять – то, что сам он называл иногда не вполне понятным словом «сюр»? На мгновение какое-то мелькнуло, показалось: он знает все... Не мог не знать, показалось, так все в комнате-квартирке этой, в цветах, в ней самой полно было случившимся. И глупость, ложь эта про цветы очевидная, как и ее – вот именно, что ее – причина разлада с ним, почти надуманная, накрученная ею, потому что главное – какой человек, ну и все другое, отчего забоялась даже она, как бы не проговориться... Ей нехорошо, нелегко дались эта ложь и это молчанье, еще хуже было ему, но теперь все. И радоваться ли этому, печалиться – она опять не знает.

11.

Она не знает, откуда эта печаль – такого тонкого, серебрящегося на всем, как от молодого месяца, налета. На всем, будто прощается она с прошлой всею жизнью своей – ставшей наконец былой. До сих пор ни разу еще она не чувствовала такого осязательного и много, слишком для нее много значащего то ли разрыва, то ли, наоборот, узла этой своей жизни, самого времени ее, веревочки той крученой, спряденной из несчетных ниточек разных, пестрых, памятных и забытых напрочь, важных или вовсе пустяковых... ну, отъезд из дома, да, учеба, работа потом, но это не меняло одиночества ее, пусть одинокой, но центральности на белом на свете этом, она и слов-то не найдет, как это выразить. И вот не то что прервалась, нет, но словно не в плетенье, а в узел все, перехлестнувшись, спуталось и связалось, сошлось и стянулось враз, и уж не скажешь, будет ли виться дальше или так и пойдет узлами... И все прожитое ее, все такое

долгое, непростое, как казалось, и так ее волновавшее еще вчера – все на самом-то деле лишь приготовлением обернулось к тому действительно нелегкому и как никогда серьезному, что ждало ее не сегодня-завтра.

Она и хочет этой серьезности и окончательности выбора – не понять, то ли ею самою, то ли Бог весть кем и как за нее сделанного, – и боится, себя боится, что не справится... не она первая, конечно, не последняя тоже, но отчего печальна радость ее, неполно счастье? Одно дело – эти нелепые, страшющие неизвестностью времена, готовые – она чувствует это – вломиться и в ее малую, самую что ни на есть личную жизнь и ничего не пощадить в ней, раздавить и надругаться над всем, как только что нелюди те хотели – ни из-за чего, беспричинно, просто злу себя девать уже некуда... Но есть, видно, и что-то другое в счастье людском, какой-то покор, изъян изначальный и, похоже, неисправимый, та самая неполнота, да, какую человек начинает понимать лишь тогда, когда счастье непутевое его, неверное сбыться пытается, утвердиться на слишком шатком для него человеческом основании...

Она пробует думать обо всем этом, механически сверяя по журналу результаты анализов зерна по последним наконец-то в этой поставке вагонам, принятым уже в выходные дни... опять все то же! Партия зерна формально одна, а разнос данных по качеству такой, будто там, в Новом Орлеане том, элеваторные силосы зачищали, всякую заваль, поскребышки из разных партий в общую кучу смели и России, дурехе, толкнули, сбагрили... Почему – «будто»? Так оно и есть почти, не понимать этого, не видеть – это если только очень захотеть. Уже и хлеб нам пытаются подменить, свой растить не давая,

на фураж, как скотину, хотят перевести. Двое из хлебной инспекции еще месяц назад были, в самый разгар поставок: контрольные анализы заставили сделать, повозмущались, акт составили – и с тех пор молчок, как будто ничего и не было... В комитет безопасности бы данные эти, или как там их сейчас, – но, по всему, никакой этой самой безопасности уже нет, все продались, уже и шпионов-то повыпускали...

Девицы гонят анализ образцов, верещит то и дело лабораторная мельница, через открытую дверь в кабинетик ее слышно, как тарахтит опять о чем-то сипловатым своим голосом Нинок, рот не закрывается, и вторят ей короткие смешки подружек... Или в газету бы, тому самому Ивану. Она забыла его фамилию, зато не надо, не приходится вспоминать другую... Бог ты мой, неужто свою?! Поселянина, Любовь Ивановна, любить прошу и жаловать. Не требую, не вымаливаю – прошу, больше ничего и не надо бы.

Этим американским, она знает, еще зимой кормили несколько промышленных в области городков, соседний мелькомбинат расстарался, а теперь вот и мы – опыт переняли, передовой некуда? Похоже. На американцев злись не злись – смысла нет, попались им дураки – они и сплавили. Если бы дураки, Леша говорит... Те, кто контракты с нашей стороны подписывал, – те либо за взятку, подонки, либо на пересортице и цене по всей этой цепочке получают. А скорее всего и то и другое, без договоренности американцы на такое бы не рискнули, по суду если – карманы им вывернуть можно... Свои, тут и к бабушке ходить не надо, это-то давно ясно; только почему она думала, что начальство их заводское к этому отношения не имеет, не в доле? По инерции старой – что,

мол, приказ есть приказ, а тут еще и политика, дипломатия? Какая такая дипломатия, если у главбуха и «волжанка» откуда-то новая, и квартира, по слухам, наново отделана тоже, а на сынка кооперативная прикуплена – с какой зарплаты такой? Это не с малосемейкой у нее: и нужен бы ордер, на птичьих же правах, как студентка, и брать нельзя, зазорно...

Разворовано все, продано кругом, а если еще остается что неприватизированным, нерастащенным, то, может, лишь потому, что невыгодно им это пока или по какой-то еще причине невозможно... глаз, может, положил кто из матерых и лишь дожидается, чтоб совсем уж по немыслимой дешевке хапнуть, та же пересортица, только финансовая, такая ж гнусная. И у них к акционированию завода готовятся, все впотаях, в неясностях и неразберихе нарочитой, а златые горы уже сулят, только проголосуй. Кваснев и ей квартиру пообещал таровато, для начала однокомнатную, мол, – жди, получишь... И все молчат: и кто навар с этого дурной имеет, дармовой, и кто руки не марал... нет, все мы в этой грязи вывалились, успели, хоть с одного боку, да замараны – по всей стране, слышно, такое, всем куски пообещаны. Вот и их, заводских, тоже сманивают, уже тем даже, что зарплату с премиальными вовремя выдают, как мало кому в промзоне, в городе всем, а там, дескать, и дивиденды будут, индексация. Один из главных тут элеваторных, хлебных узлов державы вчерашней, и большие, то и дело угадываемые махинации здесь творятся, властями губернскими покрываются, и для хозяев фонд зарплаты их, работяг, в деревянных – суший пустяк...

Главное, ведь не бояться же никого, думает она, выйдя в лабораторный зал и дверцу стеллажей открывая, где

хранятся до сдачи в архив все отчеты, переписка, те же лабораторные журналы по качеству: приходи сюда вот да в бухгалтерию еще и бери все данные – если знаешь, где и что брать. По всем партиям зерна, муки, круп, по каждому вагону даже; и кому, каким качеством и по какой реальной цене отпускались они после фиктивной подработки-очистки, подмола, после всяких усушек-утрусок... А кого им бояться, себя? Нас, безгласных?

Надо бы посмотреть, сколько всего с весны приняли местного, своего зерна, – но что-то не находит нужной папки. На среднюю полку заглядывает, где всякие рабочие, нынешнего дня, бумаги – тоже нет...

– Ты что там, невинность потеряла? – слышит она вхохочущий от наслаждения голос Нинки и следом недружный, вполухоты смех своих дев; и шуточка эта, какая давно уж у них в ходу и поднадоела порядком, вдруг неожиданностью своею и откровением беспощадным срывает ее, до болезненности, плечи заставляет вздернуть... ну, потаскуха! Не оборачиваясь и не отвечая, снимает первую попавшуюся папку, листает для виду – акты списания какие-то – и возвращает на место; и только потом оборачивается, сосредоточенно и сквозь них глядя, вспоминает: у нее на столе скорее всего, брала же недавно. Завалили эти бумаги, разгрести бы. Ищет затем глазами и находит в углу, у лабораторных весов, Катю, кивает ей на дверь кабинета: зайди...

Шутку эту, как и многие прочие приколы, пустила в оборот Натали – Наташа Хвастова, смазливая стройная девка, на каких оглядываются на улице и подчас не шутя приглашают в рестораны, все как один дорожущие теперь, не про нас; по типу, впрочем, она скорее девушка для бара. Из семьи образованной – из губернского по-

лубомонда, как презрительно отозвалась она о предках своих, – остроумная, циничная и частенько беспричинно злая, она больше всего дорожила, похоже, свободой личного своеволия. Окончила в прошлом году физмат, но в школу или еще куда по специальности не пошла, сразу: «Еще я этих выблядков не учила... разумное, доброе, вечное им? Самой не хватает». Придя чуть ли не через бюро трудоустройства сюда, от блатных всяких мест отказавшись, зарплату свою невеликую подняла до символа независимости, хотя от папы-мамы на карманные расходы имела, по словам ее, раза в три больше – «но кто-то ж должен не воровать, а зарабатывать...». Работу свою, правда, без погонялок исполняла, из самолюбия, может; иногда увлекалась даже, подстегивала других – чтобы потом с полным правом вытянуться наконец в единственном затасканном, какими-то инвентарными судьбами заброшенном сюда кресле, закурить ментоловую:

– Шабаш, девы, опускай подол!..

Одна теперь Катя осталась, если на то пошло, девой у них, умница, но очень уж смиренная, с родителями переехавшая недавно из Казахстана... да что переехавшие – бежавшие, считай, от дичи тамошней и безнадёги, от «суверенов», какие во вшах уже, туберкулезе и сифилисе сплошь, но злобы непонятной и гордыни – через край. Тут еще жить можно, а там развал полный, все кому-то распродано, с работы не спрашивая выгоняют, русских первыми, и никаких тебе компенсаций, никаких законов; и однажды добавила даже, голоском дрогнувшим: «Нурсултан поганый...»

Остальные же, кроме нее да еще замужней Людмилы Викторовны, старшей лаборантки, к мужчинам приста-

вать не стеснялись, хоть впустую, а пофлиртовать, интерес был чуть не спортивный. И, конечно же, настроение своей – дурацкое слово – шефини углядели вчера, на это они скорые; зубоскалили, будто вправду чего знать могли, хором – при дирижерстве Натали – нестройно пели, неумехи, допотопное:

Сирень цветет,

Не плачь – придет...

Но хватанули дружно:

Согнет дугой –

Уйдет к другой!..

А потом переключились, опять же по наводке весь день отчего-то озлобленно-радостной Хвастовой, на Катю – с советами, как совращать мужчин, пусть и женатиков, неприступных вроде на вид, даже дурачков, сухарей нецелованных: «Главное – провоцировать их, этой самой... телой. Они ж сволочи все, наши мужички некондиционные, рано или поздно – клюнет... А если на целку еще!..» Нинок сказала это, впрочем, с оглядкой на шефиню, ласково, даже елейно, предпочитала не зарываться и без нужды не конфликтовать.

Натали же с неразборчивостью дворняжки, все-таки удивительной в ней, таскалась по барам и явным притонам, вязалась со всеми и со снисходительной о том усмешкой рассказывала по утрам, всякий раз в холодное недоумение приводя ее этой спокойной своей и бесстыдной откровенностью, даже сочувствие Нинки вызывая, знающее: «Ох, нарвешься!..» – и единственное, к чему равнодушна была, так это к детям. Их она ненавидела искренне, не скрывая тоже, всех и всякого возраста. И, может, причиной тому были два аборта, один недавно совсем... да и бессмысленно было искать их уже, причины.

Зимой пришлось взять под защиту только что принятую Катю, с румянцем прозрачным и еще детской, пунцово-ломкой пленочкой на губах, хотя уж за девятнадцатый пошло. Со всеми договорившись, конечно, Хвостова – это из кабинета слышно было – начала первой: «Залезет мужчина и... не миновать». «Не миновать», – подтверждали другие, а какая-то хохотнула, прибавила в рифму... «Из лесу донесся девичий крик, тут же переходящий в женский...» – это опять Хвостова. И раз так, и другой-третий, не обращая внимания на мягкую, урезонить их пытавшуюся Людмилу Викторовну, – кто проникновенно, кто с угрозой, но все с обещаньем: «не миновать!..» Работы по горло, отчет надо сдавать, а тут дурь эта, примитивщина... Вышла к ним, увидела то красневшую, то прямо на глазах бледнеющую Катю и Хвостову рядом с ней, всю эту свору сучью с блестящими глазами, разохотились, бросила с досадой: «Перестаньте же!..» И не выдержала, проговорила той в наглые, усмехающиеся своей забаве глаза: «Прекрати, ты!..» «Пож-жалуйста, – покривила своевольные губки Натали. – Но называйте меня на «вы» – всегда, везде». Взяла ведро для образцов, щуп, куртку прихватила и демонстративно вышла.

И что вот им скажешь, распустехам, пролетаркам этим, что с них возьмешь? А сказать надо. «Были Наташи ростовы, теперь – хвастовы...» – Она выговорила это им, молчавшим, и ее передернуло, невольно, со злости даже ударенье в фамилии переменила той, свихнутой. – Совсем уж, да? Развели тут, как в борделе... хоть бы ее постеснялись, что ли, – посмотрела на Катю она, и та румянцем опять залилась, уткнулась в свои весы, к которым определена была. – Не гляди

на них, Катюш, не слушай, они и сами не разумеют – ничего...»

Хвостовой, конечно, тут же передали все – и та, как это ни странно было, оскорбилась смертельно... А на что ж ты, дура набитая, рассчитывала? – хотелось спросить или сказать ей; но все это не имело, не могло уже иметь никакого смысла. Тут все было за его, смысла, пределами – в том числе, оказывается, и желанье Натали выскочить замуж, как поведала по секрету всему свету Нинок. И она даже улыбнулась, уточнила: «За бизнесмена, конечно?» – «А кто другой прокормит, пропоит такую? – по-пролетарски рассудила Нинок. – Ясно дело. Только, говорит, мелкота идет какая-то... без размаху». – «Ах, ей еще и размах нужен?» – «Само собой. Или иностранца, долбака какого-нибудь. Но те, говорят, жмоты. Да и нету их тут, считай, не подловишь...» Было разочарование даже: с таким набором – и оскорбляться?

Но нет, тут, похоже, все глубже было, запутанней: и оскорбленность, перешедшая в Хвостовой в бледнеющую иногда, но внешне бесстрастностью прикрытую вражду – какую шефиня, впрочем, разделять не торопилась, глупую; и совсем уж не гигиенический набор этот, под которым чем-то вроде основы положен был, оказывается, еще не остывший труп страсти к неведомому девам-девкам однокашнику, проговорилось в Натали пьяное на недавней, по весне, вечеринке, юбилей сорокалетний справляли Людмиле Викторовне... трупный яд, да. Осудить легче всего, особенно при невозможности понять. Весна, да, щепка на щепку лезет – и каждой щепке, как себе ж присовокупила Нинок, хочется счастья...

А ей нужно ли, Наташке, это счастье, хоть какое-никакое? Да ничего уже не знает она о нем, сдается, даже и знание изначальное утерjala, всякое представление о том, что такое это и для чего оно человеку. Счастье удовольствием заменила, вот-вот, на удовольствия разменяла, на мелочевку. Для счастья душа нужна, а не тело же одно только, и еще то, может, что люди называют идеалом, что-то на самом деле хорошее, к чему лежит она, душа. А утрата идеала, вдруг понимает она, означает потерю самой возможности счастья, не получается оно без него. Потому и маются так часто люди – не там ищут... хотя и телу свое надо, тут не поспоришь тоже. И уж помнит его всего, Лешу, руками помнит, губами впадинку ту у ключицы, запах его родной; и все в ней, кажется, сродниться успело с ним, и утром тогда опять удивилась, что – свой, весь свой, как будто год уж прожили или сколько там надо для этого...

Ну вот, философию развела, а сама о чем? Бабы – мы бабы и есть, почти покорно думает она, и слово это еще задевает ее, но уж меньше... так ведь и привыкнешь. Объясняет Кате, как сделать выборку количества зерна, поступившего за лето от хозяйств, от американских паскудников за все полтора месяца тоже, суммируя отдельно, и как прикинуть по ним средние показатели качества... И смотрит в прозрачные преданные глаза девчонки и решает: нет, сама в бухгалтерию пойдет, как бы между прочим возьмет готовые сводные данные, тем более что с качеством-то Кате вряд ли справиться; а заодно о турецкой партии узнает, может быть, чего там по контракту ждать и сколько.

12.

В общагу возвращаясь, еще в троллейбусе заметила двух женщин пожилых в платочках, под подбородок завязанных, непривычно, да еще и по жаре такой... ведь хотела же, думала, что ж ты?! Минутой не медля, вбежала к себе на третий, косынку рабочую нашла – единственную, малость пеструю, может, для церкви; темную надо купить, постоянную. И подвязала под стрижку и уж к зеркалу хотела сунуться, но остановила себя: не в театр, не о том думай.

На подходе к большому и еще не оштукатуренному, сумрачному оттого храму она все же перевязала косынку под подбородок. И от этого тревожней стало, неуверенней на душе; легкий вроде, шершавый чуть узел все время напоминал о себе и, казалось, обо всем, за эти полторы, две ли недели случившемся, мало того что грешном, но и непонятном, не понятом ею, она знала, как надо, как должно бы... что-то оставалось в осадке, как покойный Соломатин говаривал, и она не могла уразуметь – что.

Вечерня началась уже, во дворе и на паперти видны были нищие, местных алкашек больше, наглых, будто все права имеющих не просить даже – требовать, то и дело переругиваются меж собой, скандалят, никого не стесняясь... и Бог с ними, им и рассказать-то некому, поди, кроме Него, что с ними сделала жизнь, дар этот, мучительный же... И перекрестилась, что не то, кажется, не так подумала; одной подала бумажную мелочь, другой и быстрее прошла в притвор.

Не много молящихся, по буднему дню, было в храме, в высоком сумраке его, десятка полтора если, два людей, небогато и в выходные, новый совсем приход. Она

здесь в третий всего раз, да и всегда-то по случаю лишь в них заходила, в церкви, редко очень; но верить, как ей кажется, никогда не переставала, с тех пор еще, как выучила ее крестная, старшая сестра матери тетя Настя, рождественскому тропарю и «Отче наш» наизусть читать, когда на Рождество или Пасху славить еще ходили по дворам, класса до восьмого.

Но что к ее вере детской прибавилось теперь – неуверенности в себе? И за этим, за уверенностью в вышней помощи пришла сюда? Не только, нет. Ей нужна помощь, да, без нее сомнет ее чрезмерная эта и слепая сила жизни окружающей, окрестной, куда чаще злом исполненная, чем добром, больше случаем правящая, иногда сдается, нежели законом, и спасенья и убежища нет в ней, этой жизни, только бы перетерпеть ее, пережить.

Но она и вину чувствует какую-то, и не только за грехи свои, ведь и невольные же часто, прости Господи, от жизни этой непонятной и жестокой, то ли испытующей, то ли насмехающейся, если не сказать хуже, нищенки Твои тому уроком... вина за самую жизнь, что ли, за то, что живешь? Вина эта впряжена, вплетена во все ее существование, на всю глубину инстинкта и памяти родовой; но какая вина, за что мучает ее и к какому раскаянью нудит, что значит вообще она – этого вовек не понять...

За все вина. И без этой вины, подозревает или прозревает она, нет веры. Невозможна здесь без нее вера, не то что не нужна, но будто и необязательна, без того простят и спасут – либо погубят не спрося...

А как хочется, чтоб на одной лишь любви основывалась бы вера – но почему-то и на вине основана она, и на страхе...

И она молится измученно глядящей на них на всех Заступнице, свечи поставив, единственной молитвой, какую знает, хрескиной; неумело молится, крестясь и кланясь тогда, когда все крестятся, чтобы простил Бог эту вину невольную, впотьмах о какую спотыкаешься, простительную вольную тоже, за себя с Алексеем и за всех, кого знает и помнит сейчас... и за дядю Степана, да, царство небесное ему, добрый и безответный был, никого не обидел. И за тех дураков бы помолиться, ослепших во зле, без поводыря и смысла бредущих по кромке воды живой бегущей, что-то большее даже, чем жизнь, сжигающих в себе; и хотя рука не подымается, но молится за них тоже, чтоб хоть на малость опомнились, оглянулись на себя... Видит, как цветут, сгущая сумрак вокруг, и трепещут от неведомого, откуда-то из-под купола, сквозняка свечи, слышит старого, еще более согбенного под епитрахилью батюшку, высокий с хрипотцою голос его: «Ныне отпускаеши раба твоего, Владыко, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов...» – и еще с сомнением малым, но верит в это спасенье, иначе все теряет смысл. А смысл в любви, только в ней, все остальное лишь прибавляет что-то к ней – либо отымает...

И жила, ждала, не на дни – на часы считала, боясь, грешная, как бы не придрался к чему Кваснев, не передумал с отгулами. Сделала что могла впрок, все бумаги передав Людмиле и разъяснив, что к чему, чтоб не вышло без нее никакой запинки; и вечером четверга сбегала, как студенткой с лекций когда-то, на вокзал.

Дома только мать застала, и то на задах нашла, в ого-

роде: «Вот уж не ждали, доча!..» Помогла ей с поливкой, во дворе корму свиньям, уткам-курам задать, скоро уж коров с пастбы пригонят, а отца все нет.

– Так уборка же, – сказала мать. – Третий день уж как закрутилось. Он теперь часов в десять, не ране, так и ужинаем. За ним Вековищев как с обеда заехал, так и...

И нетерпенье углядела в ней и подумала, должно быть, что от возни этой во дворе, надоело, может, либо устала:

– Иди, от братка письмо почитай... на столе там.

– Прочитаю, успею... Как там он, Павлик?

– Да-к армия... Пишет, что ничего пока. Паек не дают.

– Офицерские не дают?! Ну, охамели совсем... А на что детей кормить? Они ж ракетчики, огородов не разведешь в лесу.

– Да вот так... Кабы-ть зима – а то ни посылку послать, ни... К зиме думать надо-ть.

– Я это... к хреске загляну, дойду.

– Сходи, как же, она спрашивала.

Бесполезно все, думает она, разве застанешь его сейчас?.. Уборка еще эта – из-за суши ранняя такая, наверное, мигом вызрело. Но не представляет даже себе, как бы она ночь эту перетерпела, с ним рядом совсем – и одна, без него, не свидевшись даже, а он и знать не знает... А после ужина как уйдешь, чем оговоришь? Да хоть чем... не девочка, вот именно! Хоть к подруге, к Надьке той же, хоть в клуб, мало ль... Только замужем подруги все, считай, или в чужени где-то, да и призабыли друг дружку, а клуб сегодня открыт ли, нет ли... не с сопливками же, на танцы. И не обманешь тем отца-мать, что-то да знают они.

Но все это думает она уже по дороге, к школе под-

ходя, за которой дом его; а немного подальше крестной двор, и в сумочке конфеты для нее, любит почаевичать крестная. И ведь знала же, конфеты покупая эти, когда их понесет и как... Но нет, уж кого-кого, а крестную любит она, без гостинцев редко обходилась, и с кем если и секретничает, с девчонок еще, то с нею одной, матери куда больше стеснялась, чем ее... а что, если о нем спросить – с кем он и как тут?

И забывает об этом, за угол школы повернув: к старым воротам дома Осташковых приткнувшись, стоит «уазик» его... И дом тоже его теперь – малознакомый, очень смутно помнит она, что в нем и как, случайно и давным-давно в нем бывала и, конечно, подумать даже не могла, что может он стать когда-нибудь и ее домом тоже, на этой-то улочке зеленой и с крестной рядом... пусть будет, Господи, раз так! Спешит, на безлюдье улицы оглядываясь, на пустые окна: лишь бы один был... один? Ну, всякий зайти же может, не закажешь. Спросить бы крестную, да, а как?

Открыла калитку – скрипу в ней! – и вошла на широкий, где-то у соседских задов кончающийся двор со старыми тоже, из камня-плитняка, сараями. Из-под крылечка дворового, невысокого без лая выкатился песик, щенок еще совсем, и не успел испугать, закрутился у ног – как хозяйке обрадовался... А вдоль стены дома сложены свежие широкие доски штабелем высоким, под самые окна, и в стороне на кругляках лежали, отливали синим железом и, кажется, сварочной окалиной еще пахли новые ворота. Несколько грядок за ними с огурцами-помидорами, с зеленью всякой, водопроводный летник с краном, а дальше длинный, выкошенный уже и пожелтевший пустырь, рукам работа.

Песик твякнул неумело, и она оглянулась и увидела его, выходящего из сенцев с термосом в руке... Отставил его и не по ступенькам, а напрямую перемахнул через перильца, подбежал, посмеиваясь обрадованно, обнял всю. Куда попало, в ухо поцеловал, дыша в него порывисто, сказал, лицом отстраняясь:

– Люба моя!.. Ты как сумела-то?!

– Сумела... к тебе ж.

– До понедельника?! – все удивлялся он и целовал, жадно почти, в губы, в шею жарко, так что не успевала отвечать она губами своими, задышалась:

– Ага... Ох, мой... Лешенька!

И глядел на них снизу, удивленный тоже, щенок, то подымал ушки, то падали они у него, еще не держались, что ли.

– Пошли, пошли... Сторожи, Овчар! – грозно приказал он псине – так грозно, что оробела малость даже и она, безотчетно. – Гляди мне!..

– Почему, - перевела она дыхание, – Овчар?

– Ну, овчарка же, кобелек. Вот пусть и будет – Овчар. Овец только нема. Конуру ему сбить – и на цепь скоро, а то избалуется... Пошли!

Обнявшись, поднимаются неловко они на крыльцо, темными сенями проходят, старым деревянным духом их, в дом входят, в просторный пятистенки. И печь русская, и голландка в горнице убраны, полы и потолки заделаны после них, все наново покрашены – и потому широко, даже пустынно в нем... для жизни приготовленный, для завтрашней, да, а пока ждет. Мебели немного, подержанная и кое-какая, на первый случай, а чуть не половину глухой стены полки самодельные занимают, книжные, откуда книг столько?

– Вот она, житуха моя...

– А светлый дом, я даже не думала...

Осматривается, он ведет ее, в кухню отгороженную заглядывают вместе: двухконфорочная плитка, стол с раковиной, газовый котел – скудно, но терпимо. И говорят, торопятся – как вырывалась она, как в замочку уборочную вошел он тут, с места и в карьер, и временем как распорядиться теперь – их временем... И спохватывается она:

– Ты собрался куда-то?

– Да так, до комбайнов доскочить... успею. – Он в глаза глядит, рад ей, а она и своей, и его радостью тоже, руки на спине его сцепила, не хочется отпускать. – Вина б тебе – а нету, не успел запастись. Водка одна. И чай, в термосе только – хочешь? С конфетами?

– Ничего не надо, нет-нет. И так я, Леш, пьяна... тобою.

Она правду говорит, надышаться им, запахом его не может – и зарывается в нем, не то что хмельное, но темное что-то в ней, захватывает ее всю, это желание, да, и она не удивляется уже ему ничуть, не боится. И так целуются, мучают, ласкают грубо друг друга, что невозможно же – без этого...

– Дверь!.. – хрипло выговаривает она. – Дверь...

И время для нее совершенно непонятно тоже: то не течет почти, застаивается, нудной подергивается рясской, а то ускользает стремительно и неуследимо или вовсе провалами темными, не скажешь сразу – было ль, не было... Уже и закат сквозь простенькие занавески пятнает тускло-красным голые стены, одинокую на них репродукцию с шишкинской «Ржи», обои старые;

она собирает себя торопливо, не забыть бы чего... себя не забыть тут, в доме этом нежданном, чужом еще для нее. Ничего, она сходливая, как бабы наши говорят, быстро с ним сойдется, с домом, руку свою хозяйкину окажет. И как-то легко, поверху об этом, обо всем другом думается – нет, представляется ей, думать совсем не хочется сейчас, да и сколько можно, и ей легко, а главное – не болит почти, слава-то Богу. К зеркалу небольшому в простенке суется – и застает ее, слабую улыбку бездумности этой...

– На часок я, Люб, не больше. С Вековищевым повидаться еще надо, – говорит он из кухоньки, умывается там, фыркает. Председателя колхозного давно она не видела – такой же все хамоватый, самоуправный? А какой еще. И спешит к нему, у него ж дело. – Поужинаю заодно, на стане... шар-ром у меня покати.

– Не надо там ужинать, – говорит она, сомненье малое откинув. – К нам приходи.

– Да?

– Да. Мы подождем.

– Приду, – почти не раздумывает он, вытирает лицо, усы, полотенце не глядя вешает – на нее глядя серьезно. С лица у него сошло на удивленье скоро все, а вот на сгибах пальцев короста, потрескалась и, наверное, болит; но не спрашивает она, напоминать не хочет – ни ему, ни себе. У матери бальзам какой-то лечебный есть, найти надо, чтоб на ночь привернул, не забыть... А он за плечи берет ее, привлекает: – Приду. Обязательно.

– Дай, причешу тебя...

На минут пять всего заскочила к крестной, в щечку ее сухую морщинистую чмокнула, черствой землей, показалось, пахнущую, – Господи, неужто и сама такую

станет когда?! – пакет с конфетами на стол: «Я завтра зайду, ладно? Наговоримся, успеем...» – «Уж ладно, красавица моя. На картошке, в случае, жуков этих собираю, басурман...»

Закат уже сник, когда и успел, пеплом нежно-сиревым взялся, небо темней и словно глубже стало – и вечерница в нем, звезда ее... Не мерцает, как другие, нет – переливается алмазно сама в себе, в избытке света купается своего, ясности и силы, и нет, кажется, ничего ярче и пронзительней ее, даже светило дневное не сравнится с нею... ослепит, да, но не пронзит. Еще, может, лет в семь спрашивала она мать, молодую совсем тогда, это хорошо помнится, крепкую, хоть с вилами под стог, навильни тяжеленные наверх подавать, хоть саманные кирпичи делать-таскать, что за звездочка эта такая, яркая из всех; и та, глянув, отвечала: «Это, доча, либо вечерница... ага, она, завсегда такая. Как вечер, так она тут». И потом лишь, куда позже, Андрей Сергеевич, учитель-географ тот самый, легкий, стремительный на ногу, на отзыв, с чем к нему ни подойди, с каким однажды всем классом в поход отправились с ночевой, сказал, что – Венера... Что богиня, и не звезда вовсе, а планета, но какая разница. Лишь бы светила, звала, что-то обещающая высокое, радостное и необходимое всем, всему.

Темнеющей улицей шла средь палисадников уснувших, уже светились кое-где окна за ними и пело где-то в переулке радио, что ли, что-то неразборчивое, протяжное... дома наконец она. Какой он ни есть, дом, не Бог весть как устроенный, а свой, не в чужих хоромах по одной половине ходить, оглядываться. И город жалко будет оставить, не без этого, конечно; но вот что-то не сделали в нем, не удалось, чтоб по-людски. Вроде

б каждый по отдельности человек – из тех, кого знаешь, видишь-встречаешься, – не так и плох, и не глуп, умных-то куда больше, чем на селе, не сравнить; а все вместе – стадо, и недоброе... Неразумное, и если бы только в часы пик.

С отцом, так получилось, несколько рассеянно поздоровалась, улыбнулась в довесок уже, хотя всяких нежностей показных в семье и так-то не водилось никогда; как сказать? И решилась, потому что мать разогреть ставила ужин, оттягивать некуда:

– Алексей придет сейчас... ничего? Поужинаем вместе.

– Да-к, а... – Мать растерялась, даже руки опустились. – А что ж сразу-то? Не сказать-то?

– Да сама не знала, он же поздно... От крестной только застала, – и на мать не может смотреть, неловко – так помнит еще все, что в доме было, до мельчайшего, ей кажется теперь... – Подождем немного – ну, полчаса?

– Раз так... – пожимает вислыми плечами отец, он невозмутим. – Да-а, достается ему сейчас – за коренного... Себя забудешь. Што-нито собери, мать.

– Соберу, недолго... Это вы што ж, всуерьез?

– Ладно болтать-то, – не то что рассердился, но прикрикнул отец. – Делай что велят.

– Да куда ж денешься...

– А мы яишню со сливками, мам, как ты делаешь... дай, я сама!

Пришел он даже раньше, чем ждала она, в свежей рубашке, с бутылкой водки и коробкой конфет – с неполным джентльменским набором, как сам сказал, посоветовал, что нет вина в магазине; впрочем, и водку-то

с полок убрали на время уборочной – а за каким? Это отец спросил и сам ответил же: все равно на нее денег у народа нету, а самогонка – она в каждом дворе, почти-тай... ну, через двор.

Сели ужинать наконец, и он несколько не стесненно держал себя – как, должно быть, и везде, был оживленной обычного, пошучивал; тем более что за столом этим, как оказалось, не в первый раз сидит – сживали, да, то по делу, то по праздникам... И она эту связанность свою – родным связанность – понемногу одолевала, ловила усмешливо-сообщнические взгляды его, словечко-другое вставляла, кивала, когда он – иногда – как бы от них двоих уже говорил. Оттаивала и мать тоже, уверяясь, может, что у них в склад-лад все пока, а дальше как Бог даст...

– С уборкой разделаемся – за дом возьмусь.

– Так а что там? – недоумевал отец. – Главное сделал. Газ провел, перезимуешь теперь.

– Уже брус заказан, Иван Палыч. С глухой стены комнату еще прирублю и кухню-столовую. А сенцы эти – к шуту... большая веранда будет. Ну, это на лето уже, с крышей, само собой, тоже. А пока готовить, фундамент залить.

– А усилишь – один-то?

– Да кой-чему научил отец, а зима у нас долгая. И люди обещаны, даст Вековищев. – И усмехнулся, на нее глянул, в глаза ей: – Начать – не кончать... ну, было бы к чему руки приложить. Ради чего.

Он спрашивает? И нужно ль отвечать, если выбор делает не она... если уже выбрала, хоть и неуверенность некая щемит, не шутка – город бросать, это теперь-то... И – надо – улыбается ему, еще сама не зная – как улыбается, веря только, что он поймет как надо.

Встали из-за стола, он спокойно перекрестился на небольшую, в полотенцах, иконку Николы в углу – всегда, сколько она себя помнит, здесь Никола, в задней избе, а Спас, что в горнице, появился позже, отец хоть не сразу, но согласился на это. Мать, мелким крестиком в стол куда-то, как всегда, осенившая себя, одобрительно смотрит в спину Алексея, отец же как не видит всего этого – привыкли уже, видно. И она крестится, не смея просить себе счастья, не спугнуть бы, какое есть, но лишь по-людски чтобы все было, шло, как вот сейчас.

– Ты гли-ко, двенадцать уже...

– Мы... проводимся, - находит слово она, смущенья особого уже в ней нет, - а вы ложитесь, не ждите. Устали же.

– Да натоптались...

Она лежит на плече его и уже перебирает в мыслях, что завтра сделать надо... какое – завтра, если светать уже скоро начнет! А ему еще отдохнуть надо, хоть немного.

– Все-все, пошла я!.. – Но как вставать не хочется, уходить от него, кто бы знал. Уткнуться бы ему в шею носом, уснуть... Пересиливает себя, его тоже, тормозит истомленного; и уже платье натягивая в избяной темноте, при таких-то шторках свет не включишь, – говорит ему во тьму эту, дыханьем их и жаром еще полную, наугад:

– Давай сразу отберем, что стирать. Порошок-то хоть есть?

– Да там все, в тазе...

В кухоньке свет включают – ага, ведра есть, посуда всякая в шкафчике, чашки-кастрюльки, ложки-поварешки, картошка в мешке... так, а в холодильнике что?

Правда что шаром покати, кусок ссохшейся колбасы, в самый раз песику, да хлеб в пакете черствый. Мясо из морозилки на полку нижнюю, чтоб отошло, ключ от дома запасной в сумочку и – до обеда, Лешенька!.. Выходят за калитку, над головою редкие отуманенные звезды, полынная прохлада, пришедшая со степи, дальний за школой фонарь, лампочка простая на столбу: проводить, может?.. Ну что ты, Леш, я ж дома!..

Спать не хочется совсем, она садится на родительское крыльцо, смотрит на темную, в себе забывшуюся улицу, на непроглядную громаду тополей, вознесенную в небо, смутно сереть начинающее будто... поскорей бы утро, день. Нет, она не торопит время, торопить его опасно, почему-то знает, чувствует она; наоборот, мало его, не хватает ей, а столько еще сделать надо, успеть.

Калитку на засов она заперла от лишних глаз, а они ей все лишние теперь. Все, что нужно для борща, из дома захватила, мясо поставила варить, а на второй конфорке белье в ведре кипятится – пар столбом, дым коромыслом!.. И окна между делом протерла, паутину обмахнула – сколько ее! – и за полы принялась: подметаются, да, но не мыты, сразу видно, давно, и белишко застирано, простыни-наволочки тоже, все перетряхнуть надо, – мужики... По полкам книжным только глазами пробежала, удивилась опять: когда и где собрать успел – и столько неизвестных ей, серьезных даже по корешкам...

Стирает во дворе, у летника, оглядывает позьмо, ширь дворовую и опять думает: сколько работы здесь, Боже мой, чтобы обжить все, засадить. Ничего, глаза страшатся, а руки делают. Первая всегда у матери поговорка – от нужды, работы извечной, только лет семь

назад, может, и выбрались из всяких строек; а тут их, детей, учить, подымать... Как он, Павлик, там? Двое ребятшек все ж и Вера, невестка, больная, по женской части неладно...

И отгоняет мысли всякие такие, не сглазить бы... вроде б все ничего у нее, хотя сама еще себе удивляется, как выдерживает такое, мало того – желает, ждет, как будто обещанного чего-то ждет... И разговаривает негромко, чтоб с улицы не услышали, с Овчаром, накормленным ею так, что пузцом сытеньким отвалился на солнце, пожмуривается: что, скучно одному хозяина ждать? Скучно, день-то длинный какой, все жданки съешь... А тот садится, польщенный явно, что с ним по-человечески говорят, глядит смышлено, голову набок, и хвостиком работает, подметает.

Все сделать, что хотела, она успеть не смогла, конечно, машину его услышала у ворот, выскочила.

– Ну-у!.. – говорит он, оглядываясь в доме, и это ей за лучшую похвалу. – Когда успела-то?! Простыни еще эти, занавески... шут бы с ними.

– Да заодно уж... Обедаем?

– И поскорей. Голодный, как... Последний раз Танюшка здесь прибиралась, когда на каникулы ушла. Говорит, шефом у тебя буду, а вот глаз не кажет: женишки небось, дискотеки... Устала?

– Да когда уставать, Леш? – Она не притворяется ничуть, ведь и в самом деле время пролетело – не видя как, да и в охотку все шло. – Правда. Надо еще...

– Ничего не надо, хорошка, – отдохни.

– Здравсте, а погладить?! Пересохнет же.

– Вот я тебя и поглажу! – дурачится он, но не гладит, а обнимает ее, так стискивает, что дыханье занялось,

в шею целует, нешуточно уже, ниже плеча... – Уж у меня н-не пересохнешь!..

Пообедав, сидят на чисто вымытых – поскоблить бы еще – ступеньках крыльца, тесно прижавшись, у него, он сказал, пять минут еще, к трем начальство районное подъехать должно – носит их поганым ветром... Притыкает в консервной банке окурков: и знаешь, зачем приезжают? Чтоб сказать, что теперь ничем они помочь не могут – ни средств у них, мол, ни обязанности, выкручивайтесь как хотите. А водку дармовую как жрали, так и жрут... нисколько аппетит не испортился. Ну, без них так без них, воздух чище...

Замолкает, усы отчего-то теребит, подергивает, и привычки к этому она вроде бы не замечала за ним, нет такой; щурится на пустырь двора своего – нет, дальше, с лицом замкнутым, почти каменным. Но вот переводит глаза на нее, и они вовсе не хмурые, какие можно бы ждать от раздумья о невеселом нынешнем, а внимательные... слишком внимательные, и это ее, как всякую женщину, беспокоит, просто не может не тревожить. И, помедлив, говорит негромко, то ли спрашивая, то ль утверждая, ладонь ее в руки свои забирает, прячет всю в них:

– Значит, будешь хозяйкой?..

И не кивает, а поводит головой в сторону всего – дома, белья скатанного, чтоб не пересохло, свежего полотенца для них двоих, общего, ею у раковины повешенного, и полотенчика другого, тайного от всех...

Это так неожиданно для нее – здесь, сейчас, и не то что растеряна она, но не сразу ответишь. Она этого ждала и по инерции будто ждет еще, относя все хотя и в близкое, может, желанное, но будущее, – а уже надо

отвечать... И уж боится, что пауза слишком долгой будет, слишком окажет она мелкие всякие неуверенности ее и страхи, нерешенность некую выкажет, неверие в них двоих – которого в ней ведь уже и нет; и поднимает глаза, в его глядя, без прищура обычного, ждущие пристально, говорит:

– Буду, Леш.

– Спасибо.

– За что? – совсем тихо, смутясь отчего-то, даже заробев от всего, перед ними открывающегося теперь, спрашивает она.

– За тебя.

13.

Уехал, а она мыла посуду, гладила потом стареньким – на каменку давно пора – утюжком простыни, быстро провянувшее на ветерке белье и все опомниться как-то не могла... Решилось. Когда, как остальное все будет, многое, непростое и хлопотное – о том еще и слова не сказано; только спросил, посоветовался ли: своим пока не будем говорить, торопиться? – и она кивнула молча, согласно, никакие слова не шли из нее, как заперло. Кивком же ответила, когда и раз поцеловал, и другой, сказал: дома ужинать будем, заеду за тобой...

Оставляла ненадолго дом, провожаемая Овчаром, и у калитки, помня наказ не выпускать щенка на улицу, присела и потормошила, погладила его: что, и ты мой тоже?! Мой, шелудяка ты этакая, мой, умничка! И приказала тоже: стереги! Господи, да тебя самого-то стеречь еще надо!..

И будто что-то снялось, что не давало радоваться – вволю не давало, к домишку крестной чуть не

вприпрыжку торопилась, озаботиться забыв, видел ли кто ее из двора выходящей или нет.

У крестной самовар почти всегда наготове, нахвалиться им не может – года полтора назад крестницей подаренный на первые отпускные, еще и дядя Федя успел из него чайку попить, покойный. Сидят за ним, разговаривают, говор у нее старый тоже, как мало у кого на селе, простой:

– Ты не в отпуск, часом? Зачужалась, что и во сне не увидишь...

Это она, конечно, ворчит просто, преувеличивает для укору, и спорить с ее воркотней бесполезно.

– В сентябре, может. Или в октябре...

Она говорит ей это и сама надеется, что – в сентябре, перед увольнением. И еще колеблется, сказать ли ей и как сказать... за тем ведь и шла, признаться, чуть не бежала сюда. За тем, а уж от крестной ничего наружу не выйдет, проверено, не то что сказать – намека никому не даст, что знает, находя в этом удовлетворение какое-то свое, не совсем понятное...

– А што цветешь-то вся? Еще вчера как шанежка поду... аж пыхало. Спросить, думаю, иль нет?

Сысподу, с пылу с жару прямо... И чувствуя, что краснеть начинает, помялась, проговорила на всякий случай, полушутя вроде б:

– А не скажешь нашим?

– Так прямо и пошла, сказала... Дел мне больше нету.

И, раз назвалась-напросилась, рассказать пришлось – накоротко и уж не обо всем, конечно; да и что словами скажешь, какие-то пустые они получаются, несродные, друг к другу не приставишь, не приладишь... Как будто все то, о чем она говорила теперь, не

с ними происходило... конспект чьей-то жизни чужой, куций.

– Во-он што... – И вся еще в новости этой, успела порадоваться крестная, повторила: – Это в шабры, значит, ко мне?!

– Так, выходит, – улыбалась и она, Лешиными словами сказала: – Уборку свалить бы. А пока не говорить, никому.

– А тот как же-ть... городской который?

– Да никак, хреска. Ну, чужой. Я уж и так, и сяк – чужой...

– И правда што... чужого не замай, свово не отдавай. Не, парень уважительный. Здоровкается первый и по делу горазд, люди говорят... строгий. А што эт он – лицо побито вроде?..

– Да так, случайно совсем... Так вот и решили.

– Вона как... Не, не скажешь плохого, – рассуждала все будто удивленная, все бровки высоко державшая крестная, поглядывая весело, кипятку себе из краника подливая. – И жених... да-к а што? Первый у нас, жених-то! Эт ты отхватила, девка!..

«Отхватила!..» И не удержало, засмеялась, клонясь над клеенкой, в пору голову на руки, покатав счастливо.

– А што смеешься?! Тут уж подбивали под него клинья, всяко... А девки анадьсь што утворили над ним... ты спроси его, спроси! Все крыльцо ему лопухами завалили. Лопух, мол...

– Лопух?!

– Ага. И учительки эти наперебой, особо новая эта, целу зиму, считай... ну, ладно.

Учителька? Ее дернуло было, больно и безрассудно... постой, погоди. Зимой? Мало ль что зимой... А лопухи летом, так? Ну, так...

У крестной маленькие глазки, бесцветные, а все видит:

– Болтаю я, грешная. А об чем – сама не знаю: гутарили люди и уж гутарить про то перестали...

Или расспросить? Не помешает знать, не зазорно вроде... не помешает? Нет уж, или верь, либо совсем не верь ему, что-нибудь одно. А учителька эта... не Мельниченко ее фамилия? И повторила, чтоб перебить мутное в себе, противное что-то, со дна поднявшееся: не Мельниченко?! Вот так. Вот и забудь, это ж каторга – не верить. Мой он, вот и все.

– ...а людей не слухай, – говорила крестная. И добавила, как-то самодовольно: – Уж я бы знала, ежели што...

– И не думаю слушать, – сказала она. Мой, больше ничей.

– Да-к у вас што ж... все уже? – И посмотрела долго и строго, со значением, как она это умела. – Все со всем?

С недоумением она глянула на крестную – ну да, мол, я ж сказала, – и ту раздосадовало это почему-то:

– Ну ты гли-ко... ну, ништо она не понимает! Ребенок прямо... Донесла хоть, спрашиваю?

Она не сразу еще, но поняла наконец, что именно – донесла; и вспыхнула лицом невольно вся, и неудержимым каким-то, нервным смехом залилась, чуть не до слез, теперь уж головой на стол, еле кивнула ею.

– Опять она смеяться... Што смешного-то?! Слава Богу, коли так... – Тяжело с табуретки поднялась, повернулась к образам, крестом большим осенилась, размашистым. – Слава Богу! Не опозорила на старости...

Голос у крестной съехал, пресекаясь, и она вскочила, обняла ее, плечи ее оплывшие, слабые в разношенной старой кофте шерстяной; и стояли так, прижавшись, плакали молча – за все, обо всем...

Усаживаясь, вздохнула старуха еще раз, облегченно слезку отерла:

– Сохранила себя, спаси те Господь... Эт главное, если хошь.

– Ну, не очень и спрашивают сейчас... – сказала она, лицо ладонями остужая, не поднимая глаз.

– Ага, как же!.. Не-е, золотко, они не сразу, они опосля это спросят, в случае чего... щас, пока сладкая, не спросят. Да и то – на какого попадешь...

Хоть бы уехала она, что ли, – эта, из школы, думает рассеянно, опустошенно она, как и всегда после слез; ну что вот хорошего ей в чужом месте, среди людей, чужих тоже? Тут и свои-то не знают, как дальше быть, все наперекосяк пошло, неладно... нет, дома надо жить сейчас. Кого только и как не тасует она теперь, чужбинка, сколько ее везде, неприкаянности всякой, как почужала сама жизнь... Ехала бы ты домой, учителька. Но по себе знает, как непросто найти его, дом свой.

Алексей все-таки выкроил время и повез ее в воскресенье сам. Говорили все больше о сентябре: «Да, бери отпуск, как раз с уборкой закруглимся...» – «Бери... Если дадут». – «Ну, сразу увольняйся тогда, невелика разница... Так мы что, Люб, – и руку ей на колени положил, качнул их ласково – так, что желание ворохнулось в ней, – свадьбу делать будем или дом? А с родными посиделками обойдемся, гостеваньем...» – «Дом, – не задумываясь, твердо сказала она. – Разом не потянем, Леш... да и зачем?» – «Ну что ты за разумница у меня!..» – и поерошил волосы ей, по щеке погладил, шее, и она как ветру подставляла лицо, купала в ладони его...

На подъезде к городу решил вдруг: а что, заско-

чим сразу к Ивану?! Утром звонил он Базанову, и тот в редакции будет с какой-то срочной работой, ждет, надо перевидаться. «С тобой хоть подольше побуду, а то невидя три дня эти... Заодно и познакомлю». – «Наверное, и мнение спросишь – потом?» – пошутила она, не без ревности. – «А почему нет? Он хоть и щелкопер, а глаз наметанный... Выслушаю. А рассужу по-своему». – «И как же?» – «Любя... Не смотри так, дорогу потеряю».

И это все ведь, оказывается, что о любви ей сказал он – за все время, сколько они вместе. Будь он не за рулем – и она, может, приласкалась бы, спросила наконец, как это – любя, ей и слово это нужно тоже, без него, ей кажется, будто чуточку не завершено их счастье... а что счастлива сейчас, это она сознает. Но, видно, он суеверный тоже, сглазить не хочет, знает, что завершенность, полнота достигнутая тут же и разрушаться начинает здесь, в этом неполном всегда, неясном и жестоком в себе мире... так? Может, и так; и пусть не говорит, они и так это знают, вместе знают, а больше ничего не надо.

Выпутались из улиц к центру, более-менее прибранному, с газончиками свежими, поливными, с людом, живо снующим на перекрестках; и он угадал, глянул – как один только он глянуть может, с полуулыбкой в краешках губ и в глазах, доброй, нечасто они добрыми бывают:

– Что, не хочешь из города?

– К тебе хочу, – сказала она упрямо.

В редакционной многоэтажке, увешанной вывесками газет, они прошли через фойе с подремывающим в кресле милиционером, ничего не спросившим, поднялись на второй этаж. Не то что стесненной себя чувствовала она, но ведь смотрины, что ни говори, у лучшего и, как кажется, вообще единственного друга, так

на вопрос ее и сказал полчаса назад: «Да один, считай, других-то стоящих и...» Тем более известный такой; но на это было чем успокоить себя: свой же, сельский, мать у него, оказывается, в Заполье живет, хоть в соседнем районе, а недалеко.

Алексей без стука толкнул одну из дверей в темном коридоре, пропустил ее вперед.

Из-за стола оглянулся на нее, торопливо встал парень в расстегнутой по жару чуть не до пупа рубашке, колупнул одну пуговицу, другую. Большеглазый, с темными, сейчас, в работе, беспорядочными волосами, с залегшей уже на лбу морщинкой вертикальной, думающей, симпатичный, пожалуй, – Ваня и Ваня... И она тотчас вернула уверенность себе, даже улыбнулась слегка его растерянности, так он глядел...

– Что, не узнаешь? – за руку здороваясь с ним, сказал Алексей. – Своих надо знать в лицо... Люба моя.

– Иван... Мне говорил о вас Алексей...

– Петрович, подсказываю... Хватит тебе чайные церемонии разводить! Да и некогда нам, десять минут на все про все. Уборка у меня – может, слышал? Фамилию свою мне оправдывать надо.

– Тогда – кофейку? – И включил чайник пластиковый белый, новомодный. – Да садитесь...

– Что, тоже в выходные приходится? – с улыбкой сказала она ему, и он засмотрелся на нее, не сразу отвел глаза:

– Да вот, круглый год пашем-сеем, а убирать нечего. – И оправился вроде, улыбнулся тоже – открыто, малость будто удивившись себе. – А к кофе у меня сахар только, не взыщите... не рассчитывал на красавиц. В казенщине в этой...

И маленький кабинет свой одноместный, накуренный, несмотря на открытую фрамугу, обвел хозяйской уже рукой, пренебрежительной.

– Нет, школа какова?! – кивнул ей Леша на него, усмехнулся. – Сразу под уздцы!.. За своей конюшней смотри. – Папку, с собой прихваченную, расстегнул. – Так, по делу... Вот материал, какой обещал... всякое там, сам разберешься. Не маленький. А это программа краткая областной нашей организации. Независимой, повторяю, ни от какой там московской, от генерала этого... И юридически, и идейно, само собой, – сами с усами.

– Значит, все-таки Русский национальный собор?.. Н-да. Церковным все равно тянет, свечками. Просфорками. Народ, так сказать, не поймет.

– Ну, не тебе, нехристю, судить... Займись, Люб, – показал он глазами на поднос с чашками, на закипающий чайник. – А мог бы вроде знать: собор – учреждение политическое тоже. Не меньше, чем церковное.

– Да наслышаны, начитаны, нахватаны... – Иван смотрел, как насыпает она в чашки кофе; а когда до сахара дошло, показал ей палец – одну ложечку – и подмигнул, совсем по-свойски, и она с понимающей улыбкой прикрыла глаза. – Вся власть соборам!..

– Что это вы там... семафорите? Да, собору!

– А где ж большая программа, развернутая? Тут же одни лозунги только. Речевки, гляжу. Слоганы. Дацзыбао – на стенку в туалетах.

– Не закончили еще. Третье обсуждение будет.

– Та-ак... Москву единогласно сдали, до Тарутино не добрались... Что-то не то у нас по дороге.

– Да вот такие чистоплюи, как ты. С водкой, с марафетом... с оптимистичным анализом на год две тыщи

десятый. А мы там уже. Организацию сколотили, рабочую. Действующую!

Она с удивлением и уж тревогой слушала спор этот, новое это совершенно для нее... не хватало еще поссориться им, тем более при ней. И серый проблеск этот в его прищуре ничего хорошего не обещает:

– «Слоганы»... Разуи глаза. Это система политических мер, ни одной щели для воров. Ни одной запятой лишней, прочитай на досуге... Ладно, кофеек пьем.

Ну, слава Богу... Она перекрестилась даже про себя; а Иван как ни в чем не бывало попивает уже – привык давно, верно, ко всем таким Лешиным резкостям, выразительные глаза его ироничны, если не сказать – ядовиты:

– Это – на бумаге. Эрстэ колоннэ марширт... А реальных средств у вас и на четверть этих пунктов не хватит, даже если политически выживете. А сдохнуть ныне просто, в русском этом словесном угаре... утречком не достучатся соседи, люди добрые.

– Будут реальные. На то и собрались.

– Соборовались... Ладно так ладно. Так вы что сейчас и как? Куда?

– С Непалимовки мы, – сказал она, по возможности весело. – Завезет меня Леша – и назад.

– Эх, жалость какая! А то пошли б сейчас в кафешку, где потише, поуютней...

– Кафешантанщик, я ж говорю!

Так вот оно и есть, в кафе уютней ему, похоже, чем дома... И как-то жалко его стало, ясноглазого: напоролся с маху, видно, на какую-то, а теперь вот пятый угол ищет.

– О чем маракуешь-то? – Алексей постучал пальцем по боковине пишущей машинки. – Хоть по делу?

– А-а... О женщинах, вестимо, о ком еще, – заулыбался было тот, но тут же и покривился, серьезным стал. – Мало хорошего. Продают нашу женщину на всех углах – и если бы в рекламе только, в порнухе. И в бардаки, и на запчасти... Тут не столько даже деньги, тут глубже задумано: сломать нам воспроизводство, говоря грубо. Деторожденье. Кастрировать хотят, стерилизовать – психологически. И по всему фронту ломают, сволочи, брагу жизни, березовый сок ее на самогон перегоняют, на секс... Я на этих гляжу, какие заправляют всем, при должностях, солидность уже нагнали на себя... они что, мальчики? Иль вправду бесы – с рожками? Основу жизни взламывают – и думают, что в стороне от этого останутся, с рук им сойдет... я поражаться устал! – Он разозлился, осунулся, скулы выступили; и ей больше говорил, чем Алексею, еще шире глаза раскрыл, гневно дрожал губами: – И всерьез ведь рассчитывает вся эта шелупонь демократическая, что лично у них все и везде в борделе этом всеобщем цивилизованно будет, тип-топ... ломай жизнь, на дыбу ее подвешивай – и хорошо живи! В особняках своих живи, со всем барахлом награбленным, мародерским, детей даже люби своих, ублажай чем можно!..

– Ничего у них не получится, – сказала она, чтоб успокоить ли, смягчить как-то его. – Зверинец получится, если без... идеала хоть какого-нибудь. Ну, без любви.

С некоторым усилием выговорила она это, про идеал, но другого подходящего, не такого громкого слова не нашлось.

– Вот!.. – приткнул он пальцем, глянул быстро на нее, удивленно будто. – Короче не скажешь! И точней.

– Ну, и родили бы, с Ларисой.

Алексей вполне серьезно это сказал, без всякой подначки, и она про себя согласилась с ним: а в самом бы деле. Может, кое-каких проблем и не стало б... другие появились бы, к жизни поближе, шутка ли – ребенок...

– Кандидатскую она хочет родить... – поскущел Базанов, и ей показалось, что сожаленья в голосе его не так уж много. – Никогда не пишите кандидатской, Люба.

– Вот уж не собираюсь, – засмеялась она, переглянувшись с Лешей. – А у нас – ну, на мелькрупозаводе, – могли бы некоторые. Как, например, фуражное зерно народу скормливать, американское... Хоть садись и пиши.

– А-а, это в городах наших, по востоку? – тут же сообразил, вспомнил он.

– Да уж и тут пошло, то же... Замазка, а не хлеб. Не пропечешь.

– Так это от вас? Точно?

– С мелькомбината, ну а потом от нас. За другие мельницы не скажу, не знаю.

– Из наших писал собкор один, по востоку, а концов не нашел – все виноваты, минсельхоз первый! А достань его. Этим особо подзанияться бы, мерзости кругом... не успеваю, понимаете?!

– Ну, обо всем не перетолкуешь, – поднялся Алексей, сделал руку кренделем, и она с готовностью, с охотой пристроилась к ней. – Оставайся, несчастный! Позвоню. Ларисе нижайшее... скажи: после уборки в гости будем. Всерьез, бутербродами не отделается.

– Ни одного не будет! – клятвенно пообещал Иван. – Провожу-ка вас...

– Еще чего. Сиди, мысли.

Лестницы дождавшись, сердито выговорила ему:

– Ну, зачем ты это, про бутерброды?! Нельзя ж так!

– Ничего, для профилактики. Он сам давится... по горло сыт ими.

– А интересный. Неплохой...

– Плохих не держим.

Только дома – чем-то странным немного показался ей теперь дом этот, совсем уж временный, – обнаружила она, что одной сумкой больше выгрузили они из багажника и принесли, синей, незнакомой.

– А эта?..

– Да со склада кое-что выписал... мясо там, копченка, то-се. – И усмехнулся: – Взялся за гуж – не говори, что не муж... Ешь, не экономь. И – поехал я, Люба, с трассы к комбайнам сразу. Старье ж, встанут – он меня к стенке поставит, Вековищев. И будет прав, сам поставил бы... затынем к дождям – на одной горючке обанкротимся. – Обнял, улыбнулся в самое лицо ей, близко: – Ох, заскочу как-нибудь – на ночку!..

– Ног же таскать не будешь, милый... – почему-то шепотом сказала она ему, стала целовать лицо. – Успеется...

– Да?! Может, до пенсии отложить прикажешь?..

14.

Вагоны с турецким зерном еще в субботу стали поступать; и уже отобранные дежурной лаборанткой пробы в анализ девам запустив, она пошла на планерку. Кваснев добродушен был, мало того – весел: большую партию муки из новоорлеанского зерна удалось толкнуть военным – гора с плеч... Остатки же как-нибудь рассуем, дескать, не впервой; а теперь, братцы, турецкую начнем молоть, с ней долгонько нам придется занимать-

ся, поступление велико... как там с анализом, как пшеничка? Она пожала плечами: чего спрашивать, знает же, что к анализам только приступили, - и на часики глянула, демонстративно... Ну, не к спеху, лаборатория – разведка наша, с ней разговор особой (какой такой? – насторожилась было она); а нам с разгрузкой теперь не медлить, простой прямиком из нашего кармана, трехсменка чтоб железная! Так, а наш главный мельник где? Не ты – сиди, не ты; бухгалтерия у нас главная мельница, там все мелется...

Посмеялись, кто с угодой, кто ехидно, своим чередом шла планерка.

Возвращалась из конторы, думала: может, Павлику с детьми этот хлеб пойдет, достанется... один это военный округ, нет? Да все они наши. И вспомнила: у них же армия ракетная, отдельная, в прошлом году приезжали семьей, Вера тогда еще хвалилась, еще довольна была: городок хороший, все есть... ну, денег не хватает – а когда их хватало? А отец спрашивал: что, прямо на Америку? И ее тоже, стерву, на прицеле держим, посмеивался Павлик, а то разлобанилась – мир под себя подмять... По кумполу еще не получала, вот и бесится. И Леша что-то такое говорил тоже – в тот их день... Господи, в организации он еще этой, не подпольной, конечно, православной, это-то она поняла, но против власти же. А от нее всего ждать можно, от дурной. Фронтовиков бить – это ж доказаться надо, озвереть, алкашу этому с компанией, видно, все нипочем. А теперь с этим самым Верховным Советом сцепился, и до чего дойдем, доедем – никто не знает...

«Свежачку не хотите?..» – встретила ее Людмила Викторовна, и по лицу ее, по непривычному молчанию девок она поняла, что случилось нечто, нерядовое...

А та сыпнула в электромельничку полгорсти зерна, на десяток секунд включила, не больше, крышку открыла: «На дегустацию прошу...» Она наклонилась, в размол вглядываясь, и солодовый и вместе затхлый запах почувствовала сразу же. Понюхала ближе – разит, подняла голову: «И... по скольким вагонам?» – «По семи. Ну, в одном еще ничего...» – «А клейковина?» – «Моем, – отозвалась Нинок от раковины, с засученными рукавами привычно полоскалась там в чашке. – По содержанию? Так себе, есть кой-какая. А качество... Попробуй. Как сиськи у старухи». Кто-то хихикнул, даже Людмила Викторовна слабо улыбнулась – но скорбно, радоваться было нечему. Она помяла свежееотмытый из размолы катышек клейковины, дряблый, несколько раз попробовала на растяжение и разрыв – в руках расплывается, ни к черту. А это ведь – белок, главное для человека, что есть в зерне, в хлебе, между народами войны за белок идут, так и называются, невидимые, неслышные... вот она, война. И с новыми, и со старыми орлеанами – со всеми, а мы вороним... «Ошиблись турки, - ухмыльнулась Натали, - это надо на ликеро-водочный сразу гнать. Ох и спиртяга будет!..»

«Не ошиблись... – сказала она; а объяснять им, что на вырученные деньги те же турки могут раза в полтора больше нашего хорошего зерна купить и почти задаром хлебушек наш есть, ни времени, ни охоты не было сейчас, потом растолкует. Все нам растолковывать надо, сами не думаем – разучились, что ли? Да нет же, хуже – не хотим! Прямо забастовка какая-то... вот-вот, общенациональная: ни о чем не думать, ни за что не отвечать... – Быстро мне цифирь, процент содержания!..»

Зачерпнула из ведерка зерно, глянула – не мелкое, чи-

стое, внешне не придерешься, к зародышам только если приглядеться... А историю его не глядя можно рассказать: где-то на складах лежало или в элеваторных силосах, сыроватое, самосогревание пошло – и, по всему судя, сильное, яйца печь можно было в нем, зерне, прорасти начало, плесневеть; пропустили через сушилку, на решетках подработали, протрясли и – нам, дуракам... Правда, через подонков наших, какие о качестве его реальном ну просто не могли не знать, а подмахнули контракт, пропустили. Ну, и через тех, которые примут, – через нас...

Образцы размола и клейковины, данные прикидочного анализа захватила – и в бухгалтерию прежде, сопроводительные документы глянуть. Так и есть, даже и по содержанию белка обманывают, туфту гонят, разнос данных до трех почти процентов, но к этому-то не привыкать, научила Америка; а что касалось качества, то была там, в сопроводилке, самая откровенная... не знаешь, как и назвать ее. Не ложь даже, нет – лажа, и это в государственной бумаге, сертификате!..

Секретарша поверх очков глянула: «Уехал». – «Как... когда? И скоро будет?» – «Не докладывал». – «Но будет? Мне по срочному очень делу!» – «Я же, кажется, вам сказала... вы что, неадекватно реагируете?» – «Вполне, – успокоила она ее, а у самой, почувствовала, лицо стянулось от злости. – А вы сами как, не пробовали, случайно, не проверялись? На годность к делу, к своему?..» И времени на ответ не дала, вышла, аккуратно так, не торопясь, дверь прикрыла... получила, стержовоза?! Но отношения окончательно уже, навек испорчены – на короткий, слава Богу, век...

Досада велика была: вроде только что машина его у крыльца стояла... Сказали о Квасневе двое рабочих с

мельницы, белобровые, в изморози мучной, под грибом кутившие у врытой бочки с водой:

– Да вот же, сейчас и поскакал, с черным с этим... на объект свой, куда еще! – А другой добавил: – Это вам не долгострой советский... Помнишь, Никол, шестой цех сколько строили? А дом на Шанхае?..

И теперь только поняла, без горячки, задним умом: и хорошо, что не застала, и зря лаялась с дурой этой некондиционной. Ты что ж, в самом деле думаешь, что он не знает, какой товар получил? Да с первой минуты, как нос в мельничку сунула, все понятным стало, только не верилось еще, что вот так вот – спроста, обыденно – вся пакость у нас и творится... И еще доказать что-то ему хотелось или убедить, показать... Господи, что?! И, главное, кому? Он сейчас небось в перспективах весь, еще этаж надстроить решает на своей ударной стройке капитализма – а тут ты, сопливка, бумажками трясеешь, возмущаешься, понюхать предлагаешь... А то не знает он, чем там пахнет. Чуть не нарвалась. И, выходит, права та, некондиционная: не так реагируешь. Не по-умному.

А как? По уму если – как, когда безумье творится, дичь непроходимая кругом, и все так поставлено, кажется, чтоб даже не думал никто по уму делать, не смел?.. Соломатин, бедный, теперь в гробу переворачивается; и все, чему учил он вас, уже не нужно никому, и слова его, материализм тот немножко смешной, старомодный: «Запомните отныне: вы – борцы за белок!» – иначе как с юмором и не примут сегодня... другой пошел материализм.

На лавочку присела, в единственном на всей территории живом уголке, ими устроенном между одноэтажной лаборатории и забором: две молодые чахлые, сколько ни поливай, березки, насквозь пропыленные, клумба

ноготков, все той же пылью мучной припудренная, на всем тут лежит она, все кроет... там дом ее ждет, свой, неустроенный еще, а она тут. И ничего она не изменит с этим здесь, внутри, – только если наружу сор выносить. И не к начальству всякому стучаться, не к властям, хоть и к областным даже, – бесполезно, она знает, все там схвачено давно... К Базанову? Но что сделать он может, если такая машина запущена, махина, когда десятки вагонов уже на подходе, разгружаются в три смены, назад-то не повернешь их, невозможно, и все расписано вперед? Пока шум подымет – вся партия тут уж будет, в элеваторе... что толку?

Леши нет, он-то рассудил бы, нашел выход, хотя бы для нее.

Но сейчас самой надо, и что решить она может, слабая, без всяких прав, считай, целиком директору подчиненная? Только по обязанностям делать все – по должностным, иного ей не остается. На рекламациях настаивать, на арбитраже – и письменно все, под копирку; а докладную прямо сейчас надо сесть и написать, самую подробную. Побольше их, докладных по этому делу, и с регистрацией у очкастой... у очковой той, мало ль чем обернется. И пусть читает, нюхает свое – официально.

А как плюнуть хочется на все на это, заявление написать и домой уехать через две недели положенные – а нельзя... Но почему – нельзя? И не знает, как ответить себе на это. Рано? Да примут отец-мать, и Леша примет, поймут, не за стаж держаться же, да и найдется ей что-нибудь на первое время, найдут, без работы не останется... Но не надо, нельзя до поры, заторно. По всем вместе причинам нельзя, а по каким – она разбирать их даже не хочет, копать в них... скажут – прибежала. А ей бегать

незачем, не лишенка. Крестная всегда так говорит: я что вам, лишенка?!

– Это... что такое это?!

Кваснев, когда под вечер по вызову вошла она в кабинет его, вскочил чуть не по-молодому из кресла, бумагой потряс, бросил ее на стол. И она забоялась прежде, чем в бумаге свою докладную узнала, – так он разъярен был или, может, возбужден.

– Что есть, – только и могла сказать она.

– Вы должны были немедленно найти меня, вы понимаете – немедленно! Везде!.. Эт-то черт знает что вообще!

– Вы с прорабом уехали, чуть не застала...

– С каким еще... прорабом? – сбился было Кваснев, уставясь на нее налитыми злой красниной, неукротимыми глазами, а лицо и вовсе сизо-багровым, потным стало – несмотря на вентилятор, ветром веющий из угла, где не так еще давно переходящие знамена стояли. – Нас режут, вы понимаете?! Ре-жут!..

И она поняла, конечно. По неуловимым каким-то приметам, безотчетно еще, не зря ж эти два с половиной года прошли, и каким, в каких только ситуациях и сценах уже не видела его, шефа, всякую интонацию знает и помнит – не захочешь порой, да запомнишь... Играет же. И успокоилась – как вчера с Иваном, да, хотя несходней не найдешь людей, – и почти весело подумала: не тебе женщин обманывать, хомяк, это ты свою калошу старую дури... хотя она-то уж тебя, наверное, больше чем наизусть знает, скучного.

– Я знал кое-что, да! Знал, что с качеством там не совсем... по дешевке же, прибыль хотел ухватить для заво-

да, в руки же лезет! Ну, оздоровили б там зерно малость, подмол подпустили... но чтоб так?!

– А я искала вас, Николай Иванович... спрашивала! Сверхважно, говорю. А она хамит - вместо ответа. Секретарь ваша.

– Как – хамит? Кто велел?!

– Не знаю... не первый раз уже, не мне одной. И регистрировать отказалась докладную... И ей, и вам прямо говорю: нельзя так, люди же, работа... Я к ней что, по личному делу?! Да хоть бы и по личному...

– Н-ну, я разберусь! – с угрозой хрипнул он, прочистил горло, и эта угроза нарочитая как-то совсем уж не вышла у него. Знали же, видели все, как понравилась недоступность ему своя кабинетная, новая... свои дела завел, так и говорили, усмехались. Те говорили, какие десятка полтора лет с ним проработали и привыкли без стука входить, в мучных капюшонах своих, монтажных подшлемниках... – А сейчас – в министерство звоню... совсем уж они там! Вот так и платимся за правителей наших, за безголовых... Они там политику крутят, высокую, а мы отдувайся!.. Главного ко мне немедленно – бухгалтера, экономиста тоже! – приказал он ей. – А сами к себе идите, вызову... Черт-те что!

– А докладные мои, Николай Иванович... Пусть регистрирует она. Это документ же!

– Да подожди ты с формальщиной своей!..

Слава Богу, антракт. И ни в какую Москву ты звонить не будешь, все созвонено давно. И как глупо, убого все... неужто они и живут так? И на что, как Иван говорил, надеются? Вышла, наткнулась на взгляд секретарши – безличный, никакой... все у той в порядке с нервами, не от-

нимешь. Вот и ей надо в сторону их, нервы, ведь сейчас вызовет – обрабатывать... Самое главное, может, начнется, и все свои доводы надо в кучу собрать, обдумать, и на провокации всякие, на уловки не поддастся бы. Это не ей – им надо выпутываться, вот пусть и...

Девы уже развернутый анализ заканчивали, подсчитывали, лишь в двух из девяти вагонов более-менее сносное зерно было; и только собрала, переписала окончательную цифирь – звонок...

В кабинете все трое были – «особой тройкой эпохи реформ» уже прозванные кем-то, механиком крупцеа, кажется, еще недавно ни одной демтусовки или митинга не пропускал, а теперь материт всех подряд. Отвалился в кресле Кваснев, сумрачный, тяжелый, постукивал по столу щегольской и, наверное, дорогой авторучкой. Как всегда хмуроват был и безучастен бухгалтер-молчун; зато экономистка, готовая на все Антонина, тревожно поглядывала на обоих, дергалась иногда и начинала близоруко перебирать, перекладывать бумаги в раскрытой папке – молодила все еще, очков на людях не надевала. Сухолядая, нервическая, с карандашиком всегда наготове в плотно сжатом костяном кулачке, лишнего при ней лучше не говорить...

Она прошла под их взглядами, положила перед директором листок с данными и не к столу присела, а в сторонку, у стены, за спиной у экономиста. И та завертелась сразу же, стул отодвигать стала, чтоб видеть все близорукими своими, но цепкими гляделками... ну, что ты вертишься, хотелось всегда сказать, чего тебе недостает? Муж есть, двое детей, машина с дачей, любовник – дуралей молодой из того ж крупцеа, зарплата из особой теперь, закрытой ведомости – ну, что еще? Ведь

фантазии не хватит, у рекламы же начнешь занимать...

– Хреновы дела... – сказал наконец Кваснев, ни к кому не обращаясь; но, конечно же, для нее сказал. На листок с данными он даже не глянул. – Хреновы, говорю. Отказывается Москва помочь. Более того, советует не возникать... обстановка не та. Даже приказывает.

– А я все же настаиваю на рекламации. На арбитраже, – твердо, чтоб уж сразу застолбить, сказала она. С фантазией у шефа тоже негусто было: «даже приказывает...» И заготовленное добавила, под наив: – Нас подставили... так ведь? Так?... Ну, а при чем тут мы? Пусть отвечают.

– Вот-вот... Мы посредникам рекламу выставим, те – туркам. На полгода эта бодяга, до морковкина, а у меня контракты на поставку муки, под зерно это... – Кваснев наливался ярью, сизости набирал в лице. – А станция вагонами нашими забита, простой скоро пойдут... нас съедят!

– Ну, арбитраж – сам по себе, а с зерном работать... Неустойку с них взять, выбить... большая будет.

– Когда это бывало? – вскинулась, заерзала Антонина, взмахнула кулачком. – Из них выбьешь!..

А что они от нее-то, собственно, хотят? Чего ждут, глядят? Сами из авантюры гнилой своей выкручивайтесь, умельцы. И отстраненно, холодно пожала плечами:

– Захотеть – никуда не денутся...

– Самим, – разомкнул наконец тяжелые губы главбух. – Самим утрясать все надо. Неустойку в мельницу не пустишь. Количесвом маневрировать, качеством...

– Вот именно! И другого пути нам, понимаешь, не оставили, – Кваснев, как будто решение найдя, хлопнул короткопалой лапой по листку ее. – Да, утрясать! Через два дня в мельницы запустим зерно... и с качеством –

да! – утрясать надо. Корректировать. – И в упор ее спросил, глядя требовательно и вместе настороженно: – Вы готовы к этому?..

Понятно давно, кого им надо: своего человека на качестве, мухлевать готового по приказу. Временно своего – потому что при первом же случае, крупном провале махинации сдаст его «особая тройка», на минуту не задумается. Крайним сделает. А мы наивняшки, мы ничего не понимаем.

– Так анализ, Николай Иванович, он и есть анализ... – И пересилила себя, улыбнуться заставила. – Его ж не подделаешь. Он на двух концах, у нас и у потребителя тоже...

– Это мы и без вас знаем, – уже не настороженно, нет – злобно смотрит он на нее, уловкой ее разозлен... вот тебе и добродушие, глупышка, и отходчивость. – Разберемся как-нибудь с потребителями. У нас с поставщиком проблема!

– Так, а если... – вдруг озарило будто бы Антонину; всем бюстом, гордостью единственной и чрез всякую меру подтянутой вверх, к ней крутнулась, обрадовала: – Если оприходовать по... сертификату прямо?! По сопроводительным показателям? А что?! – и на других оглянулась – Риску не сказать, чтобы...

Вот он, пункт назначения, напряглась она. Приехали. Козла отпущенья им срочно... козу. На всякий такой маленький пожарный случай, на инспекцию залетную. Тоже мне, нашли идею... И не им отвечай, не им, те умные и добрые дяди молчат, – а ей, доброхотке:

– Нас один раз подставили – так? – а теперь мы сами еще должны подставиться?... Вы что, Антонина Васильевна?! Это ж вы ничем не рискуете, вы. А мы с Ни-

колаем Иванычем – всем. Мы не волшебники: из сырья для ликерки делать конфетку... Вы ведь не дадите никаких гарантий – и правильно сделаете. И вы не дадите, и мы не примем. – И решила до конца сказать, момент удобный: – Я уж точно.

– Ну-ну, не преувеличивайте... – Это опять главбух, рокочет успокаивающе, но в глаза не глядит, хотя обычно-то скорее злоупотребляет этим – тяжелый у него взгляд, люди как-то теряются, а это ему по нраву. – И насчет гарантий можно поговорить, подумать... о возмещении, так сказать. Варианты же есть.

А роли, как роли распределили, сволочи, - прессовать начнут? И страх, и злость теснят друг друга в груди, поочередно... а зачем – бояться? Это они думают, что зажали ее в угол, – ну и пусть думают пока. Без Леши – вот когда тяжело было б... А она свободна теперь, ей повезло, в случае чего – заявление на стол, и оставайтесь вы тут в кабинете своем, крысятнике этом... Как никогда, старожилы говорят, крыс на заводе развелось, девы ее, да и сама она, уже побаиваются на склады ходить, в нижние галереи элеватора особенно, слесарей просят для сопровождения... время такое, что ли?

– Нет, какие гарантии... – говорит она и опять пытается улыбнуться им, всем, не раз помогала ей улыбка среди людей... ну, теперь-то навряд ли. – Их для меня и... быть не может, сами ж понимаете. – И шутит, вроде как извинительно: – Свобода дороже!..

И шеф поднимает глаза наконец, смотрит тяжело и безразлично теперь:

– Будет тебе свобода, будет... Иди.

– Но, Николай Иваныч...

– Идите, говорю.

Они что ж, совсем уж за дуру принимали ее, что ли? Теперь не будут, но от этого не легче никак – скорее наоборот. Кандидатка на выкидыш, ясней некуда пригрозил, да черт-то с ними; но неужели так просто думали они всю махинацию эту провернуть, подделкой качества элементарной? В голове не уместается: две с половиной тысячи тонн зерна фальсифицировать... Хлеба насущного, своим же, от детишек до стариков, уж сколько их попрошайничает у булочных, копейки наскребает на него, бумажки рваные. «Своим...»

Непонятным тут был бы риск, слишком уж велик, инспекция такие большие партии всегда, считай, проверяет, американскую проверила же, – если б не знала она о приятельстве Кваснева с главным инспектором хлебным. И совершенно случайно узнала, когда весной на дачу ему документы затребованные возила: дальше калитки не пришлось идти, поясняла бумаги шефу, видя там, под зеленеющими, кое-где бутончики выбросившими яблонями, стол накрытый, курящийся запахами мангал и его, инспектора, у шампуров – сегодшневого, умного такого всегда, ироничного, он ей многим нравился... Видно, не хватило иронии. Потому до сих пор не слышно о результатах проверки, никаких тебе оргвыводов и рекламаций, хотя раньше-то не меньше чем скандалом обернулось бы такое, всесветным. Да и Антонина, истеричка эта, – знала, что говорила, о риске...

Вот и весь расчет их, по всему судя. И, значит, жди назавтра... Жди, что надумают они там: принуждать тебя, ломать или вовсе, может, уволят без всякого... ну, с этим-то потрудней, в числе лучших в городе лаборатория, чайный сервис в январе сам вручал, добрячок...

Слишком веришь некоторым, не в первый уж раз – и сколько учить тебя, глупую?!

А не будь и Леши – все равно бы увольняться пришлось, не для нее это. Хватит с них и Тоньки.

Она не боится очень-то, но противно же и страшно, как в руках чьих-то, которые мнут тебя и ломают, мерзкие, а ты слаба, ты не можешь ничего... Девчата спрашивают: ну, как?.. «Плохо, как еще...» – отмахивается она, проходит в кабинетик свой. Сидит бесцельно за столом, без мыслей вроде; достает потом чистый лист, пишет заявление, по собственному, – пусть в сумочке будет, места не пролежит. И, не дописав еще, рвет его ожесточенно, бедная бумага.

Не удержалась все-таки вечером, поплакала немного и, может, потому уснула скоро. И сон был как в утешенье – глубокий, но с чем-то хорошим там, в глубине своей, легким, и она все утро хотела вспомнить его, разгадать призывное то и ждущее ее там, давно обещанное...

На планерке о лаборатории ни слова сказано не было, как нет ее. Она смотрела на Кваснева, бугрившегося за столом, на сизо выбритое, но будто отекшее ныне лицо, на толстые короткие, несколько суетливые всегда пальцы, вертевшие авторучку, то катавшие, то на попа ее ставившие, и думала – как мог бы, наверное, Леша думать: а кто ты, собственно, такой-то? Мельник, к делу приставленный. Зерно для людей молоть, крупной всякой обеспечивать. Доверили тебе, а ты? Много взял, и не на себя, нет, – себе, вот и все. Лишняя честь – тебя бояться, ты сам-то, небось, дергаешься, трухаешься. И она готова сейчас к разговору – к любому.

В приемной остановила ее на выходе секретарша и протянула поверх машинки бумагу, сказала: «Получите...» – с пренебрежением, показалось, с некоей долей злорадства. И глаз, еще более холодных за стеклами модных больших очков, не спускала, пока она читала: приказ, уже?.. На отпуск приказ, с нынешнего дня?! Ну, мудрецы... Три мудреца в одном тазу – или сколько там их было? И улыбнулась мимо нее... на семь с половиной сантиметров мимо пожухлого в пудре, в домодельном макияже лица; в струнку вытянулась, повернулась на каблучках и пошла, как топ-модели ходят, наверное, бедра вниз огладив руками слегка, вызываясь вольно: завидуешь, тетка?! Завидуй!..

На августовское, заметно поумерившее пыл свой солнышко вышла, еще раз глянула в бумагу: «...обязанности по руководству лабораторией передать и.о. Костыркиной Л. В.» Надумали, грамотеи... какое еще «и.о.» при штатной заведующей?! А ведь так и придется Людмиле быть той самой «и.о.». Все рассказать ей, как есть, или побереечь, раньше времени ее не расстраивать? Слабохарактерная, ее даже и уламывать не придется, только растолковать, где и какую цифирь писать... Ну, посмотрим еще, мукоделы.

Костыркина даже за щечки взялась, рот открывала: «Выставили?!» – «Ага. В отпуск. Так что ты их исполнишь уже, обязанности...» Дело-то, впрочем, знает более-менее, не в первый раз исполняет. Не говорить? Тем более что сами все ей скажут, ясней некуда? Но в этом, если ей не сказать ничего, какая-то доля подлости была б – их подлости; и рассказала, коротко совсем, добавила: скорее всего, так... «Я... не хочу», – сказала по-ребячьи Людмила, умоляюще взглянула. «Ну, предложат если

такое – заявление напиши тогда, официально, что права не имеешь подписывать сводные анализа, не «и.о.» ты, а старшая лаборантка по штатам...» Она закивала; но вряд ли напишет, да и ты уверена ли в совете своем? Ни в чем нет уверенности, не дадено. Отнято, верней.

Отпуск оформила на удивление быстро, без всяких проволочек, даже отпускные выдали сразу; главбух, подписав бумажку, буркнул не глядя: «Отдыхайте...» – на что ответила она в меру ироничным «спасибо»... или рассчитывают работать дальше с ней? Или убирают, как помеху, на время? Что-то легко ты, подруга, отделалась – пока...

В магазин сбегала, бутылку крепленого и конфет взяла девам с отпускных, а в киоске газету областную, бывшую партийную, – в приемной телефон Базанова спросить, она ж не знает даже, в каком отделе он. Девчата еще на отборе образцов, несколько вагонов сразу подали, Людмила за угловым столом считает на калькуляторе показатели и заносит их в рабочий журнал – а придется ей, видно, переписывать его, заставят; и она, в мелкий газетный шрифт вглядываясь, набирает приемную: редакция газеты?.. А вы не подскажете телефон корреспондента вашего, Базанова? Да, Ивана Егоровича... Ага, записываю... Как – в командировке? А-а, ну да... В понедельник, скорее всего? А раньше – нет? Спасибо...

Вот так, хочешь не хочешь, а свободна она... Ложная свобода, недоделанная... незаработанная, верней, по облегчению своему торопливому это чувствуешь, мелкому, по готовности оправдаться.

Но формально – свободна. И уж вечером его увидит, на теплую, жестковатую, на широкую плиту груди его щекой ляжет и все расскажет... пожалуется, да, как

плохо и боязно ей одной, а у тех все в руках, ведь все ж им отдали, вору, осталось душу только. Посоветуется, а то ждала она так, чтоб посоветоваться было с кем; и вот есть же наконец-то – и рядом нет... Дом их обихаживать будет, чтоб он возвращался, а все прибрано в нем, у места, приготовлено и на стол подано, умойся только и сядь устало к нему; ну, и хлеб еще нарежь, как водится.

15.

Нагляделась, как у многих начинается, это чем-то вроде моды стало, что ли: голубки голубками, при людях не то что не стесняются, нет, – выказать спешат, выставить, как у них все гладко, сюсюкают... Чтоб через полгода-год из-за пустяков каких-нибудь нелепых вздорить вот так же при всех, ничем себя не стесняя, независимость выставляя свою, друг другу в лицо тыча ею, – от чего, от своего? Тогда уж лучше его не заводить, своего.

Это она от подружки вернулась, от Надьки, раздумалась так, на дворе сидя крылечке, яблочки-ранетки на варенье нарезая в тазик, – второй Спас пришел, мать сказала, яблочный. Ладно бы, в городе, там такое сплошь и рядом, давно инфантильностью назвали это и удивляться уж устали, привыкли, – а здесь-то что делить, куда после вздора этого, раздора идти? На речку разве – на какой и утопиться-то негде. Но и сюда добралось уже, и тут в гордынку играют... А как начинали хорошо. Она от себя не скрывала – и на свадьбе тогда, и после, – что завидует подруге, ничего такого уж плохого в этой зависти и не было, больше сожаленья себе; и вот куда что делось, не чужие даже – враги, промашки малой, словца нечаянного не простят друг другу, она

уж их урезонить пыталась, полушутя: «Тешитесь, да?..» А когда муженек, папироску жуя от раздраженья, вышел покурить во двор, спросила: что, мол, серьезное что у вас?.. «Да ну его... надоел просто!» – это с пузом-то на седьмом месяце. Поглупела больше, чем подурнела, и если две иголки в доме, а нитки ни одной – чем шить-то, в самом деле, сшивать?

На чужое счастье нагладелась – чтоб своему не торопиться верить?

Верить, не верить – это все пустое, не то что понимает вдруг, а давно уже знает она. Делать. Как ни трудно, а делай, хоть даже и молчком, оно само за себя все скажет потом, дело. Как мать, та много не говорит, отцу лишь «пожалится» иной раз – как вечером позавчера. Она из баньки как раз пришла, наскоро ею же протопленной, полотенце и кое-какую мелочь постиранную свою развешивала на бельевой веревке у крыльца, волосы потом расчесывать, сушить принялась, слыша, как разговаривают отец с матерью в летней кухне о том о сем; и уж хотела сказать отцу, с работы недавно вернувшемуся, чтобы шел тоже, дровишек она подбросила для жару, как мать сказала там, с сомнением все: «Как они дюже скоро-то, Вань... Как на дежурству ходит к нему». – «Ну, ей тоже не семнадцать, - с некоторой досадой проговорил отец. – Дудишь об одном... Небось, подумала. Она у нас не зряшная». – «Она-то да...». – «И он – поискать. Хозяин, говорю ж. Ни с кем лук чистить не будет, сказал – и все. С ним и Вековищев не очень-то». – «Вот ить какие вы, отцы... ни пожалиться, ни чево. Все вам ладно да хорошо. Не-е, правду люди гутарют: мать – овца, да лучше отца...»

Вот и она пожаловалась, как приехала, - ему, своему;

как можно разумней все неразумное, подлое это рассказала: что делать-то, Леш? Не в открытую ж идти, писать, в администрацию губернскую или хоть в эти самые... в органы, да и толку-то. Или вовсе не связываться, от греха подальше? Нарвутся же, рано или поздно...

– В открытую? Ну, еще чего... не бабье дело это. Иван, говоришь, до понедельника?

– Наверяд ли раньше, сказали.

– Ладно. Выберу время, может, доскочим до него. Н-ну, придурки русские... сдают народ свой, за гроши. Кидают. Данные какие с собой?

– Господи, да наизусть...

– Ладно, – повторил он. – Что, о переезде думать будем, Любушка?

– Обо всем, родной...

И о зиме думает уже, долгой, варенье вот какое-никакое заготовить надо, помидоров и всякого разного насолить – сразу взялась за это, как приехала, и мать уж, верно, догадывается, к чему дело идет, не дивится такой охоте дочери, помогает как может. Привыкли к тому, что обедает и ужинает она у Алексея; а на этот раз сама решила дать отоспаться ему, хоть часиков пять-шесть – замотался же, еще подсох, кажется, глаз не видно в прищуре, а в руки въелась цепкая машинная грязь. В самый разгар вошла уборка, и что только ни приходится делать ему, за слесаря иной раз, сам же рассказывает, заскакивая на часок к обеду, весь мыслями там, а тут еще и с нею... И уговорила, уладила. Губы шершавы, заветрели, не вот размячишь, усмехается ими: «Я уж и то... Машину загоню в лесопосадку, приткну, минут десять, ну пятнадцать на баранке покемарю – и дальше...»

Он тут пластается за этот хлебушек, а какие-то

ловкачи наглые насмарку все труды хотят пустить, на хоромы свои... вот уж вправду нахлебники! Неужто не поможет Базанов?

Она устала тоже, набегалась, у плиты настоялась за день и пораньше легла сегодня, на девичью свою с панцирной сеткой кровать за дощатой перегородкой. С самого начала, девчонкой-пятиклассницей выбрала себе она место это с окном, когда дом еще только строился, отспорила у Павлика; и отца упросила, чтоб сделал ее окошко створчатым. «Чтоб женишки лазили, да?» – сказал отец, чем очень смутил, но уступил все-таки просьбам, доканючила.

Вечер на исходе давно, душный, последние жары томят степь, увалы ее и поля с незадавшимся житом, село с привядшими, яблочной запашистой прелью исходящими садами, забившуюся под раkitники и коряги речушку. Духота и в доме тоже, зря не закрывали нынче ставни на день; спать не хочется пока, она переворачивается на грудь, лицом в окно, занавеску отводит, толкает створки наружу.

Край неба за черными крышами еще слабо мглился ушедшим светом, дымкой словно подернут, и в ней тонут, превозмочь не в силах, проблески мутных звезд, вязнет даль сама, бескрылая, бессильная. Темны покинутые соловьями тополя, темна под ними и нема осевшая на угол избенка деда Василия, как заброшенная скворечня с трухою памяти вместо гнезда, вместо выветренного временем тепла его, а выводок Бог весть где, безответна жизнь. Лишь дальний перебрех собак, вялый, в молчании этом от земли до смутного, неизвестного в своих предопределениях неба;

лишь охолодевая и будто пыльноватая духота, какая охватывает, безотчетно тревожа, помалу захватывает все, пылью своей проникая всюду, не давая полной грудью вдохнуть.

И давно ли смотрит так, недолго ли – не знает, не помнит, само представление о времени, о соразмерности его как-то потеряв, завязнув неосторожно в длительности этой топкой, никуда не ведущей; и страх ее мгновенный, что – завязла, как промельк пониманья, что времени-то и нет...

Нету, не стало. И в какой момент страха, успевшего еще сердце сжать ей, произошло это и почему – нет смысла спрашивать даже, нет возможности, потому что обесмыслилось и потеряло суть свою все: страх, самое какое-либо понятие времени, сама надобность человеческого вопрошания вообще, и без того бессильного и безответного. Все мертво и незачем стало; на все эта нежилая, выморочная пыль забвения последнего легла, запустенья и беспамятства – на бесцельный ход вещей и дел, на страсти скудельные человеческие и дразги, равно на старые и новые гнезда, заводи их не заводи, все зазря...

Сколько длилось это, немыслимое, и длилось ли вообще – она не могла бы сказать, как и помыслить ранее о таком, невозможном же... Возможном, иначе бы не билось так, не трепыхалось испуганно сердце бессильное и оскорбленное... да, этой пылью холодного небреженья оскорбленное, готовой все ее заветное самое покрыть и упразднить, этой немигающей, мертво глядящей со всех сторон тьмою, ни во что не ставящей не то что желанья-хотения, надежды, но даже и душу ее, единожды проглянувшую на свет и в том не виноватую... Госпо-

ди, помоги! Призреньем не оставь своим и утешеньем, а я все сделаю, постараюсь, не лишенка же!..

И крестится еще подрагивающей рукою, шепча молитву хрескину, унимает себя, отвадить пытаюсь наваждение это вместе с жалкими своими вопросами, бесполезными, все равно не понять, что было это... Замечает невольно, что яблоками еще пахнут руки, и рада отвлечению этому, любому рада, лишь бы сердце унять; и вспоминает, подальше старается выглянуть в окно, ищет вечерницу свою.

Проснулась она от плеска и шума, от перебивчатого топотка дождя по жестяному отливу завалинки – как пробуждалась много-много раз и, когда можно было, засыпала снова, по затылок в одеялко закутавшись, свернувшись сладко, радуясь, что не надо сейчас вот вставать, в отсырелую обувку в сенцах лезть ногами и идти куда-то в слякоть, холодным туманом медлительно колышущуюся водяную взвесь... Проснулась и не вмиг, не сразу, но вспомнила то, вечернее, замерла. Забыть, не думать, не для нее это. Не бабье, да.

Окладной с утра, чуть не в ливень было разошелся дождь, но к обеду выдохся, перестал совсем. Загроможденное тучами, слитно движущееся небо выше стало, просторнее, от края и до края видное теперь в свежем ветряном, очистившемся от пыли воздухе, и она засобиралась к нему: не на полчаса будет, подольше, какая теперь уборка... Но уже и машина его у ворот, сам он под дворовыми окнами проходит, оглядываясь с прищуркой на них, – и она, с утра еще заскучавшая без него, в сенцы выбежала, встретила.

– Бедному Микишке все шишки... отработались. –

Хмуроват был, недоволен – но, видела она, в сторону все это отвел, улыбался уже: – Отдохнула малость от меня?

– Ох, какой мне... сон был – мерзкий, я не знаю!.. – не удержалась пожаловаться, в руках его прячась, передернуло всю; но даже и ему не могла, не смела сказать, что не сон... и как скажешь, что? Явственной, безысходней – и не проснуться от такого, не развеивался скоро, как это с любим, даже самым жутким сном бывает...

– Да?.. – сказал он равнодушно, как о незначущем; но глянул пристально, как-то и странно, пожалуй. – Ну... бывает. Ничего. Как это говорят – страшен сон, да милостив Бог? Со мной же ты... – И глазами смягчился, плечи тиснул ей ладонями – какими же сильными – и притянул ближе к себе, на дверь оглянувшуюся: там шаркала уже на крыльце калошами мать... Поцеловал, боднул скулою в шею, как любил, в ухо куда-то ей, отстранил с улыбкой: – Стой так... Или нет, собирайся.

С вошедшей матерью так же улыбочиво поздоровался, сказал:

– Да вот, забираю... отдаете? Заберу ведь!

– Да-к что ж... – Мать как будто все терялась перед ним, все побаивалась. Оглядела его – в брюках выходных, оказалось, и в куртке из тонкого вельвета, тоже не для поля. – И далеко наладились?

– В город, Леш? К Базанову?

– К Ваньке-то? – посмеивался он. – Не-ет, важней. Нужней. В райсельхоз. Ну, и к моим заглянем...

Вернулись к ужину, в дом свой заскочили на минутку лишь – и то она заставила, вспомнила, что Овчар не кормлен, и так обеспокоилась этим, что даже рассмешила его: «Вот еще... да утром давал! Полну чашку. Ничего,

злей будет!..» – «Утром... А сейчас что?! Он же маленький, наш же...»

Откладывая решенное и уже начатое ими у его родных они не стали, само собой все ускорилося у них – будто подгоняло. Едва присели в горнице, о поездке перемолвились и встрече тамошней, как он поднялся – и она, с заколотившимся сердцем, тоже, рядом с ним... И сказал – просто, как о чем-то само собой разумеющемся; лишь немного было в голосе его от просьбы, когда добавил: благословите, с Божьей помощью. И она повторила за ним, попросила уже: благословите...

Мать встала тяжело, молча, дрожа губами, перекрестила их; и к переднему углу направилась, но она опередила ее, на стул вскочила, торопливей, чем надо, высвободила из полотенца и сняла Спаса, ей передала – и к нему опять, как девочка... Осенила их мать, теперь уже иконою, дала по очереди – ему сначала, потом ей – приложиться к ней, слезу прижмурила:

– Живите согласно, деточки, дай-то вам Бог...

– Да, - сказал и отец, будто першило ему, кашлянул в кулак. – Чтоб, это... не зазорно. Не на год сходитесь.

Перецеловались, с отцом по-мужски он обнялся, наперекрест, - и взволновавшись, и уж с облегчением, разрешилось многое; и опять присели, самое необходимое, может, обговорить: нашим-то? – сказали, а как же, добро получили. Заявление завтра в сельсовет, пока суд да дело... да, пока контора пишет. А венчаться у отца Евгения будем – там, у моих... Церква там хорошая уже, сказала мать; а отец кашлянул опять: так надо-ть бы и это... познакомиться, со сватьями-то. Поглядеть друг на друга. Поглядите, уверил Алексей, дайте срок – привезу сюда; уборка держит. Еще много дел у нас – с пере-

ездом, с работой Любе, с тем-сем. Дел-то? – переспросил отец. А когда их не было, дел; ну, не сироты, поможем. Мать – а, мать? Мы ужинать-то будем нынче?..

Уже спал он, долгой ли близостью утомленный, долгим ли днем, и благодатно тяжела была в забытье рука его на ней; а она, в шею уткнувшись ему, слушая дыханье тихое его, будто совсем пропадающее порой, все переживала день этот... нигде не подвела? Вроде нет. Господи, а как волновалась, входя с ним во дворик низкого и широкого дома их, поднимаясь на терраску, - когда с радостным девчоночьим визгом вылетела младшенькая, Валюшка, и уж кинуться хотела к брату, но ее увидела и будто споткнулась, застыла, глядя зачарованно... И как в низких, сумеречных от зелени под окнами комнатах, в гостиной, кажется, поднялся им навстречу сухонький, со строгим лицом отец его, Петр Федорович, поздоровался сдержанно и потом нет-нет да и взглядывал коротко на нее, оценивающе через похожий, но не такой все-таки, как у Леши, прищур. Пришла со двора откуда-то мать, по фотографии еще понравилась ей, с открытым лицом и глазами, всегда грустноватыми чуть; и уж через часок, что ли, дворик ей показывая с закоулками всякими, остановилась, простосердечно как-то погладила ее по щеке и в нее ж поцеловала, сказала: «Кареглазая ты наша... Лексею верю, плохую не приведет».

Стеснял ее немного отец, конечно; и сами отношения сына с отцом заметно суховаты были, совершенно взрослые. «Он у меня коммунист, железный... свое не сдаст, – серьезно, без тени иронии всякой говорил ей на обратном пути Леша. – Правдолюб. И думать думает, не

упертый, ты не гляди. Аргументов – их с обеих сторон хватает, с красной ли, белой. Это с третьей, от власти, одна лжа воровская, кагальная... на гвалт взять хотят, на глотку. И возьмут – на время...»

«Ну что, скажем? – минуту улучив, спросил Леша. – И твоим тоже, как вернемся... что тянуть-то?» И она согласилась, не было уже смысла тянуть. «Не получилось раньше вас познакомить – ну, ничего, – сказал он им. – Вот вам дочь, а мне жена будет. Давно искали мы друг дружку...» – и на нее посмотрел, спрашивая: так ли? И она лишь улыбнулась ему, им тоже, стесняясь при них поддакивать, притенила глаза. «Нашли – ну и хорошо, – твердо сказал отец. – Мы тоже тебя, дочка, долго ждали... А он ничего, с руками. С головой. – И быстрая наконец, какая-то неожиданная улыбка тронула его сухие губы, глаза, и не без язвительности: – Только зарываться не давай...» – «Как заруюсь, так и откопаюсь, – усмехнулся Алексей; а мать еще с первых слов отца залилась слезами, уткнулась в передник свой – такого же, как в Непалимовке, бабьего фасона, и он только сказал ей: – Ну, мам... ну-ну». И тогда она решилась, присела на корточки к ней, руку ее, грубо загорелую, стала гладить: «Ничего, все хорошо будет... по-людски, мы ж не какие-нибудь. Ничего...»

Счастья пожелали, конечно, а благословить чтоб – такого у хозяина и в заводе не было, в доме ни иконки.

Стол вместе с Анной Ильиничной собирали, готовили – и с Валюшкой, та не отходила от новой сестрички, влюбленно уже глядя, и помогала на удивление сноровко, так же неожиданно неговорливая – с ее-то подвижностью в лице, в глазах серых, матерински больших, и характере... Не скажешь ведь, чтоб стеснялась, за руку ее

даже однажды взяла, сама, так потрогать ей не терпелось, видно, – и она не удержалась тоже, поцеловала ее в свежие щечки, шепнула: «Будем дружить?» – «Ага!...» – жарко выдохнула шепотом тоже Валюшка, глазами сияя; и с великой неохотой, чуть не в слезах отправилась по материнскому приказу искать старшую, где-то в соседях, у подруг...

Нет, как хорошо догадалась она все-таки, еще в городе, подарки им взять, хоть и невесть что, по деньгам: младшей панамку голубенькую из бархатистой какой-то ткани, с цветком искусственным фигуристым, а Татьяна модной модели темные очки. И когда вприпрыжку прибежала Валя, а за ней старшая появилась, высокая, русокосяя и с тонкими чертами, по-девичьи важничая уже, невестясь, – потихоньку, оглянувшись на курящих мужиков, отдала им даренки. Младшая, повизгивая, побежала к матери, а Татьяна сказала чинное «мерси», с наивным любопытством, даже и с ревностью некоей к брату разглядывая ее... ох, наревнуешься еще, девочка, и не к брату, что брат!

А сойдутся они, интересно, родители их, разные такие? Да почему нет, найдется им о чем потолковать, рассудить... о чем? Да все о жизни о той же, неверной, столько в себе всякого таящей – неизвестного, рокового, нам назначенного кем-то, да, во сто лет не рассудишь ее, жизнь, не поймешь.

Плечо затекло, она поворачивается немного, ложится поудобней. А он посапывать начинает кротко, по-детски, и что-то появляется в ней щемяще жалостное к нему, усталому, все ведь на нем на одном... материнское? Губами касается подбородка его, щетинки усов в уголке губ, скулы, будто отмягчевшей, – все сильнее,

несдержанней прижимаясь ими, губами, всю плоть живую, теплую тела его чувствуя, такую податливую теперь, ей подвластную сейчас, послушную, дымком потали, полынка отдающую... теперь можно, теперь он весь ее. Он глубоко вздыхает во сне, обнимает крепче, и она успокаивается; и хорошо, что решила не уходить от него сегодня, остаться, наждалась она его.

16.

Вырваться в город только через неделю удалось, да и то по делам его рабочим. «Уазик» на агропромовской стоянке оставили, Леша в «большую контору» пошел, а она по магазинам ближним, в списке у нее всякого накопилось. Ходила, глядела на суету всю эту уличную, не то чтобы постороннюю ей теперь, нет – просто замечать ее стала больше, хоть немного, да отвыкла, как всегда в отпуске. Накануне и мать спросила: «А город, город-то – не жалко?» – «А што он, город? – это отец пренебрежительно сказал, ответил за нее. – Везде люди живут. Она ж не в доярки. А свою што... свою завсегда подоить можно, был бы корм». Но если б все так просто было...

Базанов ждал; коробку конфет из шкафа достал, бутылку вина и фужеры, клацнул внутренней защелкой двери: «От доноса; это дело, знаете, у нас освящено обычаем, самой историей внутригазетного сыска... У нас-то? О-о, тут такие до сих пор интриги, многоходовки – пальчики оближешь!..» Записывал за нею, черкал в блокноте, потом сказал, ясные глаза поднял:

– Не-ет, соратнички, тут не на одной фальсификации качества бакшиш гребут... ну, категория зерна другая, на этом зело много не поймешь. Я ж агроном все-таки – в запасе. Тут еще какой-то механизм вдовесок, финансо-

вый или... Да вы пейте, Люба. Глядя на вас, и я не пью – а хочу!

– Старый прием – для старых дев... Выпей, конечно, – сказал Леша ей, мигнул, – виноград же гольный. А я кофейком пополошусь. И хватит вам выкатать, не в казарме.

– Я согласен, возразил Лаврецкий!.. Пей, Люб, недурное ж... Или – возвращаюсь – в том, что административным ресурсом нарекли, совсем недавно... этакий эвфемизм шкурничества чиновного, номенклатурного. А вернее, во всех трех этих секторах шукаты трэба. Опять, значит, лезть Ване во все дерьмо это, отворачивать болотники... – И встал неожиданно, по стойке: – Золотарь Ваня Базанов, честь имею!

– Неохота?

– Нету такого слова, Лешк, в лексиконе нашем... Надо. Такова драная романтика дела – в гробу, в мавзолее бы ее видал, навтыяжку!

– Может, еще какие данные нужны? – сказала она. – Я позвоню сейчас нашим – что-то, может, нового...

– А какие?! Остальные – вне вашей... тыща извинений – твоей компетенции. Не тут все варится – там где-то... И на том великое спасибо, на факте. Я их размотаю, сук. Или хоть покусая... Ну, звони.

Пока она звонила, пока радовалась там, колокольчиком звенела Катя, побежала искать потом Людмилу Викторовну, а та, поспешив к телефону и запыхавшись, жаловалась, у тех свой шел разговор:

– ...партия пофигистов, самая у нас массовая. Сверхмассовая. Чтоб сейчас до русского в нашем человеке добраться, достучаться – это великая кровь нужна, великие беды... не разбудишь иначе, знаем мы себя. Ло-

пухнулись исторически, а теперь выправи, попробуй...

– Начинать-то с чего-то надо, – говорил Алексей, глянул отсутствующе на нее – даже на нее... – Национально-освободительную без национализма вести – это ж додуматься!.. В кабинетах, с кондиционерами. Я б теоретиков этих к чеченцам, рабсилой на годок-другой. На выучку, чтоб поняли. Национальное в себе поднять, разбудить, как ты говоришь, – другого у нас нету. И это даже национализмом-то не будет – в европейском его дикарском понятии. У нас – культура, православная, а не цивилизация этой... зелени, баксов этих вонючих.

– А классовая что, не нужна!

– Еще как нужна. И классовая тоже, только с разбором... Они ее, компрадоры, начали – ну, ее они и получают. С национальной войной вместе. Только начинается драка – большая, на десятилетия. Раньше не управимся.

– Резоны есть, хотя... Это ж война, не шуточки. Война.

– Оборонительная. А ты бы как хотел, милоч?!

– Да не милоч я, не телок... – И к ней обернулся – с улыбкой уже слабой, бессознательной сейчас, всякий раз у него возникающей, когда он на нее смотрел, это она уже заметила. Огорчение ли, досаду увидел ее, озабочился: – Что-то еще?

– Еще... Партия такого ж, оттуда же. Из Турции. Три с половиной тысячи тонн... И поступает уже.

– Однако! Разыгрался аппетит!..

– А с качеством то самое, как я и говорила. Заставили Людмилу.

– Нагнули, по-нынешнему... – запустил он руку в волосы, простовато почесал. – Ах, твари, ну до чего настырные! Во вкус вошли, жратеньки захотели. Лады. Ладушки, исходные есть... А вы что, уже?!

– Уже, Вань. Зерновые закончили, а тут кукуруза, сам знаешь, картошка-моркошка всякая. Подсолнечник, на масле будем наличку делать, иначе труба... – За плечи приобнял ее, вставшую тоже, улыбнулся ей вопросительно: ага?.. И она поняла мгновенно, кивнула: ага! – потому что о чем еще мог он так спросить и так улыбнуться, как не о главном. – Ладно, скажем... Поздравить нас можешь – в предварительном, как Вековищев говорит, порядке: заявление мы подали... заявочку.

– Та-ак!.. Вот это – порадовали! – И с энтузиазмом набухал остатками вина фужеры. – За вас! Многая лета! А если осень, то – золотая! Пью!.. И свадьба когда?

– Без нее решили, – сказала она, веря его радости, неподдельной совсем, пусть с балагурством даже. – Посидим со своими, в гости пригласим... Уволиться еще надо, переехать.

– И на венчанье. Это вас касается с Ларисой – в приказном. О сроках поздней.

– Лады-ладушки! А глядитесь вы – если вот этого еще почистить, приодеть... Теперь скажу, теперь уж и можно: а и красива ты, Люб... прямо сердце вынимаешь. И на место, прошу заметить, не возвращаешь.

Она засмеялась, смущенно взглядывая то на него, то на Алексея:

– Так нечестно же, Иван, с женщинами...

– Но, но! – сказал и Алексей, с угрозой. – Базановы эти, казановы... Вот и езди к ним, вози на погляд. Я вот наступчу жене, она тебя образумит.

Никак она не предполагала, что так скоро вернется сюда, в базановский кабинетик этот, – в разгар скандала.

Приехала в последний день отпуска, в общагу только

вещи завезла – и на работу сразу, с заявлением готовым в сумочке. В лаборатории застала только двоих, остальные, по всему судя, на утреннем отборе проб-образцов были; да и Людмила Викторовна, поздоровавшись, торопливо куда-то вышла тотчас, исчезла, не успев как-то остановить – а с ней-то и надо было прежде всего переговорить, узнать, что и как тут теперь... Одна Нинок осталась, серьезная какая-то и потому скучная лицом; и на расспросы ее первые вяло и неопределенно как-то ответив, словно решила вдруг, пачку сигаретную достала, предложила с чего-то: посигаретничаем?.. Это у них, дев табачных, посекретничать значило, и они вышли в уголок свой, под березки. Нинок все поглядывала на нее, а когда на скамейку сели – сказала: «А ты что, правда, что ль, не знаешь?» – «А что я знать должна?» – «Да тут такое заварилось... ты статью-то читала, в областной?» – «Статью? – искренне, считай, удивилась она. – Нет... Я от своих сейчас, из села». – «Скандалез до небес тут! Базанков какой-то написал, дня уж три назад, четыре – ну, все как есть... Теперь и нас, и инспекцию раком хотят поставить, областные животы вмешались – кошмар!.. – Говорила, а сама глядела, пытливо и сочувственно вроде; пососала сигарету, дым вверх выпустила и решила: – Милка тебя сдала... она может».

Она сначала и не поняла будто: какая еще Милка? И уж знала – Костыркина, слабачка... «Как – сдала?» – «А так... видишь, выскочила как?! – Нинок кивнула назад, сторожко оглянулась. – Слышала, что ль, как ты в газету звонила, с писакой с этим балакала... не знаю толком. Кваснев, глядим, вломился к нам, с сикухой этой, Антониной, – как сатана злой, ну и Милка сзади... И на нас: говорила еще завлаб с корреспондентом, звонила?.. слышали что? Он

тут, случаем, не был?.. А мы что знаем... Ну, он орать: что, паршивки, забыли?! А Наташка ему: ты че, дядя, такой невоспитанный? Не похмелился, что ль?.. И дверью хлоп! А он, всамделе, с бодуна такого... – Нинок даже за голову себя схватила, тут же изобразила: – В глаза хоть спички вставляй, рожжа... – Она поискала глазами, с чем бы сравнить, босоножкой по бочке постучала, тоже здесь для окурков полувкопанной, суриком крашенной. – Рожжа как вот эта... эх, что было-о!.. В тот же день прямо – приказ на Наташку, по несоответствию. А она, уж на другой день, трудовую получила книжку, глянула в нее и ржет: а я ж и правда – не соответствую! Как он угадал, дядя гребаный?! Ну и... отметили. Напились».

Надо было чем-то ответить ей, сказать ли; хорошо хоть, что предупредила... «А что там, в статье?» – «Да все, считай, правда... молоток! Про политику там еще – ну, нам она до фени. Да, не сказала: выпечка уж пошла, с хлебзавода! Полгорода плюется, буханку разрежешь – затхлым прет, как от носков... Не, так их и надо, гнид! Орать на нас... мы-то тут при чем?! Набивают животы себе, все им мало. А тебе тут не жить...» – «Не жить», – согласилась она, встала. «Увольняться будешь?» – «А что еще?» – «Да, а Славик-то – звонит! Вы чево это, как в море корабли, что ль?.. Что ему говорить-то?» – «Скажи, что уехала, – не удивилась она. – Насовсем». – «Правда?!» – «Правда. Ну, потом об этом...»

В лабораторию вернулись, все пустую еще, и она тут же номер Ивана набрала – некуда было идти, кроме него... только бы застать. И, слава Богу, на месте оказался, бодрым был, обрадовался: да, конечно и всенепременно, жду!.. На выходе встретила Катю с ведром и щупом в руках, в тревожные, о чем-то умоляющие глаза

заглянула и, поцеловав в лоб, сказала: «Не бойся, девочка моя...» – и ей, и себе это сказала.

Вспору было Натали позавидовать, у той-то трудовая уже на руках... И что ей приготовили, из крысятника? Впервые по-настоящему страшновато стало: вот теперь-то в открытую... Это ж банда, стопчут. По любой же статье, самой худшей, выкинут, и куда она с этим потом – в суд? А главное, наизгаляются, вся она теперь в их руках...

Базанов как-то лихорадочно весел был, хотя заметно осунулся – или ей показалось? Встретил, усадил, кофе навел и перед нею поставил, разом все бумаги сдвинув на столе, место освободив:

– С работы? В курсе теперь? Ну, разворошили мы кодлу эту!.. Рассказывай, что там...

Слушал, глазами блестя, кивал – весь нацеленный на что-то, нетерпеливый, даже и глядел-то мимо словно... и хорошо, все ж была у нее опаска, что балагурить опять начнет, смущать, взглядами этими связывать...

– ...и Людмила эта, – повторила она, – вот уж не думала, что продаст. Говорю же, проблема мне теперь – увольняться...

– Нашла, Люб, чему удивляться, – с усмешкой, пожалуй что и с сожаленьем ей сказал Базанов. – Русские сейчас, как... зайцы, своей же продажностью окружены, морем разлитанным. Самопредательством – каждый, считай, Божий день я с этим нос к носу... В мелком, крупном – во всем! И деда Мазая на нас нету, или хоть дядюшки Джо... одно слово – совки. Что, тоже словцу удивляешься? О-о, тут и оскорбляются, в бутылку лезут – вражеский термин, мол... Да не в термине дело – в диагнозе! А он точен, врагам надо должное отдать: со-

вок – это русский человек времен советской расслабухи, не умеющий и даже не желающий ни думать по-настоящему, ни действовать, иждивенец, только и всего... А раз не хочешь думать сам – значит, верь во все, что тебе мошенники из телятника скажут... приставкой к телевизору будь. Не хочешь политикой заниматься – она сама тогда займется тобой вплотную! Тут рви рубаху, не рви – правда ж! И совки эти на всех уровнях, у демократов-колбасников, кстати, тоже... Меня вот, представь, из-за нашей статьи даже мой шеф не прочь кинуть... – Он говорил это, впрочем, посмеиваясь, как о чем-то привычном и малость забавном. – Да-да, шеф, один из столпов оппозиции номенклатурной, провинциальной нашей – такой на него накат с губернских верхов организовали... Какую-то, Люб, артерию мы им пережали, питательную трубку, а мой не предполагал этого, сразу не смикнул. И хотел уж, истерию позавчера нагнал: не проверено, не факт, то да се – а тут хлебушек в магазины пошел... слышала? – Она кивнула, удивляясь веселому пренебрежению его, вот бы ей так. – Факт пошел! И кинул бы, запросто, как кость коллегам своим бывшим по обкому, – а за мной город!.. Не очень-то и вякают, правда, лопают... нашим терпеньем валенки подшивать, сносу не будет. Но ничего, какой-нибудь протест да организуем! Кстати, вот статья-то, возьми, не читала еще? Мало что раскопать удалось – ну, поставщиков там, посредников; а с остальным глухо, это следственную бригаду надо, с полномочиями... И та, по вопросу по женскому... хотел же тебе дать, отложил. Ага, вот! Почитай, тебе-то надо...

– А с увольнением как, Иван? – чуть не жалобно сказала она; если до такого дошло, то что же с ней сделают,

крайней, без всякой защиты теперь?.. – Посоветуй, топтать же начнут...

– Ах да, это еще... Нет-нет, я понимаю, серьезно это. – Он и вправду понимал – или только что понял, веселости как не бывало; но и сам смотрел на нее с вопросом будто, как бы примеривая ее к тому, что могло там ждать ее, произойти... – Тут одно только: держаться твердо, стойким оловянным солдатиком... С позиции силы, да; пригрозить, что и с американским зерном не кончено еще...

– Ну, мука ушла, ищи ее теперь...

– Да это не задача, и не в том дело... – Опять посмотрел на нее, подольше, все думая, и резко поднялся: – Нет, к черту рецептуры! Одну я туда тебя не отпущу... чересчур много им. Заявление где? Ну, едем тогда. Да, позвонить – на месте ли? Чтоб не маячить там почем зря. Телефон?

Она назвала – с облегчением наконец, все не одной... Как бы ни было там – не одной в этом никак уж не бабьем, действительно, деле, где себя травой чувствовала, на какой сшиблись в схватке великаны, и только странно было думать, что это и она тому причиной тоже...

– Совещанье у него? А надолго? Почему – не должны отвечать, я ж по делу... Ну, это, извините, я ему сам скажу. – Брякнул трубкой, посмотрел с веселым удивлением. – Что там за карга у вас сидит?

И эта веселость, опять вернувшаяся к нему, уверенность его передалась и ей – пусть малой лишь частью, тут и части рада будешь; да и как, в чем уверенным можно быть здесь, до конца?

– Кто, секретарша? Ох и сволочь!.. – искренне сказала она.

По дороге обговорили кое-что: только трудовую,

больше ничего? – и церемониться в приемной Базанов не стал:

– День добрый, девушка! У себя? Один?

– Да, но... – попыталась что-то сказать та, малость опешившая, видно, от «девушки», от появления опальной тоже; но Иван уже затейливо обитую дерматином дверь открыл, пропуская ее вперед, а секретаршу уверил:

– По делу, девушка, по делу...

«Немедленно вернитесь... освободите!..» – взывала та, еще из-за машинки, должно быть, не выпроставшись, на коей печатала что-то; а она тем временем прошла вперед, поздоровалась и, секундой помедлив, села к приставному столу. Кваснев поднял голову от бумаг и не ответил, мутно глядя; и вместо боязни, какая минутой еще назад была все-таки в ней, раздражение накатило, подумала опять: а кто ты, собственно, такой?..

– Я с заявлением, Николай Иванович, – сказала она, положила на стол ему бумагу. – На увольнение.

Но уже не на нее – на Базанова он смотрел, все так же мутно, лишь опытом подсказанное подозрение промелькнуло в глазах, что суть визита не в ней – куда она денется? – а в этом молодом, свободно державшем себя человеке в костюме под модный, несколько распушенный в узле галстук. И вяло махнул короткопалой лапой секретарше, бдительно торчавшей, сверкавшей очками в дверях, и та скрылась тотчас.

– А вы кто? – без выраженья сказал он, удержавшись на всякий случай от грубоватого «такой»... вот так и спрашиваем в этой чужени один другого, и смысла в том никакого, все равно не узнаем.

– Я?... Иваном Егоровичем зовут меня. – Ногой отодвинув стул, он тоже присел к столу. – Базановым.

– А, так это вы...

– Я, а что здесь такого? – пожал плечами Иван. – По работе вот у вас, скажем так. По работе, согласитесь, где только не приходится бывать... А дело мое, если без обстоятельств, касается Любви Ивановны. – Он кивнул на нее, паузу выдержал, глядя бесстрастно, холодно в лоб ему. – Она имеет некоторое, подчеркиваю – некоторое и не главное отношение к хорошо вам изученной, надеюсь, статье. И мы сочли своей обязанностью помочь ей. Чтобы расстались без лишних проблем – и для нее, и для вас.

– А вы кто ей... муж?

– А при чем тут, вообще, личное – муж, деверь? Нет, не муж и не жених, а лицо совершенно официальное. И вы у меня в разработке... и не только у меня, кстати. Найдется нам, думаю, на чем договориться.

– И на чем же?

– Вы подписываете ей это, по собственному, и приказ, трудовую отдаете – без чинений, так сказать, а я... Не трогаю, скажем, тему американского зерна, в статье заявленную как особая. И перспективная, добавлю, – для меня как газетчика, да и для вас тоже, в другом смысле, правда... И вот что, – ладно упрел он, потому что Кваснев губами злобно дернул, намереваясь что-то резкое сказать, даже заорать, может быть, известна была манера эта его базар подымать, когда он чего-либо не понимал, понимать не хотел или в безвыходное попадал... Бабы, да, и как они этого не стесняются, смешными не боятся быть – непонятно... – Сразу давайте уговоримся: я вам отнюдь не угрожаю, просто паскудные эти реалии обходить не собираюсь, говорю, как думаю; а вы мне,

уж будьте любезны, одолженья не делайте... вы-то в этом деле куда больше нас заинтересованы. Несравненно больше!.. – Лицо Базанова, отчужденное до сих пор, теперь жестким стало, каким она даже представить себе не могла бы, и глядел он уже не в лоб, а в глаза тому, избегающие. – И уж договору: мучица, какую военным вы сгешефтмахерили на неизвестных пока условиях, она ж не в космос улетела и солдатики ее в один присест не съели. И здесь возможны интересные варианты, вплоть до депутатского запроса министру обороны – а наших депутатов-коммуняк вы знаете... Прибавлять им популярности – за ваш счет – тоже не в ваших интересах. Связи у меня с ними, кстати, старые, не одно дело сделали. А до суда если дело дойдет, по статье увольнения, – тут и вовсе гласности будет... полные штаны. Уж мы позаботимся.

– А где... гарантии? – Взгляд Кваснева, зорко проглянувший было на него, поверх голов их пошел, за люстру зацепился, по окнам скользнул и остановился на противоположной стене, ожидающий, и она оглянулась невольно: на чем? На портрете цветном, на президентском. – Не вижу.

– Гарантия – это я, – небрежно ткнул себя в галстук Базанов. – Если хотите, и принципы мои. Иначе б ни этим делом, ни другими какими подобными не занимался... я что, работы поспокойней себе не нашел бы, почище? – И вздохнул: – Нашел бы. Так что обойдемся как-нибудь без честного слова.

– А что ж тогда, – промелькнула тень интереса в голосе Кваснева, – на уговор идете?

– А где вы реальную жизнь без компромиссов видели? Хотя бывает, правда: Ованесова помните, дело

горпромстроя? А как не хотели сдавать его!.. Подписывайте, у вас и без того сейчас проблем...

– Она в отпуске еще, – буркнул Кваснев, опять уводя глаза. – Завтра подпишу.

Значит, ждут ее, поняла она, дни считают – до бабьей мести.

– Ну-у, знаете, это как-то и... несерьезно. Вы сами, первый, ставите под сомнение договоренность нашу – зачем? Не вижу смысла. Вы что, добавите или убавите что к ней, без меня? Второй раз я не приду. Да и крайним быть кому, советчикам вашим? – Привстал, дотянулся, подтолкнул к нему бумагу. – Подписывайте. Вы ж не Ованесов.

Кваснев на миг замер; потом быстро и наискось, не читая, начеркал резолюцию, откинул от себя ее заявление, проронив: «В кадры», и глянул на нее – так пусто и одновременно тяжело, что ей почти мучительно стало... что, он так с тяжестью этой и живет? Еще как живет...

Базанов перехватил бумагу, цепко глянул.

– Уж извините – дату, – сказал, отдавая назад ее. – Нынешнюю.

Она не знает, как из тюрьмы люди выходят, – но, видно, вот так, ей казалось, как она сейчас, за ворота раздвижные, механические провожая Базанова...

– Ох, Иван, если б не ты...

– Да не пойдешь с тобой, Лешка меня схарчил бы! – посмеивался тот, еще возбужденный малость. – Одного мужика – свидетеля, вроде тебя, – с полгода волюнили с увольнением, истрепали всего, с прединсульту уже выдрался... не-ет, таким лучше не подставляться. – И покривился тут же, переменялся, он порой быстро менялся и в настроении, она заметила, и в мысли. – Кваснев

ваш – так, шушера даже и в областном масштабе, нагнуть его – не задача. Тут такие монстры есть – не подступишься... не знаешь, с чем и как. Умудряться приходится, кусать, чтоб раскрылись, места уязвимые показали... А, ладно.

– И что, исполнишь... ну, эту свою гарантию? – Ей это даже интересно стало теперь. – Квасневу?

– Конечно, – не задумываясь, как бы даже и беззаботно бросил он. – Не уподобляться же... Считай, жертва фигуры, другого не было нам. И потом, – усмехнулся, глянул быстро он, – хоть отчасти, а блефовал я... Ну, поднял бы шум, с депутатами контакт есть, тут и шеф куда не делся бы; а кроме шума – что?.. Заматают дело вояки – под видом секретности и прочего, там жулья тоже... Отдали честь, так сказать. В военных сейчас все тонет, Люб, в том числе все наши надежды на них последние. Да и был бы действительно министр, хоть какой-никакой, а то так, полудурок, ему эти запросы... Шарага воровская, а не власть. А с турецким – тут шанс есть еще, повоюем... Ты что, остаешься?

– Да оформлять же, дела сдавать...

– Ах, да... Ну, если что – звони. И улыбку, Люба, – улыбку! – Приказывает и сам ей улыбается ясно, что-то, а это-то идет ему. – У них нету такой, не будет!..

На третий день закончилось все с передачей дел, малоприятное, но без каких-либо помех особых – а могли бы всякое навесить, за каждую скрепку отчитывалась бы. Костыркиной ни о чем ни словом, ни намеком, Бог с ней; хотела заведовать – вот и заведуй... А хотела, иначе бы не сдала, смыслу не было; и кто бы знал тогда, откуда они у газеты, сведения эти? И вот как скоро приходится

отвечать: пожелтела вся, глаза то и дело на мокром месте, ее ж, подставную, и таскают сейчас...

Простилась с девами, даже всплакнули. Напоследок спохватилась Нинок, вспомнила: так уезжаешь-то куда? И глаза округлила: к своим, в деревню?! Так с открытым, кажется, ртом и проводила, Катю за плечики приобняв. А что толку, что ты в городе-то, хотелось ей сказать; но на то и прощанье оно, чтоб все, что можно, друг дружке простить, да и в чем уж таком все они тут, в девичнике их малом, виноваты? Разве что перед собой.

17.

Сентябрьская зрелость во всем, везде – в выцветшем, стираном-перестиранном небе, в долгом и дальнем грае стай грачиных, слетков молодых беспокойных, тянущих всяким поздним вечером над городскими припустевшими, суетою как водой промытыми и ею оставленными улицами, куда-то на ночевую тоже, в приглохлости самих вечеров этих. И в ней будто она тоже – еще неполная, может, зрелость, себя как надо не осознавшая, многому предстоит еще сбыться и прошлым тоже стать, прибавиться к ней, – но уже она чувствует ее в себе, и с этим жить, теперь уж всегда.

Но вот прожила же столько – и неужто все, было и сплыло? И перестало быть, жить? На память людскую, по слову крестной, надежа как на ежа, забыли – и как не было... Но почему-то не верится в это, и не по молодости, не по девчоночьим своим надеждам бездумным вчерашним только; иначе, кажется ей, нарушится что-то непоправимо в мире, весь он перекосится в сторону этого самого будущего, непонятного, мутного, как непребродившее сусло, равновесие потеряет и смысл...

что толку жить, не приращивая собою живого, только умершее заменяя? Чего ради мертвое на мертвое громоздить, его и так тут с излишком великим, ночью глянешь на небо – дух перехватывает, душу...

Понимает, конечно же, что неумело совсем думает и, наверное, не так, неправильно, – но само думается, без спросу лезет в голову, и она убыстряет шаг, от тетушки возвращаясь поздним вечером, домой... Нет, в один из закутков сварливого, вечно хлопающего дверьми грязного курятника этого, орущего заемным магнитофонным и собственным, все больше матерным ором, детишками хныкающего и громяющего драками, напролет в себе сжигающего, как в топке какой, изживающего ее, жизнь. И как же пусто в ней теперь, квартире, разве что вещами немногими обозначенной еще как своя средь безмерной этой и безличной, на все посягающей чужени... Шторы задергивает, тычет мимоходом кнопку телевизора и тут же, спохватившись, тычет назад, передергивается невольно, рекламных этих идиотов представив, мало сказать – не любя, но чем-то в себе даже боясь бесстыжести их оголтелой, слишком человеческой – с хряпаньем и смаком – откровенности, какое-то мерзкое там действие нестеснительно творится, какое – сразу и не скажешь.

Все дни эти ждет его, но ни записки в дверях, ни какой иной весточки, заработался ее милый... Уже и выписалась, временный тот ордер бумажкой стал, подлежащей уничтожению, что и сделала на ее глазах комендантша, и от всего, на их языке, открепилась, к чему тут прикреплена была; уже нетерпеливые новые жильцы, молодая и отчего-то малосимпатичная ей парочка, над душой стоят, рулеткой все обмерили, и бой-

кая жена так раскомандовалась, будто ее, жилицы еще, тут вовсе нет, а муж, здоровый лоб, лишь сопли жевал, как Нинок про таких имела обыкновение говорить, покорно поддакивал... Набирала не раз номер Ивана, от него надеясь что-то услышать, договорились ведь на крайний случай через него сообщаться; но и там долгие гудки одни, зовы безответные – в командировке, должно быть; и затосковалось ей.

И понимает: тоска расставания это, припоздалая малость и оттого, может, ощутимая такая, не то что у сверстниц ее иных, лет пять еще назад повыскачивших замуж, в самую-то пору. Понимай не понимай, уговаривай не уговаривай, радости сули впереди, утешенья – она, пока время ее не пройдет, не отступит.

И смирилась с нею, и, забившись в угол дивана, стареньким, до рядна выношенным серым платком пуховым укрывшись, тихо и по-девчоночьи сладко, будто в последний раз, поплакала...

Ходила потом с этим в себе, утишенным и проясневшим, слезами промытым словно, и собирала, складывала в припасенные коробки мелочь всякую, уже решив заняться завтра с утра полными, всего и вся, сборами; а к вечеру, если Леша не приедет, самой в Непалимовку, к нему, нечего ей тут больше ждать. Он и сам, она знает, извелся там весь, что вырваться никак не может к ней, и к Базанову наверняка звонил тоже, не мог не звонить. А домой на ночь только или Овчара покормить, и сам не ест небось, а перехватывает наскоро под навесом на стане полевым, угнувшись в чашку, - и Господи, как она любит его, с темным с этим от усталости и недосыпа, от солнца лицом, с неодобрительным в прищуре проблемном глаз, в пропотелой, десять раз успевшей взмокнуть

и высохнуть рубашке клетчатой... пусть хоть так бы глянул сейчас, неодобрительно, и не сказал бы ничего, она согласна.

И уже засыпая в постели, вдруг чувствует рядом его – всего, угловато-мускулистого, неудобно малость привалившегося к ней, с рукой тяжеловатой, забытой в истоме сна на ее бедре; даже терпкую горчину пота его улавливает – и еще чего-то, привядшего молочая, может, горький выдох, каким исходит напоследок свежая стерня. Будто обнимает, голову его прижимает к груди – и хочет его всею собою, всем, так желает откровенно, до изнеможенья, как никогда...

Наутро сразу принялась за сборы, оставляя лишь то, что на день-другой понадобится, не больше. Так увлеклась, что ни о чем другом не думала, кажется... нет, думала – о том, как в первый, кажется, раз несогласной с ним была. И правильно, что не согласилась вещи, мебелишку ту же сразу к нему везти, до регистрации. Поначалу вроде б и усмехнулся: какая разница, лишняя только работа, мол, без того ее хватает... Не лишняя. Но не стала ему ничего объяснять, ведь и не свое только объяснять – их, общее; лишь сказала: венчанье же... И он хоть не сразу и – показалось, может? – с неудовольствием, но кивнул, без слов. Не то что людям глаза замазать, да и мало кто смотрит теперь на это, а для себя, себе тоже. А если и это, пусть формальное вроде, не делать, что останется тогда? Свезлись-развезлись?

Ей и самой такая свобода не нужна была, лучше бы уж без нее, без этой спешки судьбы, то годами с места не сдвигается, не оказывает ни в чем себя, а то готова в считанные дни, в минуты все решить, наверстать... Нет, страшновата для человека его свобода, ведь не

управляется с нею почти, как-то она думала об этом. Но попробуй скажи сейчас кому-нибудь такое – затопчут, они ж свободные. Отвязанные. А скотина, прости Господи, привязанной должна быть или хоть за какой-нибудь, а огородкой.

Наверное, и над этим думать надо – но не ей, непосильно ей, она-то понимает, тут бы с расставанием-встречей этой, с самым неотложным справиться. Уже к обеду день, а его нет опять, не едет; и все время вчерашнее с нею, неотступное, что почудилось ей, поместилось, когда засыпала, – так отчетливо, въяве, как ни в каком сне не бывает... И то желание – пусть притупилось, заботой отодвинутое, но не оставляет, нет-нет, а напомнимся телу, и тогда впору сесть на пол прямо, откинуться на что придется и закрыть глаза... Всякий знает, наверное, ощущение какое-нибудь навязчивое со сна, весь день потом не отстает, истомит. А еще сказала как-то ему, что, дескать, успеется... не успеается.

Шпагатом упаковочным она тоже запаслась, принялась за книги: протирать их, складывать в стопки и увязывать, набирается их неожиданно много, тяжелые-таки... И полетела к двери, как была – с тряпкой в руках, на звонок, страшась одного: не парочка бы та. Не Славик бы...

В какой раз переступает он порог ее? Всякий раз по-иному, теперь не то что устало, но с заминкой некой, а глаза под выгоревшими, не различишь на лице, бровями непонятно упорны, будто с вопросом каким. Не улыбочивые, но она кидается на шею ему, и он неуверенно как-то, молча обхватывает ее, всю, а она целует жадно и быстро в лицо его, жесткую скулу, в бровку соленую, куда попало.

И тогда он говорит, с хрипотцой – так горло ему сда-

вила, что ли, обнимая, – вполголоса и словно мимо ее, себе или еще кому:

– Все, дошел... не могу без тебя.

И уж попозже малость что-то говорит ей, рассказывает... что ненадолго, да, на часик-полтора, за ним заедут сюда, и завтра грузовик заказан, сам будет с ребятами, так и надо, собирайся, погрузиться-то недолго; а она в лицо ему глядит, в глаза, будто ссиневшие от сдержанной радости, слышит и не слышит, руку его держа и гладя. И что долго так, зачем говорит он все это, думает она, нам же не это, не о том... Недостает терпенья, сама перехватывает губы его на полуслове, под рубашку рукой, мнет плечо его – и в сторону все, потом, после... Сейчас они только, двое, торопливые, жадные до всего друг в друге, ни до чего больше; а время застыло ль, замерло в ожидании чего-то, обещанного же ей давно, сызвеку заповеданного, родового, иль совсем запропало – или скачет бешено, пути не разбирая, не помня о себе, лишь догнать бы заповеданное это, ускользающее, настичь его, успеть, догнать!..

И так ахнула, так зашла – умирает, показалось на мгновение, испуг тенью прошел, стороной: не вдохнуть... Но только стороною; немыслимое благо покрывает ее, топит в бездонности своей или возносит – не понять, и лишь за него одного как-то держится еще она, чтоб не утонуть насовсем, не сгинуть в сияющей этой, верх и низ потерявшей бездне. Из последних сил цепляется, ей кажется, ибо пропасть разверстая, завлекающая эта не блаженства только, но опасности некой полна, безмысленности всеохватной, человеческое изымающей, обезличивающей, – и лишь за него держаться, лишь

с ним вместе быть в безмерности этого блага, не снести иначе его...

Безвременье спустя замечать начинает, замечает она, как руки ей свело – на нем, так притиснула обморочно его к себе, за шею обхватив, прижала, что рукам больно, ему тоже, наверное; и только теперь пугается нового этого, с нею случившегося, с ними.. животно-сладостного, опустошающего до конца, и не то чтоб запретное оно... Заповеданное?

Не додумав и не поняв, вздоха-стона не сдерживая, расцепляет, роняет их обессиленно, руки, смятенной какой-то радостью телесной переполненная, испугом первым обострена только радость эта – и слово откуда-то возникает, незнаемое почти: сподобилась... Того, что предзнанием, что ли, жило давно в ней, о чем подружки вкривь и вкось толковали, болтали, сами не очень-то разумея – о чем... и ни одной ведь среди них настоящей, друга чтоб, и не было у нее, понимает она теперь: так, шушуканье одно, избыток свой девчоночий друг дружке сливали...

Но все остается, живет еще в ней и неуверенность, и будто страх даже – заповеданное? Как повеленье некий изначальный запрет, нечто стыдное, зазорное в себе перешагнуть? Но запрет и стыд эти не отменены вовсе, знает она, были и будут – пусть не здесь, где-то выше человека и принужденней жизни его, но есть, иначе с чего бы стыдился он, прятал так это...

И ради чего все это, Господи? Между запретом и повеленьем – зачем?

Но рядом, но тесней некуда с нею мужчина, муж ее, это смятенье радостное, благо это давший, из недавней тесноты сомнений всяких и страхов выведший; и неж-

ность мучительная к нему подступает в ней, и благодарность, какую не знает она, как выказать и чем, порывисто обнимает опять и часто-часто, истово целует подбородок его, шею, плечи, и он отвечает... Он знает – зачем, не даст пропасть в животно-бездумном том, опустошающем, он к жизни этой страшщей готов, понимает всякие смыслы ее темные и никому тебя не отдаст.

И уж сама знает – зачем: ради них, двоих. Ради третьего, жданочки, кого и не знают пока, но уж любят, самым благом этим любят, не друг друга только. И человеческое лишь в них, троих, а порознь его нету – так, особи...

Она думает это и не думает, лицом прикинув к лицу его, она дышит им, и все, что прошло и что будет, – все в ней, в них.

И тот вечер в ней, второго Спаса ночь. Холодная, как в жилье выморочном, духота ее, немота – и жуть оставленности той, из самой души как тошнота подкатившаяся, безнадежность последняя, даже вопрошанию не подлежащая никакому... Будто изжилось, изнемогло в непотребствах, жестокости и лжи время, упразднилась на какой-то миг, самое себя не в силах вынести, ивосадовыпало, серой пылью пало – нагнездовья старые и новые, на все какие ни есть надежды и заботы людские, благие намеренья просроченные, на тщету их...

И напрасно спрашивать, зачем заводилась тогда с такими усилиями и тратами, с такой мукой жизнь. Пусть и померещилось на миг это страшно неладное в ней – но разве не то же самое и во времени, в растянутой его до вековечного длительности творится? Забвенья и безнадеги и тут с избытком непомерным, непосильным серд-

цу, а умом и вовсе не размыслить... Для чего была и зачем разорена, беспамятством обещана и оскорблена жизнь хоть в избенке напротив, скособоченной теперь, и серая там на всем печаль и пыль? Привезла как-то деду Василию папирос, век же добром соседилась, хоть этим порадовать; вошла в низенькие знакомые двери, где привечали их с Павликом всегда, столько лет не была, – и хоть назад сразу, на воздух, такое запустенье там... А уйдет вслед за бабкой дед, детьми оставленный, считай, детей на съеденье, на беспамятство городам отдавший, – и запропало все, как не было, не назначалось быть. Только, может, кого из сыновей в толчее людской поведет на миг мороком каким-то – почуявшего запах свежескошенного прежде, чем стрекот газонокосилки слышался, вот и все...

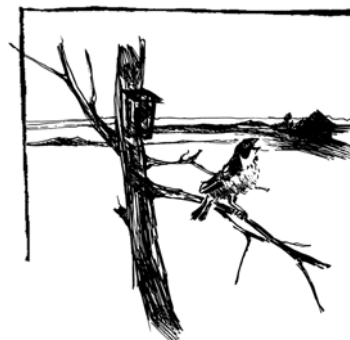
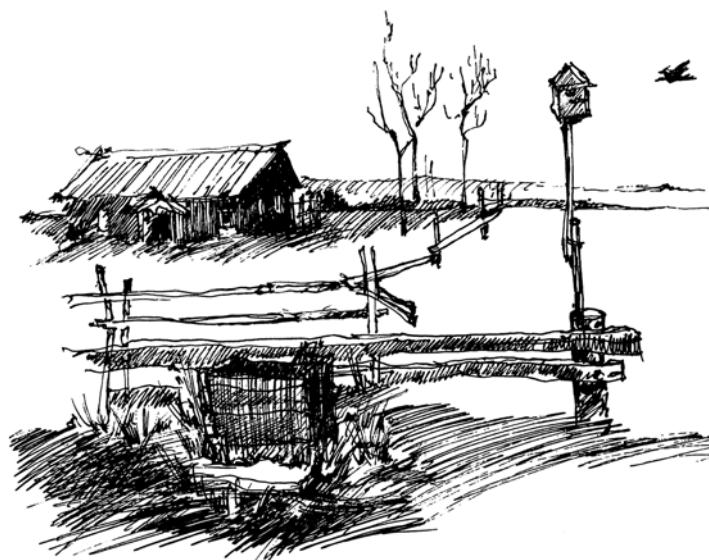
Немыслимое заглянуло сюда, несусветное – прямо в глаза... сломалось, может, что в механике громоздкой вселенской, с равнодушно-размеренного хода шестерен и жерновов перемалывающих сбилось? Или предупреждение какое – обеспамятевшим, совсем уж зарвавшимся в нелепой, в безумной гонке за горизонтом? Утратившим всякую меру человеческого, прощаемого?

Но не ей думать – откуда, спрашивать, отчего это и зачем. В сомненье и тоске, перекрестившись, ищет в безответной сутеми неба звезду свою, вечерницу, – чтоб хоть за что-то зацепиться взглядом, удержаться в разуме и смысле всего. Над темными крышами, их скворечнями и мертво разрогатившимися антеннами ищет, среди изреженных и тусклых первых звезд, ни высоты не оказывающих, на дали; и в черном, почти непроглядном кружеве листвы тополиной, с краю, ловит длинную, остро пронзающую поздние сумерки земли искру ее. Подается

вбок в окошке, еле уже держится на постели на девичьей своей – и вот она, вечерница...

Глядит, и тоска эта, оскорбленность во что-то иное в ней перерастать начинает, еще ей самой не совсем внятное, но какое сильнее всех страхов ее и сомнений, сердце подымает... в надежду? Надежд много у человека, всяких, одна другой неуверенней, несбыточней... Нет, в знание – что все как должно будет, как надо, лишь постараться, перетерпеть счастья и несчастья свои, дожидаться. Да, в горячее уже и властное в ней сейчас – в веру, знанием ставшую и от нее самой, девчонки, не зависящую почти, как не зависит, считай, и любовь ее к человеку, неизвестному до сих пор, но угаданному и уж одним этим единственному, другого не надо. В свет, которым живет и всегда-то жила, сама того не очень разумея раньше, в том и нужды-то, может, не было...

И чем дольше глядит на нее, тем, кажется, ярче разгорается, распускается она, сама собою, светом своим полнясь – и переполняясь, изливаясь на все... Грязный и жестокий мир лежит под нею, человеческий, и сама она мертва там, в своей недоступной дали, и бесплодна – но свет в ней отраженный Божий. Сомненья, страхи – они не уйдут, нет, им быть и быть; но есть свет, ищущий нас, только свет.



Пой,
скворушка,
пой

Не задалась весна, будто по какой-то кривой обошла, объехала эти места. Уже и сроки ее на исход шли, весны апрельской, больше всего когда-то Василию желанной, еще с парнишек; но ни тепла того, леденистого еще, хрупающего утренней легкой изморозью, не передаваемо свежего в робости первой, ребячьей своей, ни света ее особенного, в красноталах играющего, высветляющего все в тебе, все надежды, позаброшенные за давностью и тягостью лет, – ничего этого толком не означилось почти или было частью упущено, может, им за суетою, за делами, которые наваливает на хозяина сельского подворья всякое межсезонье.

А март раскислил было снега, задолго до положенного ему на то времени проталины объявил, оголил многдумные лбы обступивших село невысоких степных взгорий. Но потом морозцы пошли, один другого вздорней, не отпускающие даже в полдни, тот самый подкузьмил марток – наденешь двое порток; и тянулись они, сбавляя помалу, чуть не до середины апреля, а следом ветра поднялись холодные, все больше восточные, хмарь всякую неся, невидя как сгоняя недужный уже

снег, малой куда-то расточая влагой его, по овражкам, неговорливым нынче, по логам сочащимся спроваживая, – не видели воды.

Он поселился здесь, в доме отцовском полузаброшенном, еще накануне Масленицы, больше ему негде было и нечем жить. К сестре Раисе в город лишь проездом заглянул поутру, ключи взять; побрился с четырех почти суток дороги, перекусил, чайком пополоскался, говорить не хотелось ни о чем, хотя лет уже семь, если не все восемь, как не виделись: ну, написал же все в письме... лучше по делу давай. А что – дело? – вздохнула скорбно сестра: вернулся – ну и живи, раз так, избу все равно никто нашу не берет, некому. Глухой самый угол – Шишай наш, разбегается уже. Собирался было там один беженец купить, нюхал ходил, приценился, я уж и цену до скольких раз сбавляла, по-Божески – нет, не собрался что-то.

«А я и сам-то кто?...» – сказал Василий и впервые, может, за всю встречу раздвинул в подобие улыбки губы; и не сразу спохватился, щербину свою вспомнил, прикрыл грубой ладонью рот. Сестра отчего-то испугалась этой попытки бледной, на что угодно похожей, только не на улыбку, торопливо сказала: «Ты, это... не надо, так-то. Примай, что послано. Бог даст, проживешь...» Совсем погрузнела, обабилась за годы эти сеструха старшая, десятка на полтора состарела, уж не меньше, и сырой стала, слезливой, в веру вдарилась, все углы в иконках. От ночевки сразу отказался, ни зята на обед, ни племянниц с учебы ждать тоже смысла не было, сказал: «Навидаюсь еще, надоесть успею...» – и засобирался. Надоедать, конечно, и думать не думал, а собраться и вовсе минутным было делом: все порастерял нажитое, порастряс, только и осталось, что чемодан старый, сту-

денческий еще, да рюкзак – как оставил в прихожей, так и стояли они там, дожидались. И поторопиться стоило к автобусу, подстраховаться; а к самому Шишаю еще и попытку ловить...

Что-то притомила его дорога, по городу не шел – брел почти, бездомный, озирая чужие словно улицы наспех вылощенного пластиком и тонированным стеклом центра, где лезла настырно на вид, щерилась отовсюду и подмигивала блудным глазом реклама, бабье во всех видах, все на продажу – сиськи, попки, письки... Из-за угла вывернул на дурацкой скорости, чуть не сшиб его здоровенный, разукрашенный как елка джип – крупный ворюга, видно, сволочь. Тащился, всему здесь чужой тоже, ненужный этому пустому, какой-то смысл свой потерявшему многолюдью; а стоило за угол свернуть и квартал всего пройти, к автовокзалу, как пошла старая, куда как знакомая и донельзя запущенная теперь и грязная застройка, хлам ее всякий, ничего-то оно тут не переменилось.

Стылым встретила изба, холодно-прогорклым теперь духом, который ни с чем и никогда не спутаешь и не забудешь, – прошлым, какому не вернуться. Уже сумерки копились по заброшенным углам, и некогда было сидеть, оглядываться в родном, не то что почужавшем, но как-то отстраненно и пытливо глядящем на тебя со всех сторон обиходе: каким вернулся?... А ни таким, ни разэтаким. Никаким.

Через темные сенцы в сарай прошел, куда светлей там было от пролома в рубероидной крыше, под которым наваяло за зиму плотный язык снега. Дров оставалось на неделю в обрез – вот и работа, главная пока из

всех. В дальнем углу, правда, полуосыпалась источенная мышами и временем скирдушка кизяка незнаемо уже каких лет, механической – из-под пресса – выделки, когда еще отец жив был, мужиков помоложе нанимал за магарыч к прессу, самому-то неумоготу было уже с вилами при спешной такой, в измотку, работе. Сгодится и кизяк, даже и крошево его можно засыпать в печку через кольца плиты, как уголь; но это уж так, на крайний случай, не топка будет – слезы.

Облупилась вся и будто похилилась голландка, а вроде б, сестра говорила, в исправности. Подложил для пробы дровишек помельче, запалил газеткой пожухлой из целой стопки их, прихваченной в сарае, едва ль не советских еще времен. Горький, саднящий чем-то в горле дым пополз из нее, полез, хоть руками его туда, назад, заталкивай. Все двери пооткрыл наружу, а не налаживалась пока тяга. Стоял, курил на косом крылечке, оглядывал ненарушимый покой знакомых до каждой впадинки увалов по закатно розовеющему уже из-под туч окоему, северное взгорье Шишая тоже, по какому и названо было когда-то сельцо. И постройки его состарившиеся мало в чем прибавились, бедняцкие, если сравнить с краями, где его покидало-помотало... что, хуже других работали? Нет, никак этого не скажешь. Доля другая, вот что.

Заглянул еще раз в избу – не подвела все ж старая печура, с покряхтыванием каким-то сторонним, чердачным будто, но загудела, вобрала в себя ближний к устью дым, прочистила воздух в печном закутке, хотя в обеих половинах дома все пласталась тяжело и холодно, застоино гарь, и еще сумрачней, показалось, и чем-то отчужденней стало, бесприютней... Нет уж, домок, при-

нимай таким, какой есть. И дверей не стал закрывать, пошел к соседям стародавним напротив, Лоскутовым, – сказать, чтоб не лезли потом на засветившееся ни с того ни с сего в избе-сироте Макеевых окно, на дым из трубы, не досаждали расспросами и разговорами.

Сидел потом перед открытой печной дверцей на скамейке, отцом для того сделанной, курил опять, слушал умиротворенные уже потрескивания и шорохи прогоравших и опадавших в огненные пещерки углей, писк и возню мышей за посудным шкафом. Думал, раскладывать пытался первые свои прикидки на здешнее теперь, в какой уже раз за все его скитанья новое житье-бытье... новое? Ладно бы на тридцать восьмом году жизни да в ином каком месте, как до сих пор было, с надеждой какой-то – а здесь ни новую начать, ни старую продолжить... Будто кругался какого огромного, двадцатилетнего дал; и вот замкнулся он, круг, вернул его к тому, с чего начал, от чего с таким когда-то азартом оттолкнулся, вернул насильно и без всякого видимого смысла, носом безжалостно ткнул в старое свое, покинутое – и уж немилое теперь, в этом никак не мог он себе не признать...

Какое-никакое обзаведенье в доме оставалось еще: посуда та же, электроплитка, постель на материнской с никелированными поржавевшими дужками кровати и диванишко полуразвалившийся, сосланный из города сюда, ношенная-переносенная одежда, тряпье всякое в шифоньере и на вешалках, ящик с немногим инструментом – старее старого все, отжитое, но функционально, как Гречанинов говаривал, еще пригодное, не робинзоном начинать. Деньги на первое время есть, а дальше работу искать, не миновать. Сестра была здесь

летом, семьей пожил с неделю, как могли прибрались в доме; а за избой шестой уж год, как матери умереть, соседи приглядывали, даже и ставен на окнах не закрывали – тоска иначе, дескать, улочка их к реке и без того прорежена: кто поумер, кто отъехал куда, за лучшей будто бы жизнью... а нет ее теперь для нас нигде, доброй, хоть разыщись. Теплится если где, может, но уж не добрая никак. А откровенно кому сказать, то и злобой какой-то одержимая, упорной, непонятной и потому беспричинной будто, даже безадресной – ко всему. Но и этого некому было сказать.

Ночью кидала его по постели тоска. В полусне он не мог сопротивляться ей, и она ломала его как припадочного, виденья показывала свои, напрочь лишенные смысла, но оттого еще более безотрадные ему, безнадежные – ибо он искал смысл. А его не было, лезли какие-то хари торжествующей бессмыслицы и сиротства, и он заталкивал их обессиленными сламывающими руками, как дым в печку, а они лезли все и лезли, заполняли все смутно видимые во тьме, когда открывал он глаза, углы избы – его же избы, своей же! – и хозяйничали в ней, торжествовали над ним и здесь... И лишь далеко где-то в хороводящем злыми ликами, спертом ими и сырым печным жаром пространстве этом бессильно взлететь пытался и тут же сникал его ж собственный, он знал, за отдаленностью надмирной им самим еле угадываемый голос, выкликал: «Сы-нок... сы-нок...» Сына звал, ждал помощи от него – это от маленького-то, пятилетнего? – и не мог дозваться.

Нет, так нельзя больше... Изломанный весь, изнуренный ночью этой, сидел, угнувшись на постели, в опорки

валяные сунув голые ноги, озираясь на стены свои, на плачущие нутрянной слезой, мутным рассветом занимавшиеся окошки, на иконку сиротливую Николы, кажется, оставленную сеструхой на опустевших угловых полках иконостаса в переднем углу... Нельзя. Надо по-другому как-то, иначе так и пойдет, достанут эти ночки. Давно уже достают.

Работать, в работе только, другого ему не было.

В избе, с вечера жарко вроде бы натопленной, сильно поостыло уже, воняющий мышами воздух вовсе влажным стал и тяжелым: отсырела вся и намерзлась она тоже, изба, нахолодалась за столько лет, не вот прогреешь, из чернолесья разного собранную отцом в шестьдесят четвертом, кажется... ну да, ровесники они почти с нею, мать уже с пузом, с третьим с ним, штукатурила ее и обмазывала, обихаживала. И в нем самом, человеке, как в строенье всяком, и глина есть своя, верно, и дерево, и камень – и все временем, дурнопогодицей рушится, всяк в свой черед, успевай латать. И покривился, дневной трезвостью своей усмехнулся: вот-вот, и крыша поехала уже – соломенная твоя.

И здесь только, нигде больше, вспомнишь прежнего себя, чтобы, может, понять: уже давно и не ты это, не то совсем, а иное что-то теперь, изломанное и грубое, с пустотой спертой внутри и тьмью – будто середку вынули... посмотри только, стал кем. Что, одно лишь и осталось, что существование тянуть, чтоб уж до отвратности, до тошноты неодолимой довела она к себе, жизнь, изничтожила и уж тогда – отпустила, оставила?..

Работать. Дом оттапливать и прибирать, за водой вот сходить, похлебку сварить какую-нито, за дорогу все кишки переел уже сухпай. А для того калитку отко-

пять из снега, дорожку, вчера через изгородь пришлось лазить; и картошки-моркошки достать у людей, прикупить того-сего – вот о чем думай. И банюшку бы свою древнюю глянуть, подлатать, если надо, помыться-постираться... много чего надо, с одними дровами мороки сколько, неизвестно, где их и брать-то. Небось уснешь, когда наломаешься.

Но если бы так – помогало если бы... Ан нет – даже в многолюдье осточертевшем и суете общаг, бараков ли, казарм, всяких ночевок случайных, несчетных, после сверхурочных и совмещенок разных, да хоть в Днестровске последние полгода, вот уж где вкалывали. А не в этом, само собой, дело. Когда-то все сходило как с гуся вода, спал как убитый... да, чуть не убитый при Дубоссарах, страх тот свой до сих пор из себя не выковырнуть, что-то вроде татуировки теперь дурацкой на плече, в техникуме хмырем одним давным-давно ему накололотой; а сменился ночью с поста, из окопа боевого охранения, кружку вина кислого хватанул и даже есть не стал, не мог, в тылу ближнем приткнулся средь ребят в каком-то сарае на соломке с тряпьем и уснул, как провалился. Наутро пережил заново все, вчерашнее представляя, опять считал: пять минных, крупного калибра, разрывов шагали поперек поля с равными по времени и шагу промежутками, кто-то методично там доворачивал, на одно или два деления переводил прицел – пять, шестая мина его... Прямо на окоп ложилась, на полсотню метров выдвинутый вперед под кусток; и какой, к черту, окоп – воронка старая, ими подрытая малость вглубь, ни от чего она теперь не спасала. И бежать – некуда и срамотно на глазах у своих, и не убежишь уже, опоздал бежать. Пятая заложила уши и землю тряхнула;

и его будто приподняло за шиворот и тряхнуло тоже, осыпало комьями, мелким секущим камешником... Теперь твоя. Ждать уже не оставалось времени – что-то замешкались там? – кончилось время его, а он все ждал. И вой-свист опять, спешащий к нему, избавление несущий от этого ожидания-согласия его, уже он согласился на все, – и разрыв сзади где-то, за позициями их отряда... Вслепую по площадям шмаляли, видно, перенесли прицел; а он не то что замер – замерз в ожидании, колотило, как в лихоманке, никак согреться не мог...

Стал жить. Что-то соседи подбросили, подсобили, за чем-то в город пришлось доехать – хочешь не хочешь, а с ночевкой у сестры. Только и хорошего, что помылся. Упрекнула было опять, не утерпела сеструха, им бы лишь понюниться, поукорять: что ж на похороны-то не приехал, маманьку не проводил?.. По пустословью бабьему, понимал, пустодумье прикрыть, будто знать не знала, что из Тирасполя как ни прыгай, а за полтора дня никак не поспеть, – сама-то задницы не отрывала, век дома просидела, лишь в центр областной когда за барахлом; но кровь темная, старая обида кинулась в голову, сказал не подымая глаз: «Ну, ладно, плох я... А ты-то, хорошая, Мишку обмывать не прилетела почему – прямой же был до Алма-Аты, два всего часа лету?! И билеты дешевле дешевого... сколько, тринадцать уж лет тому? Проторговала братку на барахолке на своей, прибыль пожалела... А я один там корячился, без денег, без... Совесть куда денешь?..» В первый раз высказал, доняла. Отпаивать зятю досталось, зашласть: «А я рази ви... виновата рази, что с папаней ин... insult был?..» Врет, первый криз у отца только через неделю случился, как после узналось;

а уж хоронить его Василий из Актюбинска приезжал, поближе перебрался было к местам своим. Может, тогда и надо было вернуться сюда, к матери, – нет, еще дальше черт понес...

Лучше на вокзале перекантовался бы, чем ночевка такая. Раиса, из всех старшая, себя всегда особняком держала, а замужем и вовсе, любую подмогу свою в счет ставила. При встречах, в письмах ли – только и разговору, сколько на лекарства отцу-матери истратила, да что им из старья своего свезла-сбагрила, торговка; и когда уже с Иваном они, братком старшим, учились тут, то лишь провести иной раз заглядывали, по наказке по родительской обязательной: роднитесь... Торговой уже точкой заведовала, кооперативом потом; покормить покормит, а если десятку когда сунет, то на двоих. А как сокрушалась в письме к нему ответном, какой-то месяц всего назад, что избу никто не покупает, чуть не со слезой, не с причетом, – хотя, может, и пятидневной выручки ее не стоит она тут, изба. Дочерям-то, впрочем, по квартире уже куплено давно и обставлено, зять на иномарке катается, на даче азиаты живут, что-то ей выращивают, – вцепилась в жизнь сеструха.

Так что можно было, пусть и с натяжкой невеселой, считать, что ему еще повезло, а то хоть в бомжи. Или на дачу к Раисе, по-родственному.

А весна тянула – и с теплом, и со всем остальным, чего от нее ожидали. Ничего не ждал от нее, может, лишь он один... или уж все их, ожидания отпущенные, порасходовал без толку, поразмотал? Да и сколько им ни быть, ни обманывать.

II

С дровами через неделю дело решилось: за две ездки с Федькой-Лоскутом к брошенной и полурастащенной уже ферме приволокли на тросу с десятком бревен, одно теперь оставалось – пили, коли да складывай. Лоскут поставил свой трактор-колесник на горюшку, помога-рычить зашел.

– Да-к ты надолго ль? – спрашивал не в первый раз, оглядывая бедняцкий, ему-то куда как знакомый обиход избы, тетешкал стакан в руке Федька. Пил он трудно, и нехорошей была эта примета: такие и останавливаются не сразу, с трудом. – А то да-к еще притартаем дровья, что нам...

– Не знаю. – Паспорт свой, малость подумав, он уже отдал в сельсовет, на прописку; а выписаться в случае чего недолго. Нет, умница все ж Гречанинов – уговорил, еще в Днестровске гражданство ему российское выхлопотал: какая-никакая, мол, а мать... Мамаша, нечего сказать. Отбрыкивается от детей своих как может, и нагледелся он, сколько люду русского мотается теперь без призору всякого, отовсюду ж гонят нас, где обжили все, обустроили, измываются как хотят... – Как сложится.

– Ну и складывай. А то скучно, – пожаловался он, моргая рыжими ресницами, и все лицо его блекло-рыжим было, безбровым и будто выгоревшим, одни глаза голубели по-младенчески бездумно как-то. Лет на несколько если старше его, не больше, и детвы полон дом, сразу и не сочтешь – четверо, пятеро ли. – Скучная нам житуха, Васек, пришла – не сказать... Ни работы путевой, ни веселья. Так, промеж пьяни все... вполпьяна. А ты б, может, бабенку какую – помоложе, ребяток бы; оно б, глядишь, и...

Василий дернулся, враждебно буркнул:

– Что – «глядишь»? Куда – глядеть?

– Ну, как: в жизнь... Как же-ть с твоими-то случилось? Прямо и сына, и... Кто она тебе, жена была?

– Как случается... – Сеструха разболтала, всех известила – хотя о своем-то каком деле или интересе словечка у нее не вытянешь, у хитрованьи. Ну, родню не выбирают, да и не из кого уже – какая ни есть, а одна из всех осталась... Да вот соседи. Но и рассказывать о своем, тем более жаловаться, тоже отвык давно, отучили добрые люди. – Мы, Федьк, давай это... без этого. Что нам, поговорить не о чем?

– Не, я ничего... – будто сробел даже Лоскут. – Как – не о чем? Шабы, чуть не годки, считай... Так что делать-то думаешь?

– Да вот, – первое попавшееся сказал он, – маракую: сажать ее, картошку, нет? Там никто на деляну нашу не сел?

– На речке-то? Не-е. Ну, Ампилогов в первый год как-то сажал... отсажался. Да-к без картовки как тут жить? – Он так и говорил – «картовка», на манер всех Лоскутовых, как мало у кого держался у них в роду старинный «разговор». И в самом деле, как? – Не, пропащее это дело. А тебе тогда, брат ты мой, погреб перекопать надо-ть, вконец рухается. Сам глядел: бабка, мать твоя, просила, я и лазил – за капустой, тем-сем... Отсеемся вот и махнем в лесхоз... что тебе, дубков на накатник не выпишут? Или пару плит притащим, бетонных; но, знаешь, холодны для картовки, погребку над ними тогда надо-ть...

Сидели, говорили – больше Лоскут, шишайским кислым самогоном разгоряченный и памятью, она у него как цыганкин карман оказалась, безразмерной, чего не

вынимал только; и нежданная зависть взяла: сидеть бы ему дома, дураку, никуда не высовываться, счастья дурного не ловить на стороне – глядишь, целее был бы.

О ком жалковал сосед, так это о младшем, Мишке: ладный какой же был парнишечка, незлой, что ни попроси – сделает... да и ты-то – веселый же был тоже! И он соглашался – да, из них, братьев троих, самый башковитый Мишка был, тройку из школы редко принесет когда, и учителя его любили, не то что нас, обалдуев... Лоскут кивал усиленно, махал руками: ну, а когда Семена Вязовкина в траншее придавило, в силосной – вспомни! – это ж он один из мальцов из всех сообразил, Мишка... скок в трактор, первую врубил и – вперед! А то б замяло мужика под гусеницу, инвалидом навек... Василий не помнил – в отъезде, видно, уже пребывал, в техникум дружки сблатовали учиться, в индустриальный. Это его-то, кому по характеру век бы на земле сидеть, земляным бы делом жить. Как он был мужик мужиком, так и остался им – это-то в себе успел понять, узнать...

И Мишку – зачем он Мишку сдернул на юга эти проклятые, когда ему б учиться, пусть бы на одних корках хлебных, а учиться?!

Бутылка пустая была уже, а на душе тошней некуда... Деньги достал, сунул Федьке: «Сходи, литровку возьми сразу... что за ней бегать то и дело, девка, что ль? Не мальчишки. Помянем братьев моих».

Дело к ночи шло, и пока Лоскут ходил, самогонку искал, он растопил печку. Вспомнилось, как ходил с Иваном в кусты по речке, сушняк всякий и хворост на растопку собирать – чем-то их надо было разжигать, кизяки, а других дров тут сроду не водилось, степь. Бра-

тан, как старший, топором орудовал, а он стаскивал все в кучи на опушку, продираясь сквозь заросли уремного, первыми заморозками прихваченного уже и сыпавшего узкой листвою ивняка. Потом Ванька, скинув с себя все, даже и трусы, в несколько саженок перемахивал студеной, едва ль не до дна проглядываемый омут со сгнившей вершей на берегу – тогда уже закалялся, в военное готовился училище, – и они сидели на жухлой траве у костерка, отца ждали, который должен был подъехать за хворостом на рынке*; скотником вечным был отец, от него и пахло-то всегда сеном с силосом и навозом. По-осеннему тихо и пусто было на речке, и лишь отдельные невнятные клики дальней, пластавшейся где-то над селом грачиной стаи доносило сюда – звали, тоскливые, куда-то лететь отсюда, из немоты этой, безответности земной и небесной, к иному...

Склады боеприпасов под Хабаровском рвануло так, что даже и в глухой ко всему, кроме дележки власти и денег, столице слышали. Гадали, толковали – диверсия ли, о жертвах и вовсе как-то невнятно сообщали, вроде как о пропавших без вести, потом быстро замяли все это вместе с разговорами и какими-либо упоминаниями – не было, нету... Извещения и тела без огласки, как водится, рассылали-развозили, и что там от капитана Макеева запаяно было в гробу – знали, может, сослуживцы лишь одни, жене с дочкой не показали. С похорон от невестки, какую он и в глаза-то никогда не видел, только письмо получили с фотокарточками – яркими по-ны-

*Рынка – телега с высокими решетчатыми бортами для перевозки сена и т. п.

нешнему, словно бы и праздничными, когда б не лица и красным с черным обтянутый гроб в нарядном цветнике венков... все расцвечено теперь радужной какой-то, зазывно-яркой гнилью, и чем разноцветней, тем гнилее. Чего доброго, а хоронить научились, попривыкли. Чуть не месяц по раздербаненной, с последних катушек съехавшей стране шло к нему в Днестровск письмо, нет-нет да переписывались с братом, адреса-то имелись; и запоздало и оттого, казалось, еще мучительней гнуло – хотя к чему он мог успеть, к кому? К Ивану, солдату? Так он и сам по тому же краю, под этим же ходил, и судьбы не запередишь. Но мать, как мать-то с ее сердцем больным снесла все, перемогла?.. А только что женился как раз, в долгах как в шелках, следом и переезд затеяли к тестю на хутор из общаги при электростанции, где слесарил Василий несколько уже лет, где и с Оксанкой сошелся, – не вырваться, только и смог, что сестре дозвониться кое-как, через пень-колоду, через все границы...

А уже и задумка нарисовалась заветная, в какой уж раз: построиться, своим домом зажить и мать перевезти к себе, новая родня вроде не против была и земли хватало. Вариант подворачивался с кредитом, со сборно-щитовым домишком – главное, мать из Шишая, как из дожившей свой век, вот-вот готовой завалиться халупы вытащить, пригреть, на сеструху надежды никакой, не хотела к себе брать. Но что в них, задумках наших, когда сама жизнь сдурела будто, выверилась, бьет чем ни попадя и по чему ни попало, только успевай поворачиваться... Блокада со всех сторон навалилась, давили самодельную их республику как могли – ни продать ничего толком, ни купить, какие уж тут кредиты. А примак не то что кому другому – сам себе не хозяин: кошка хозяйская чихнет – и той здравия пожелай...

Федька прямо на глазах пьянел – все к той же примете, но разве что языком слабел и в словах уже малость путался, а никак не памятью... вот зачем она ему, спросить, такая? Все знал о Мишке о том же, об Иване, такое помня, о чем и он, брат, не ведал вовсе или напрочь забыл. О матери рассказывал, как она жила тут годы все эти: не сказать, чтоб уж так бедовала, Раиса подбрасывала временами кое-что на прожиток, – но и хорошего мало, одной-то. Какой ни пустяк бывает дело, а все проси да плати, а мужикам нашим одно надо – натурой. Деньгами-то, что ни говори, а зазорно брать со старухи, да с ними еще и ходить надо, искать; а самое подходящее – чтоб не отходя от кассы: налил и... Оприходовал, да. Ну, куда деваться – гнать пришлось, заправски, жить-то надо. Райка ей то мешок-другой сахару, а то и сырца флягу подкинёт – для самопалу, тот и вовсе за мое-мое шел, крепкий до сшибачки, она ж не мухлевала, когда разводила-то. Огород держала чуть не до последнего, поросят, курей да этих... индоуток для дочки полон двор, это ж сколько надо всего – сил, рук? Так и жила: ночь-полночь – все к ней, колобродят, стучат. Бабам, понятно дело, это не дюже нравилось, скандалить приходили; ну, а с другой стороны, рассуждал понятно Лоскут, наш брат свинья грязь везде найдет, гонят-то по селу вон сколь. Чемергес-то.

Василий молчал, уперев глаза в оголовки сапог. Лоскут не врал, в том и нужды не было. Оттого что скверней этого мира, слепленного из никем еще не проверенных догадок и надежд, из мук, страхов и царящей над всем этим неопределенности пустой и жестокой, может быть только правда о нем самом, мире этом... А то, что она одновременно и жестока, и пуста, он знал.

Как и то, что от человеческого в человеке еще меньше добра ждать надо, чем от животной исподницы его... во-век не знать бы его, человеческого, не видать. Жить бы где-нито на кордоне, как лесничий тот днестровский, а если к людям, то в сельпо лишь. Бог отвернулся, говорят, – а что от нас ждать, от опущенных изначала? Давно бы пора – оно, может, пораньше и кончилось бы все. Все, что с самого начала так нелепо, наперекосяк с человеком затеяно, задумано было.

– А бабка... да-к молилась дюже. Придет к Маринке, плачет. А моя ей: да плюнь ты!..

Выспрашивал сосед, где это, дескать, живал-бывал столько лет, – значит, не так еще пьян Федька был, не одного себя слышал. Василий позагибал пальцы: семь, оказывалось, мест переменил – это те только, где устраиваться пытался, осесть. И везде беженцем, считай, чужаком... знать бы – сразу сюда, опять подумал он; какое-никакое, а нашлось бы дело. В работах дельных и тут никогда излишка не было, все та же колода этих самых механизаторов широкого профиля: запил – в слесаря или с вилами на скотный двор, чуть проморгался – опять за рычаги, за штурвал...

Когда под Актюбинском в пригородное хозяйство сварщиком его взяли, даже квартиру обещали, и стал он было работать так, как оно положено работать, электросваркой такую жестяную тонь сшивал, за какую и газосварщик не всегда брался, местный трудовой – спрохвала* – народ ему без обиняков особых выразил: лучше всех хочешь быть? Ну-ну... Так ли сяк,

*Спрохвала (местн.) – здесь: с прохладцей к работе, к делу.

а выжили, квартиру перехватили, мать всякую, сплетни пустили – выжали.

– Все нас продали, – горестно сказал Лоскут, – вся черножопия наша...

– Не знаю... меня все больше свои продавали. Русские. – И вспомнил Гречанинова слова и почти повторил их: – Тут такое дело: предать может только свой. А чужой – он и есть чужой, с него какой спрос...

Да в том же Кремле, с самого начала – кто сидел, нас продавал? Хуже некуда, когда свои.

А тот все расспрашивал – ну как у бабы любопытства... И кое-что об Алма-Ате ему, так и быть, о Бендерах тех же рассказал, когда руманешты прорвались туда, вломились, и как грабили, убивали подряд, – для того еще, может, рассказал, чтоб на лицо его поглядеть... Вполохоты говорил, самого кривило. Лоскут, на стол навалившись и голову обхватя руками, будто и протрезвел даже, глядел в упор и неверяще, это еще и волю иметь надо – верить такому, принимать как оно есть... Нет, не смог сразу, не вместились:

– А ты, это, не... Весь, паразиты, класс?!

– Весь.

Василий усмехнулся даже: «паразиты»... Если бы. Выругаться толком – и то сил не стало, что ль? Как дети они тут, в глубинках этих наших, что ни скажи – всему дивятся. И ничего, похоже, не научит таких, разве что беда великая... будто им нынешней мало. А мало, еще и на другой даже бок не повернулись пока – на печи на своей.

Все еще растерянный, обиженно хмурая безбровое лицо, Федька изо всех сил, видно было, собирал мысли – и рукой на себя махнул:

– Не, это не жизнь. Это... – Махнул опять, слов не находя; но и что-то проглянуло в бледно-голубых его, хмелем вымытых глазах, осмысленное. – Стало быть, как выходит-то... Из родовья всего вашего – ты да Райка, выходит, остались? Да девки, племяшки? – Василий не отвечал, глядя в затопленное сырыми сумерками, паутиной между рамами заросшее окно. – Племяши – не племя. Гинут люди, как... Это чево же, война идет?

А ты не знал? Ты – не гинешь тут? Война, да подлая какая, из-за угла. Разгадали нас, расковыряли начинку: на заманки всякие и лесть с подковырками, как последних дураков, на обезьянство наше же взяли. Изнутри, из нутра нашего поганого. Но Лоскуту о том говорить – все равно как ребенку, за себя не отвечает. Да и всем-то нам теперь – что, после драки кулаками махать? Если б чему учились еще, а то ведь и этого нет, все не впрок. У поляков спекуляции, вот и все ученье, да разной дряни отовсюду понабрались, что ни есть хуже, то и наше, обезьянье; а как дурили нас продажные, так и дурят второй десяток лет – то трепло с алкашом, а то мальчик этот гуттаперчевый теперь, вся эта гнилуха кремлевская. Надели парашу на голову нам всем и делают вид, что все тип-топ. Даже и во вранье-то не особо исхитряются, оборзели, для придурков и так сойдет...

Ладно, хватит – политики не наелся, что ли? До тошноты уже, мутит. Как от самогонки этой, мутной такой же, разум изымающей и остатки воли какой-никакой, надобности дальше как-то жить...

Жить?

Давно не пил, да и никогда этим не увлекался – так, по необходимости какой разве; и потому, может, забрало, будто какие узлы распустило в нем и завязки,

на которых как-то держался еще до сих пор, расслабило – мешком сидел, слышал и не слышал чушь всякую косноязычную, какую нес теперь Лоскут, даже и руками не размахивал уже, а лишь дергал ими, похихикивал с чего-то, подмигивал... да, напрочь забыл уже, о чем только что говорили, счастливцев, и черта ль в памяти его этой на ерунду? Приходи сюда без оружия всякого и бери их, простаков, – голыми руками бери.

Но и не это даже, не столько тоска поражения пригнула доземи его, до столешницы с черствым этим хлебом изгнания, и где – в углу родимом... Выявилась вдруг, стала зримой воочию и до конца вся бессмыслица житья его здесь – да и где бы там ни было, в чужени тем более, где так нахолодался, озлел и одичал, что уж сам себя не узнаешь... Не здесь – и нигде? И нигде.

– Вставай, слышь... Все, давай. Кончать надо.

Вывел, поддерживая, соседа за ворота, тот все обниматься лез; зачем-то поглядел – дойдет ли? – помедлил и вернулся, дверь не запирая, в накуренную, провонявшую сивухой духоту избы. В стакане оставалось, допил с отвращением – ко всему, к себе тоже; подсел, сам шатнувшись и еле равновесье удержав, за перегородку схватясь, к устью печки, прямо на пол.

Дрова почти прогорели, над углями то появлялись, то исчезали, шаяли, перебегали потаенно синие – как семафоры на станционных путях, вспомнилось почему-то, – зовущие огоньки... синие – это открыт путь или нет? Пусто было, муторно и ненужно все в среде людей и вещей, прошлых ли, уже запропавших в вязком, как многослойный наносный ил, времени, или завтрашних, обреченных все той же суете бессмысленной и маяте, дрянной слезливости и жестокости человеческой, вот

им-то, одинаково омерзительным, конца не виделось. Где-то был, должен быть Бог – но так далеко отсюда, от этого тинисто-беспамятного и зловонного дна жизни, что даже крики детские, жалобные не долетали туда... даже и ужас их детский, и беспомощность перед равнодушной злобой существования не могли пронять, преодолеть эти мертвенные дикие, во зло, как и время, обращенные тоже пространства до Него. Или средостенья, стены неосязаемые и потому неодолимые, бейся не бейся в них разумом жалким своим иль невразумительной душой. И только одна была дорога туда, иных не знал никто.

Как никогда, может, осознанно ненавидел он теперь этот мир мучений и страха, сиротства неискоренимого. Закурил, смял в кулаке пачку с оставшимися сигаретами, кинул на жарко дышащие угли. Она вспыхнула и расправляться стала, будто это душа некая в ней распрямлялась, освобождалась, рвалась обрадованным козым пламенем в вытяжную. Отправил туда же окурок, не сразу и тяжело встал, ткнул задвижку трубы – до отказа.

Не думая больше ни о чем, лег в чем был на постель, смежил наконец глаза. И, показалось ему, тут же заснул; и только что-то – часы ли (нет, ходики он так и не запустил пока, разобрать бы, в керосине, а лучше в соларке шестеренки-колесики промыть) или тяжелая кровь в висках – начало размеренный отсчет.

Он спал, а ему считало – долго, как-то слишком уж долго и нудно, будто кто нотацию, нечто увещательное читал. А с какого-то момента стало считать все громче и требовательней, с откуда-то взявшимся звонотом отзывным, и уже стучало, чуть ли не било в уши;

и он разлепил больные, ломотою сведенные глаза, что-то тревожащее было, не то, не так... свет! Забыл выключить в кухоньке свет. Выключить надо.

Поспешно, как мог, поднялся и, опираясь на стену сначала, потом на горячий печной бок и чуть не упав в дверном проеме перегородки, дошел, выдернул задвижку, вырвал ее целиком и уронил на плиту – с великим, показалось, грохотом... а зря, зря. Пинком, неверной рукой затем толкнул дверь, выбрался в сенцы, дегтарно-стылый их, свежий необыкновенно воздух ртом хватнул, всеми легкими, и его повело, ткнуло куда-то... на высокую железную бочку пустую, для комбикорма тут всегда была, и он чуть не разбил себе лицо, хорошо – за край успел схватиться, за надежный, крепко стояла бочка. Волна тепло-смордного избяного духа, в котором учуял он теперь окалинную угарную вонь, дошла до него, догнала; но и сил будто не оставалось дотянуться до сенишной, в двух всего шагах, двери – и с каждым его судорожно-глубоким вздохом паническим они, кажется, все убавлялись, в глазах кругом пошло... Грудью на крае бочки лежа, уронив голову в ее невыветрившуюся еще хлебную пыль, от дыханья взнявшуюся, он как-то собрался все ж, оттолкнулся от нее к стене и уж по ней сполз наискось к двери, свалился.

Лежал, отдыхивался, воздух все-таки возвращал сознание, помалу замедлял кружение, утишал звон в голове и ушах, восстанавливал в глазах смутно угадываемые очертанья всего обихода просторных, за амбарушку им служивших сеней. Но, хоть и разреженный, все острее чувствовался здесь идущий низом угар; и он наугад и не сразу нащупал узкую щель между косяком и дверным полотном, с трудом

втиснул туда непослушные, словно занемелые пальцы и, ломая ногти и боли не чувствуя, дернул раз, другой... примерзла она, что ли? Нет, это сам он слабым таким оказался отчего-то: дверь подалась, скрипя и постанывая в петлях, отъехала в сторону... И у него поехало в глазах; но уже он схватился за ледяной, с наношенным сапогами и намерзшим снежком порог, подтянулся насколько мог, головою за него, наружу – и его надсадно и вконец обессиливающе вырвало, вывернуло...

Прошло, может, с десяток минут или куда больше, когда он, замерзший и опустошенный, все же встал на подкашивающиеся, крупной дрожью прядяющие ноги. Постоял, за косяк держась, обвыкся; и с горем пополам, по бочке и давно пустому тоже ларю с валяющимся на дне самогонным аппаратом городской замысловатой выделки, вернулся в кухоньку, помыл-повозил пятерней лицо под умывальником, кашляя и давясь, вытерся скомканным полотенцем. Наверное, вытянуло уже дурь, но верить этому он еще не мог. Нашарил над притолокой дверной шапку, ватник солдатский Иванов напялил кое-как на себя и перебрался к сенишной опять двери, переступил порог.

Апрельский тонкий, с едва уловимым запахом отмякших за день земляных проталин и прели прошлогодней всякой, воздух покоен был во тьме своей и высоте, молчалив. Не морозец уже, а так, заморозок легкий самый стоял, еще вечерний, когда сквозь рушимый сапогом с хрустом и звонким шорохом ледок продавливается жиденькая, первого неуверенного замеса грязца, и нет-нет да и капнет припоздало с сосульки, звякнет игольчатыми ледышками в проторенном капелью лежалом снеге, в тропке ее прямой вдоль застрехи крыши... При-

валясь к столбу навеса над крыльцом, он пусто и бездумно глядел в прозрачную весеннюю темноту, дышал, одолеть пытался боль в висках и тошнотные позывы головокруженья. Все молчало в нем, будто напуганное случившимся; и он не спрашивал никого ни о чем и ничему не отвечал, он устал очень.

И потому, может, вернувшись и закрыв, заперев двери и по-людски раздевшись, лег и быстро опять заснул. Под утро после провального – как не спал – забытья он видел сон и знал, что это именно сон, не раз и не два уже с ним повторявшийся. То повторявший, что не во сне было. Впереди спины теснятся, убегающие, и он гонится за ними, гонит их и вот-вот настигнет; но спины запрыгивают в «жигуленок» вишневым, их ожидающий, тот газует, выхлопом сизым бьет ему в кричащий что-то рот, дыхалку перехватывая, и он чуть не в падении уже достает, опускает, всю силу вкладывая в удар, арматурный прут-двадцатку на крышу и заднее стекло его. Как картонная, проминается-прорывается крыша, рушится с мгновенным блеском и шорохом осыпающимся стекло, и только обод его, прогнувшись, удерживает еще прут над близким совсем, отекившим в ужасе узкоглазым лицом с франтовыми усиками и ртом скособоленным – к нему, преследователю, посунувшимся было с заднего сиденья, к стеклу, которого уж нет... Хлябая незакрытой задней дверцей, как раскрылившаяся, насмерть перепуганная курица, уносится «жигуленок», по дороге долбанув еще какое-то у тротуара авто, подпрыгнувшее и отскочившее задком, синий от перегазовки дым застилает все; а он с разламывающейся от гари головой бежит дальше, рвется вглубь квартала алма-атинского, нового какого-то, гонит паскудников, и благодатно тя-

жел и справедлив ребристый прут в его руке... Знать бы, что вся эта сволочь Мишку дней через несколько всего убивать будет – сам убивал бы, за случаем дело не стало б. А не убил если, не остановил убийц, то нечего и жаловаться тогда кому-то.

III

Он и не жалуется, он это как дело делал – потом. В другом совсем уже месте и времени, других. В зарослях приречных, когда выбили их из Бендер, – первого. Подранил, тот пытался было отползти, и он добил его прицельной, короткой, так что щепье какое-то полетело из того; а когда мимо пробежал – заметить успел: плеер на шее у мародера или приемничек разбитый, со школьника, может, и снял. Второго волонтера кишиневского у моста уже, вдоль насыпи крался с рюкзаком награбленного, в спину – так, что кувыркнулся... нельзя таким жить, понаделают, если не остановить. А в других попадал, нет ли, кто скажет? И многую, всякую вину знает за собой, но не эту. И ничего оно, знает он еще, не заживает до конца, не забывается, рано или поздно, а вылезет, ныть начнет или гноиться – даже давнее самое, вроде б отболевшее, какое на дно утянулось уже, залегло... а дна-то и нету в человеке, и что там творится в глубине, в нутрянке его, что всплыть, взняться готово заново – не знает и сам он.

Разламывало голову, и он долго мочил под ручком, студил лицо и лоб. Стыд был, от себя который не спрячешь, – но перед кем? Ладно бы перед собой одним – сочтется с собой, утрясет как-нибудь, уж человеку-то к этому не привыкать; но что-то большее тут было, чем просто стыдное свое и никого иного

не касающееся... Но думать сейчас об этом он не мог. И об исходе, какой случился, не жалел, как не пожалел бы, наверное, и о другом, обратном... то не сожалело бы, что остаться от него могло.

Ввалился, стуча кирзачами, Лоскут – помятый с излишком, веки и лицо с дурной красниной, но торжествующий, с опохмелом. Выпили, помутнело и с тем вместе полегчало в голове, испариной слабости прошибло по хребту. Молчун нашел на него, навалился – слова не выдавить, так что Федька, без умолку болтавший как всегда, как-то подозрительно посматривать стал, сил наконец:

– Ты, это, вчера-то... ничего?

Хорошо хоть, что с крыльца догадался убрать утром, соскрести.

– Ничего.

– Чтой-то ты, брат ты мой, страхолюдное вчера нарасказал – а не помню толком... Маюсь прямо. Про ребяток – в этом, как его...

– В Бендерах? – Ну, подумал он, хочешь знать – знай. – Класс руманешты захватили, на вечере. На выпускном. Парнишек сразу поубивали, это самое поотрезали... надругались. А девчат изнасиловали сначала... Ты пей, пей.

Перед Ним стыд? Перед Его даром жизни этой – непонятным и жестоким, непрошеным, но все-таки даром? Дареному в зубы, как оно говорится... Да; и перед родовым своим, в прах разоренным... кого оставишь – Райку, девок? И не в том даже дело, чтоб ее продолжить, родову, – а протянуть, опомниться себе дать, а там видно будет...

Кого не ждал, так это жену Лоскута, Маринку: порог переступила, стала – краснощекая, грузная уже, с глаза-

ми не то что недобрыми, а усталыми больше. Глянула на стол их, на лица, сказала мужу:

– Все Масленица у те, как у кота, – котору неделю? Хватит уж бы. – И на Василия глаза перевела: – Вот такие они у нас остались тут – пьянь да срань... мучайся с ними. А ты-то – вроде ж не пил, Вась?

– Я и не пью. Похмеляюсь. Проходи, садись.

– Вот-вот... с вами сидеть тока. А полежать да-к и не с кем уже. – Но прошла, под села сбоку на лавку, шалешку сдвинула на затылок. – Как с путевыми-то.

– Ну, ты уж, мать, тово... совсем! – заартачился Федька. – А ребятня откель, с куста, что ли? Я вон пью – и то морщусь, а ты соврала и... И ни в одном глазу. Налить, может?

– Еще чево. Фельшер там подъехал, по дворам ходит. Кабанчика бы показать, сам же говоришь – скушной... На ноги садиться стал, – пояснила она Василию, поглядела на него, подольше. – Какой-то ты, это... Ты, что ли, брился бы. А то, скажи, старик.

– Так и... не молоденький.

– Ну уж!.. В твою пору, глядишь, тока в охотку входят которые. Кобели-то. Не-е, в хомут вас надо, мужиков, сразу ровней пойдете. А то прыгаете, как кузнечики, по всей по стране... Я вот те найду, – пообещала многозначительно она; и хлопнула тут же себя по бокам, бугрившим старенькое повседневное пальто, пропела – и явно заготовленное пропела, фальшивое: – Ос-споди, да-к а чево искать: вон хоть Кривцуновых Наташка, с каких пор одна... А лучше Катька Ампилогова – чем тебе не баба?! И молода, и... Мальчонка у ней – ну да-к делать не надо, готовый, если што. Смирный. А детки все одинаки, все на шее.

– Так ить вроде как муж у ней... ну, числится.

– Где это – числится! – закричала сварливо на Лоскута она, азарту в ней на всех троих бы хватило. – Ты часом не охренел: «му-уж»?! Будто бы-ть не знает он!.. А ты, Вась, не слушай этого, – махнула она на своего, брезгливо дернула губами. – Дружки они, пили вместе, вот он и... С Троицы как уехал в Самару приключенья на свою жопу искать, так и следу нету, дуrolому... ну, где такое видано?! Люди ей: в розыск, мол, подай, находят же; а она – еще, грит, я это золотце не разыскивала, всю жизнь мне перемутил – нет уж! У него отец-мать на то есть... Взяла к осени да в сельсовет подала, ее и развели, слова не сказали. А того – ну, искали, а толку? Прибили где-нито небось, их вон сколь пропадает нынче. А и не жалко... Господи, да побольше бы таких! Глядишь, почистился бы мал-мала народ, а то ить как в желтом доме живешь! Моя б воля, вот истинный крест говорю: взяла да свезла бы всех, с шалавами всякоразными вместе – вон порушено сколь, пусть строят! А то жизнь только портют, мучайся с ими, вот с такими...

– Нет, ты погляди, как намучилась... в дверь не пролазит! Намеки она строит... Я что, иль дела не делаю?! А ежели порядок был бы везде, так и вовсе... Ну, выпил там... подумаешь! Небось не размокну.

– А и не просыхал еще!..

Слушал перебранку их, привычную уже, не встречал, все это посторонним было и ненужным... тоже мне сваха нашлась, хорохорится. И какая это еще Катька? Пятнадцатилетней, может, давности отпуск свой первый вспомнил – ну да, бегала тут какая-то соплюшка; а он, армейскую службу отмотав на пограничном Пяндже, где Афган обеспечивали, и год на заводе электротех-

ническом в Алма-Ате, явился петухом разряженным, с подарками всякими, как же иначе! Тогда же, дурак, и Мишку уговорил, сманил после десятилетки: пока, мол, на заводе у нас послесаришь, зарплата приличная будет, общага, а там и на заочный через годик – что время в студентах терять, с родителей копейки тянуть? Копейки, рады больше бы, да с каких достатков таких? Последнее, скорее всего, и убедило братишку, уже было в институт педагогический собравшегося, – и поступил бы, в учебе соображал, не то что они с Ванькой, вахлаки. К тому ж и в армию не брали его, слабость сердца какую-то нашли – работай себе, бодрил он Мишку, живи кум королю да учись... А он и вправду слабым был всегда, сердцем, если по-человечески, вечно малая ребятня возле него терлась, собаки всякие крутились приبلудные, с той же скотиной домашней – и то по-своему как-то знался, всех привечал, приручал...

Работать, другого не оставалось. Лоскутовы ушли, собрался к дровам своим и он, хоть продышаться, и опять что-то накатило – тяжелое, сиротское... нет, видно, не для него выпивка, не по нутру и натуре самой. Завязывать надо, даже и с малостью такой. Ширкал ножовкой, больше нечем; но и торопиться-то ему некуда теперь, хочешь не хочешь, а вольный казак – какому все дороги заказаны, и чем это, спросить, не тюрьма? Некуда идти – это ж те же стены, не перескочишь. И срок не сказан.

Ширкал, вдыхал запах застарелого опилочного смоля, поглядывал кругом. Никак не торопилась весна: хмарь низкая облачная, как, скажи, позднеосенняя, и то крупкой редкой нанесет из-под нее, постегивать

начнет, а то зароится – сверху вниз, снизу вверх тоже, словно взлететь пытаюсь опять, – хлопьями легкими снег, недолгий, ложится тепло на лицо, на руки, тает... Задышался, начинало стучать в голове, отсчитывать... изрядно траванулся, ничего не скажешь. И переживал, принимался колоть полутрухлявые чурбаки, сносить в дровяник.

По углам его чего только не валялось, всякий хлам ушедшего безвозвратно, делов понадежавшего века. Даже хомут старый, протертый до волосяной набивки, висел на вбитом в стену бороновом зубе; понасовано и под стропилинами, от лопаты печной полуобгоревшей до кованых железных скоб, мастерка строительного или согнутой из старых вил «кошки» – ведро утопленное из колодца доставать... И в нас – сколько старья в нас понатыкано по углам, уж вроде и не нужного никому, бросового, и кому оно, кто его взыщет? Неужели так и сгинет, сгниет? И ненужное вроде, а жалко.

Под матицей-связью проходя, второй уж раз шапкой задел что-то, поднял голову – веревка... Пригляделся в полусумраке – да, нетолстая, заскорузлая, перехлестнутая несколько раз через связь; а на другом ее конце черная от старой крови, засаленная деревянная проножка, на которой обыкновенно подвешивал отец для свежевания тушку барана ли, овцы... Передернуло запоздало, сплюнул в досаде на дурь свою, на нервы... или уж испугался? Себя испугался никак? Нет. Распутал со связки ее, сдернул, на проножку намотал и в угол под крышу сунул, хватит. Но если бы все так решалось.

Сидел долго на кривом крыльце своем, курил, глядел в суматошно закружившуюся опять, в какой-то момент даже окоем и взгорок Шишая скрывшую порошу – нет,

конечно, весенний все же это снежок, уж и синица затенькала по-особенному звонко, отзывно, тут-то не спутаешь и не обманешься, не с людьми-человеками. А позор длиннее жизни, Гречанинов правду говорил. Не тебя будут помнить – позор твой.

Из своих кто-то сдал Гречанинова, больше некому. Россияне, скот социальный: сначала с места, из Тирасполя, в Кишинев за реку стукнули, а уж потом и фээсбэшные пенаты подключились, расстарались. Столько лет сигуранца кишиневская вонючая, какой насолил он с избытком, охотилась за ним, засады устраивала, а то выманить пыталась, но так и не обломилось ничего тупорылым. А тут на родину собрался, под Тамбов куда-то родных наведать, прошлым летом было дело; и только немногие свои, считанные, знали о том – а на родине этой самой уж из других органов ждут, из нынешних, отечественной выделки, такая ж погань. Чтоб жест сотрудничества изобразить, как потом понялось, сигуранце выдать – это его-то, который в гражданство российское больше всех, может, приднестровцев крестил... И выдали, по всему судя, быстро – поначалу вообще молчок на запросы всякие, а через недели три-четыре справку на факс кинули: нету такого, не содержится... придерись попробуй, загляни в их регистрации подколенные.

По остывающим следам кинулись в Тамбов. Василий все бросил, все свои старые, военного времени знакомства напрог, но сумел, напросился-таки к ребятам из «безопаски» в компанию, съездили. Оказалось, заподозрил что-то Гречанинов – навязчивую и неумелую наружку, может, – успел сообщить о том по договоренному телефону и от слежки ушел, укрылся у однокашников

своих, вроде как лучших по институту еще дружков. Те и сдали, когда следаки ФСБ по кругу знакомых пошли, и без наезда какого-то чрезвычайного сдали, чуть не добровольно: семья, мол, дети. Так один оправдывался, второго не нашли, прознал о гостях и прятался где-то, да и не было уже смысла искать. Старшой из «безопаски» стал объяснять было тому, что ничем Константин Гречанинов перед сраной Эрэфией не провинился, ордер-то на арест в прокуратуре не выписывали: «И что, у тебя семью, детей отняли бы? Или тебя, кормильца такого, у семьи?..» Молчал; а сказать ему, что, может, замучен уже Константин в кишиневских пыточных... но нельзя, да и зачем, кому? Скот – он и есть скот. Василий тогда немного смазал ему по губам пальцами, проговорил: «Это от Кости тебе... под расчет. На другое разрешенья не получил, везет тебе...» Хотя сам знал, что ничего-то с ним делать не стал бы, руки марать... Единственное, что хоть каким-то наказаньем могло стать, говорить запрещено было, чтоб себя на чужой территории не выдать, – о молдавских пыточных...

Смута русская – это когда все предали всех, сверху и донизу. Что-то вроде изначальной формулы это было у Гречанинова, вроде ответа – если не на все, то на многое. И демобилизованный в любом идейном отношении русский, говорил, это дрянь человек, хуже не знаю, не видел. Все тогда самое худшее вылезает из него на свет Божий, легализуется им самим по факту, и первое – безответственность безбрежная, какую вечно он со свободой путает, с волей... И растолковывал: без идеи своей – религиозной, социальной, какой ли, но своей, – как без иммунитета он, а потому любая к нему зараза липнет, делай из него что хочешь тогда, из «всечеловека» этого дерьмового...

Они весной девяносто второго сошлись, когда вовсю уже шли бои, а Василий вместе с двумя уральскими казаками на подмогу прибыли и прямо с ходу в боевое угодили охранение, успев лишь чемоданы в казарму забросить и старенький натянуть камуфляж, оружие получить. Чем-то вроде воюющего политрука был Гречанинов в их сборном батальоне ополченцев и казаков, а вернее – полуторасотенным, с бору по сосенке, отрядишке; и Василий, если честно, не вполне понимал, что в нем, недоучке, нашел этот самый, может, умный человек из всех, с кем приходилось быть и жить, одно дело делать. Но вот нашел же, и все полтора года бок о бок как братки, всё вместе, в общагах ли, окопах. «Куда вину свою денем, мужики?! Это ж мы дали подонкам развалить все, что сами, что отцы-деды строили... от-молчаться, отсидеться думали? Хреново думали. Теперь одно только нам осталось: стоять где стоим. Чтоб на место, где мы стояли и смерть приняли, враг не сразу осмелился ступить – хоть на время какое-то, хоть на день... Потому что ни тылов у нас, ни резервов нету, ни стратегии никакой, а лишь тактика, единственная: смертники не наступают – останавливают. Врага, который куда как сильнее, – зло останавливают. И злу через нас, живых, не перешагнуть. А потому трезвость нам надо иметь последнюю, предельную, невольник тут – не богомольник, решайте каждый за себя... Не готов кто – уходите сразу и без позору всякого, слово даю; да хоть в спасательные отряды, там тоже дела хватит всем...» Было это двадцать второго июня, самый напряг, Бендеры целиком уже захвачены, считай, стрельба и вой там, грабеж несусветный творился, а из Румынии валом бронетехника шла

к ублюдкам, всякий боевой припас, авиацию подняли даже – чем отвечать?

Ответили.

Когда выкинули, уgomонили всю ту сволочь, пришлось еще чуть не год сторожиться, в гвардию записавшись, – хватало их, провокаций с того берега, безобразий. Наконец подыскал себе через дружков окопную работу в Днестровске, на электростанции, переехал. Гречанинов уже в правительство подался, позвали, идея была: побольше населения в российское гражданство перевести-записать, пусть-ка тогда белокаменная попробует на глазах у всех от своих отказываться... Дело сомнительное, это-то он и сам лучше всех понимал, Москве нынче всё – божья роса; но с другими попытками под какую-никакую защитную руку, под имя ее перебраться еще хуже было, грубо отталкивалась и нелепо – как, скажи, мачеха... А если и мать, то в уме ли разуме?

И об этом толковали они, заезжая по случаю друг к другу, чаще Константин Викторович к нему на хутор, с ночевьем, до полночи в беседе под шелковицей засиживались. «А всё мы это, – говорил, думал он вслух, – мы – интеллигенция... Роль козла на бойне отыграли, а теперь и нас к ножу. Второй раз на веку на свой же агитпроп нарываемся... напарываемся, да, – как нас еще учить? Необучаемы в принципе, сдается; но почему не вымираем тогда с должной скоростью, почему не вымерзает и не выжигается глупость наша, дурь?! Загадка для дарвинизма... Похоже, мы – дурь народа, его заскок, и в этом качестве самовоспроизводимся, раньше народа сгинуть никак не можем... а жаль, ей-Богу, жаль. Грязи бы поменьше было, крови». – «Ну, куда мы без вас», – ска-

зал ему тогда, усмешку скрывая, Василий; но Гречанинов и в темноте угадал ее, засмеялся, хлопнул его по плечу: «Ох, Василий Темный!.. – Так он шутя называл его непонятно иной раз – не обидно, нет, но и непонятно. – Да, без дури-то своей – куда?! А серьезно если – гнием заживо, всей-то Россией, вони понапустили на весь белый свет – не продохнуть... Еще бы понять: целиком и бесповоротно протухли – или это раны только выгнивают, ненужное все и непотребное, всякая дрянь наша отжившая, негодная к жизни... выгнивают раны, да, и тем очищаются, а под ними, глядишь, кожа молодая с иммунитетом, которую никакая гниль нынешняя не возьмет. Вот вопрос-то. Если так – черт-то с ним гниет, не остановишь все равно, да и дряни в нас поднакопилось выше всякого... А если нет?! – Он явно заиклен был на том и перед Василием не скрывал этого, мял и без того мятое в раздумьях над жизнью лицо. – Вот вопрос. И сколько доброго в отход, в социальный мусор уходит – это ж не счастье, история в такие времена, знаешь, особенно жестока, генофонд наш остатний как грушу трясет... Выживем, нет? Понятно, что дело времени это, – а вот времени у нас и нет...»

Ну почему ж нету, подумалось тогда ему; есть у всякого оно, пока живой, всему вроде дадено, не отказано до срока, а вот как распорядиться им... Это еще уметь надо. Но ничего не сказал, не возразил ему, потому что и сам-то не умел, все больше ощупкой, вприкидку, а то и вовсе на авось. Оттого, может, и бьют нас, что застреваем в нем, во времени, выпутаться не успеваем... или уж иное оно совсем у нас, время, чем у других? В Шишае вот – много сдвинулось за десяток лет таких, переменилось? Разве что к худому, вспять.

Когда из тамбовской вылазки вернулись – все пере-

рыли, перепроверили всех, кто знал или мог знать; но это уже, скорее, от бессилья было и вряд ли что дало бы: если кто и сдал, то наверняка замести сумел следы. Могло статься, что еще кому-то сказал Константин о поездке своей, но опять же – своему, осторожности с конспирацией всякой сам обучал, в опаске постоянной держал: столько лет, мол, раззявами прожили – все, хватит! Ничего на веру не брать, все проверять, думать, язык и вовсе на цепке держать, даже и малость какую о деле нашем без нужды на слух не выносить... что, не научило еще?!

Но и никакой бдительности, никакого ума не хватит, если и с фронта, и с тыла жди всякого. Когда свои порой ненадежней и опаснее чужих, это теперь сплошь и рядом, – уж тем одним, что знают всю подноготную твою и если продадут, то уж со всеми потрохами, чего никакому шпиону вовек не выведать... Знал Василий, что «безопаска» республиканская через свою агентуру шарила по всем кишиневским казенкам-садиловкам и «крыткам», и все безрезультатно; от безнадёги пробовал добровольцем напроситься опять, хоть бы даже и в штат к ним пойти. Но ребят хватало там, да и что толку им с новичка – тем более в состоянии таком...

И состояние было, да – некуда хуже. Это ведь Гречанинов, не кто иной, первым ему ту весть принес – за два-то с небольшим месяца перед тем, как самому пропасть. Через сельсовет села соседнего, через посыльного на хуторском поле нашли его, мобильник в руки сунули, поначалу и голос его в трубке не узнать было, осиплый: «Вась, ты держись... ты слышишь? Держись...»

А держаться нечем уже было, не за что... зубами за воздух? Но и воздуха будто не стало, сел где стоял,

слышал в трубке голос его трудный и молчал, землю нагребал на сапог – брал в руки ее, апрельскую спелую, рассыпчатую, и сыпал, нагребал на сапог и сыпал.

IV

Уторок был подталый, без всякой стылости в себе, а с одною только свежестью и горьковатыми таволжаными запахами освободившейся вконец от зимней тягости, раскованной воды – первый такой за все его время тут; и видно стало сразу, как много его съело, снега, за ветреные эти и неприветные недели и дни, как источился он, подсел и провалился до земли даже в огороде нехоженом, изгрядился вытаявшим сором, уже и проталин-то, грязи куда больше, чем изнуренного его. Небеса в высокой и тонкой наволочи теплой, жемчужно-палевой, просвечивающей кое-где едва ль не до голубизны, солнце где-то близко за нею, будто даже пригревает сквозь нее; и пошумливает откуда-то, погуркивает, вроде бы с речки... дойти, что ли?

Сходя по улочке своей, разъезжаясь ногами по грязи и остаткам наледи и за штакетины палисадников хватаясь, издали еще увидел покойную, небом отсвечивающую гладь ее, воды, подтопившей ближние, словно бы дымом клубящиеся кусты краснотала, чернильно прорисованного кое-где ольшаника; а на ветлах луговых горланили хрипло и вились в переплетенье ветвей, тяжело махали крыльями тощие, встрепанные с перелета птицы... Вернулись, Ванька, наши грачи. Миновал закрайками нижние огороды, фуражку снял, ловя лицом ветерок талый полевой, то тепловатый, а то снежно-остудный, попирая сапогами растительное всякое летошнее веретёе. И на взгорок вышел ковыльный по-над поймой, успевший

провянуть, и сел у свежего, ребятишками, должно быть, нажатого кострища, на отбеленный солнцем и дождями прошлыми камень-плитняк.

Льда и следу не было видно уже, да и редко в какую весну бывал он тут, ледоход, по многоснежной развесне и когда еще плотинка ниже Шишая стояла. Невысокой нынче воды хватило только бережки призапотопить, ерики подпереть низинные, кое-где заползти вкрадчиво на огороды и капустники: тихая стояла там, дремная, подняв мусор всякий и отраженья в себя опрокинув, посвечивая. Несло и крутило ею, изжелтамутной, лишь по руслу; а издавал голос, бурчал в водомоинах и прыгал шумно, расшибаясь по плитняковым уступам противоположного обрыва, не Бог весть какой ныне водоскат с заречных ложинок и протаявших, посорочьи пестрых полей.

Вот она, весна, хоть и припоздалая, но мало в чем переменявшаяся тут, – вокруг и во всем, но не в нем. Не по возврату, это одно; но и будто отказано ему в ней, что ли, отчуждено от него чем-то – рядом, а не твое, не тебе предназначено, ты свое уже брал захлеб когда-то и выбрал, выскреб как некий лимит отпущенный, и рассчитывать больше не на что, даже и пытаться не стоит. Малым жить, что осталось, а там как Бог даст – с которым у него свои, он чувствовал иногда, совершенно особые и тонкие, но и смутные отношения, какие он и выразить-то не знал как, несказуемо это.

Он и не сразу, несколько позже, может, чем многие другие, но стал верить в Него – и не верить злему абсурду мира, не доверять всему вокруг творящемуся, да и как доверять было, когда так противоестественно, казалось, и дико пошло на слом все, на чем жизнь держалась сама,

что долго так и тяжело, с муками великими собиралось и выстраивалось, во имя добра же русскими собиралось, и все охранительные силы свыше, казалось бы, это добро беречь должны были, время дать ему вызреть, отсеять злое, негодное... Или дать в безбожье закоснеть ему окончательно? – говорил ему на это Гречанинов, едко шурился. На манер янки, что ли, только совкового типажа? Те ведь тоже думают, что они – пуп добра... А к тому и шло у нас, к потребиловке животной. К самодовольству, когда грех во грех не ставят. Нет, брат, согрешил – отвечай, вот закон духовный; а на чужие дурные, пусть даже и на худшие, ссылаться примеры – это все равно, что грязной водой отмываться... Значит, не то добро и не так мы собирали, раз таким тухлым оказалось... не прозрели, выходит, не угадали вышнюю волю, а хуже того – свою выше поставить захотели и под ее ж колеса попали, этак и с человеком отдельным бывает, с индивидуумом. И тут не столько чердачным, сколько сердечным думать надо умом, совестным; а у нас, грешников, и спинной-то не всегда срабатывает, инстинкты – и те заблокированы...

А он чувствовать стал это присутствие вышнего не как силы какой-то огромной надмирной, правящей всем, это было б и недостойным для нее, унижительным – править злом всеобщим, а как внутреннего чего-то в себе, не личного, нет, но глубоко сродного ему, близкого, с чем он всегда был и останется... да, с вечностью, которая жила в нем, хоть и была пока недоступна ему. И всякая вина перед собою и другими, выходило теперь, была виной перед Ним, от себя-то ее как-то еще можно скрыть, оправдать ли, но не от Него, не перед Ним... Дальше этого сама не шла пока у него вера, хотя вроде и понимал, что неполная она, такая, невсамделишная; тут либо уж верить, как

от веку оно полагается, либо менжеваться, болтаться в самом себе, как... Болтался, сил не оставалось ни на что, кроме как ляжку обтерханную, одиночную свою тянуть опять, и долго ли, до каких пор это и зачем? Он не знал.

Сильно, изначально властно пахло землей и коренем всяким от обрывчика, обваленного ребятней, сокровенно зеленели уже сердцевины ковыльных кочек у ног, солнцем грело проглядывающим, скользящим в высокой облачной пелене, а он не знал, за что так мир ненавидит его. И не одного его, душу живу, а – всех. И обида, в своей наивности едва ли не детская, какую давно уж не прятал особо от себя, лишь отгонял от греха подальше, отмахивался, как всякий куда как взрослый человек, опять о себе знать дала, вылезла: за что?..

Вопрос этот, он сознавал, ни смысла не имел, ни даже адресата – уж потому хоть, что обращен-то был к реальности все той же, безответной, которой он не верил теперь ни в чем, тяжелой какой-то и безысходной ненавистью ответной ненавидя ее; и она даже вопроса этого не стоила, не заслуживала, бессмысленно жестокая и переменчивая, а если что и означала с окончательной определенностью, то лишь сиротство и беззащитность в ней всякого человека, всякой души. И ни силой, ни моленьями покорности с ней не договориться, не заставить и не ублажить. И уйти от себя, пренебречь собою не давала, навязывала себя где грубо, силком, понуждая делать то, чего вовек не хотел, а где с издевательской, иной раз казалось, ухмылкой, отточенно тонкой своей злинкою прямо в сердце ширия, доставая...

И что тогда оставалось, остается ему – ненависть одна эта, вражда, никакого смысла тоже не имеющая, да

и смешная, если кому сказать, признаться? Но и она, изнуряющая, тоже требовала немало сил, каких у него не было теперь, повымотало, да и толку-то – собачиться... С сачком большим, саком походить бы, полазить по бережкам, где-то ж был на чердаке – но и сетка ниточная сгнила давно небось, кому тут рыбачить было, за снатью следить?

Возвращаясь, в магазин решил заглянуть, за хлебом. Несколько баб, задами прилавков подперев, судачили о своем, спиной к пустым полкам, где хлеб третьедневный в коробе, соль в пачках, сызнова закаменелая, да стиральный порошок и дряные, химические такие ж сласти турецкие для ребятни. Да водка, по нынешним временам дорогая, с дурной к тому ж наценкой. Взял пару буханок, свежий не скоро подвезут, «Примы» про запас, на крыльцо вышел обшарпанное, прикуривать стал. И услышал:

– Чтой-то поседел-то?

Оглянулся на голос – женщина невысокая в плаще синем под пояс и шапочке вязаной, синей же, его, может, возраста... нет, куда моложе, лет тридцати, наверное, но морщинки ранние, тонкие у рта, у скорбно приопущенных уголков губ, повыцветших тоже, и в худеньком лице знакомое что-то. От мягкого, но и сильного сверху света щурились не поймешь какие глаза, серые вроде, внимательные, а сама посмеивается, сумкой продуктовой покачивает – нет, не признавал.

– Не с чего кучерявиться...

И фуражку машинально надвинул, поглубже.

– А не узнал... – с укором улыбалась она, нестеснительно разглядывая его, смущая, одет-то в затрапезное

самое. Побриться, правда, догадало утром. – Всех небось нас перезабыл?

– Да почему ж?... Между делом вот заскочил, вожусь там во дворе. Нет, Кать, отчего ж...

– И глаз не кажешь нигде – задичал, да?

– Так а где? В клуб, что ль, ходить? На танцы?

– Да какой уж нам клуб... волков морозить в нашем клубе. Нет, я вообще...

– Дел много. – Ему неприятно было разглядыванье это, интерес к себе... нечем интересоваться, незачем. Небось уже наболтала Маринка всякое, дуреха, навывдумывала, дел других ей нету. А тут еще зуб этот – ну, в кузне не вставишь его, зуб... – Без глазу была изба, набралась разного... Пойду я.

– Да-к насовсем, что ли?

– Поглядим... – сказал он свое обычное на этот надоевший, уже и дергавший его вопрос, избегая глаз ее. И кивнул ей, повторил: – Ну, пошел я.

Шел, спиною чувствуя, лопатками взгляд ее, и в какой-то момент уловил, что не стало его, взгляда; оглянулся – она в магазин входила, ладная сыздали, хоть невысокая. С тех еще времен, может, волчья привычка эта осталась – глаза на себе чувствовать, с боев, на днестровский берег правый не раз привелось с казаками ходить, поневоле научишься. И само собою как-то вздохнулось, освободило будто: хватит, нечего о том думать. Не тебе думать, с прежним не расчихался.

А вот крыльцо давно подладить пора, какое-никакое, а лицо дома. И не стал больше откладывать: подвдвинул лесиной скособоченный угол его, припасенный чурбак дубовый подложил-подсунул, принялся менять полу-сгнившую дощатую обшивку, чтоб дырами не глядело,

из старья насобирав всякого, какое покрепче. Вот она и вся жизнь теперь – латку на заплатку ставить.

За неделю с небольшим согнало окончательно снега, попрятав остатки их дотлевать по логам и лесопосадкам старым, повыветрило и загустило черноземную по всей округе грязь, взяло теплом озимые на заречном поле-вом взгорье – свое наверстывала весна. Василий успел огородку двора подправить – заваливалась в иных местах уже доземи, залатать кусками рубероида и старого шифера крыши на избе и сарае, дожди ждать не будут; взялся было за полную приборку на подворье, когда позвал Лоскут его сеяльщиком к себе. Другой работы тут не ожидалось, да и за эту-то не деньгами, а кое-какими продуктами расплачивались, в магазине под запись; и несколько дней ездили они на центральную усадьбу, с горем пополам набрали из старья три сеялки на агрегат, остатки еще одной раскулачили на запчасти, но и тех не хватало все равно, приходилось дома сидеть, ждать, пока закупят и подвезут. Инженер порасспрашивал, кем-чем и где работал, вопросик подбросил: а если на кузню тебя посадить, на шишайскую, – потянешь? И у горна, бывало, подручничал Василий, металл знает, а тут немудрены они, железки. Но не сказал этого. Хотя стар кузнец дядя Володя, пенсионер уже, да и в запой срывается то и дело, а на живое место он не ходок.

V

Хламу навывтаило, набралось за годы материнского безмужнего житья... Расчищал, сносил его в большую рыхлую, смрадным мусорным дымом истекающую кучу посередь двора, под грабли убирал; и семенил за ним, а то сидел рядом и тоже глядел на дымную, с про-

бывающимся нечистым пламенем кучу эту своими немигающими бледно-голубыми глазами приبلудившийся на днях котенок, рыжий, как Лоскут, маленький совсем – сирота, видно, тоже. И дергал ушками на вздорный порою, на скандальный крик и чиликанье разодравшихся в вишарнике воробьев, оглядывался на них и на хозяина своего вопросительно: чего это они там?.. На хозяина, решил оставить его при себе Василий: всё не одному, да и надо ж кому-то мышам укорот давать – совсем обнаглели, по головам уже ходят. И недолго думал, Василь Василичем назвал, как-то оно и веселей.

Растаскивал сваленные в углу двора доски какие-то трухлявые и бревешки, опутанные соржавевшей до ломкости проволокой, кленовым хищным подгоном пронизанные, – вырубить и корни повыдрать, иначе все он тут, клен, позахватит, до конца дней потом не выведешь, – и некий сверху скрежеток средь воробьиного гама услышал и протяжный следом и нежный свист... Оглянулся, поискал глазами – никого. И опять свист, переливчатый, такой ото всех привычных звуков погожего утра отличный, новый и чем-то одновременно памятный, не вот и скажешь – чем... И скворца увидел на коньке прозеленевшей от лишайника шиферной крыши, черного – нет, с бархатисто-коричневым теплым оттенком, остроклювого, Бог знает с каких времен почему-то не видел их нигде Василий – с тех, может, как уехал отсюда...

А уже встревожилась и нервными выкриками исходила на скворечнике парочка воробьев, его старожил, особенно самец: топорщил возбужденно перышки, прыгал по крыше домишка своего и разорялся на всю округу, а серенькая самочка то заскакивала в леток, то

выпархивала боязно – может, яички отложила уже... Старый был скворечник, почернелый, Мишкой еще смастеренный в школьной мастерской, почти вниз глядел на понуро согнувшейся от непогод жердинке, к наличнику фронтона прибитой, и былинки какие-то с пухом торчали уже из самого летка: видно, доверху был набит за много лет гнездовой всякой рухлядью, а почистить некому, птица сама не сделает это, не разумеет...

Скворец оглядывался строго и деловито, клювом острым своим тыча в горизонт; крякнул легонько потом, подражая кому-то, может, на это они умельцы, и перелетел на скворечник. Спугнутые им воробьи брызнули вниз, даже не пытаясь защищать его, гнездовые свое, но недалеко; и заскакали по забору, возмущенные сверх всякой уже меры, то ль понося на чем свет стоит нагло, уверенного в себе пришельца, никакого ровным счетом вниманья на них не обращавшего, то ли жалуясь, на помощь призывая всех: рятуите, выселяют!..

– Не выселит, не орите, – сказал им вслух Василий: разборчив скворец и в забитое такое, тесное и глядящее долу жилище никогда не поселится. С уроков труда помнил это, когда учил их ладить и ставить скворечни хромой старик Григорий Иванович, Долото по прозвищу, дело знавший, как все старые учителя, но крутоватый, мог и клюшкой своей перетянуть в досаде, если материал запорешь, заготовку: «Куда глядишь-то, елова голова?!»

И верно, скворец заглянул в него с крыши сначала, перепорхнул затем, за порожек уцепясь и спинкой вниз повиснув, сунул голову в леток. Но недолго там высматривал, нечего; стрекотнул, явно недовольный, выругал-

ся, должно быть, – и в сторону прынул, оттолкнувшись, и ушел с набором высоты вдоль по улочке, пропал среди загустевших, готовых выбросить красноватые свои махры кленов. И качался еще, словно головой бесталанной поматывал пренебреженный, как, скажи, опозоренный скворечник – с сидящей уже на нем молчаливо нахохлившейся парочкой воробьиной, оскорбленной тоже... Улетел, а жалко.

Нечего делать, приволок от сарая колченогую лестницу, топором без особой натуги отковырнул от окантовки фронтона сопревшую чуть не до сердцевины жердь – как еще держалась под буранами, на чем еще держится все у нас. Снял скворечню, отнес к костру и когда топором же оторвал подгнившую дощечку дна и стал выдергивать проволочным крючком набитый до войлочной плотности колтун из травинки, пуха с волосами и помета – головой качнул невольно: чем не изба его, набралось-наслоилось всякого, не выдрать, не растащить...

Вычистил все в костер, воробьиной кладки яиц не оказалось, не собрались еще, видно... нет, разохся весь и полусгнил скворечник, щель на щели, только что не разваливается, и если годится еще, то лишь для воробьев, народца простоватого, непритязательного. А скворцы, Долото учил, сквозняка не любят, а особенно не терпят, если подстилки старой много, – всякая в ней, бывает, дрянь заводится, для птенцов опасная, паразиты ли, болезни. Разве что сбить-подбить его свежими гвоздями, шест ему сменить да на старое место. Скворцу, хочешь не хочешь, новый надо, не заманить иначе.

С первым он, отложив уборку, скоро управился; покурил, поглядел, как нерешительно, будто обескуражено даже все та же парочка молчком ныряла по очереди в него, скворечник, со случившимся осваиваясь, – ведь разорено же все, к чему привыкли, прахом пошло, можно сказать... Ничего, натаскаете, вам делов-то. У вас-то и нету другого дела, кроме этого. Но тут налетел откуда-то чужак – и прямо на крышу, самочку отпугнув, бойкий как на пружинках: огляделся, чирикнул крикливо, задиристо, капнул и сунулся было внутрь. А ему чуть не на хвост – хозяин; и свалились кубарем все трое, чиликая отчаянно и дерясь, в старый выродившийся куст сирени – тоже взяться бы, повырубить сухостой.

Набрал кое-каких дощечек из старого дровья и решил простенький сделать – односкатный, колодцем. Стороны дощечек, которые вовнутрь пойдут, рубанком ни в коем случае не скоблить; мало того, надо так их подобрать, чтобы остье на них, какое от распиловки бревна на доски остается, вверх глядело – птенцам так легче выбираться будет, цепляться, когда вырастут, на крыло становиться начнут. Ну, и размеры – не мал чтобы и не слишком велик, по птице, в меру... знать бы точно ее, меру, человеческую особенно, свою, да по ней бы жить. А не знаем, не умеем. Не дается мера нам, в такое бездорожье сдуру занесет, в темь – ног не вытащить, не то что завтрашнего – нынешнего не разглядеть. И дурь эта наша, видать, только с кровью выходит, с большой...

Строгал в сарае, наружную дверь открыв для света, было здесь устроено отцом что-то вроде верстака: широкая доска на расшатанных козлах, к ней прикручены поразбитые, с выщербленными «губками» тисы, служившие и наковаленкой тоже, уголком вырезанная

плашка прибита, это для упора досок, когда строгаешь, – вот и вся мастерская, в какой правилась утварь их всякая с инвентарем, все мастерилося, от зыбки до гроба. Всегда больше с деревом дело иметь любил, чем с железками, – теплей оно, живее, рукам сроднее, что ли; да и вообще, не получалось что-то из него путного пролетария, как ни загоняло в техникум тот же, в цеха разные, к станкам-агрегатам. Все на волю тянуло, он и женился-то на этой самой воле, на своей, на сельской... нет разве? Отчасти и так, может. Все казалось, будто лучшее время свое взаперти он проводит, теряет едва ль не попусту, и без него день Божий где-то за стенами начинается, распогоживается, солнце вскатывается, смелеющим теплом охватывая все, а то, может, гроза предвечерняя содрогает небеса и воды, полощет шумящие умоляюще, врасплох застигнутые кусты – да мало ль творится что за день на воле, за стенами цеха, не наглядеться иной раз; но даже и краем глаза если или, за делом, вовсе вроде не глядя, – все это с тобой все равно, не мимо тебя, когда на воле. Мужик земляной – ты и есть мужик, видно, и нечего было зариться на чужое, одежды и судьбу чужую на себя примерять, незнаемую. Отняла вот все и выкинула, назад отправила – и, может, правильно сделала.

Продолбил леток – не маловат? А большой зачем, непогоду ловить, дождь? В ней и тельца-то никакого, в птице, одни перья. С внутренней стороны чуть пониже его прибил полочку – «для удобства», как Григорий Иванович говорил, и чтобы сороке ли, вороне до птенцов не дотянуться, еще те любители... А с сыном, с Микой, так и не смастерил ни одного, не пришлось. Не догадался, да, и что-то не было там скворцов, не ви-

дел. Аисты – да, были, и он еще удивлялся, как это они людей не боятся. Уж кого бояться если, так это людей, пуще всякого зверя... И полочку наружную тоже, совсем невеликую, чтоб только скворцу уцепиться, а не как некоторые: просверлят и палочку крепкую вставят – как раз для тех же любителей. Сядет на нее ворона, сунет голову, а скворчата тянутся, думают – отец-мать с кормежкой... нет, ничего понарошку здесь не бывает, жестоко все и всерьез. Но за скворцов-то хоть есть кому думать – а за нас?

Да хоть чутье бы какое-никакое, инстинкт – где у нас он? В гости она поехала, гостеванья ей, дуре набитой, не хватало... вот зачем? За каким?!

Бессильная злость накатила, и тоска, и жалость опять несказуемая – бросил топор, на порожек сел в двери, закурил, спички ломая, руки тряслись... что, совсем уж психом стал? А кем еще... Как не отговорил тогда ее, жену? Ведь не хотел же никак отпускать, не по сердцу все было это – а будто в ступор какой попал, впал: раз ей сказал, Оксане, чтоб не ездила, другой – беспокойно там, на правобережье, шастает и балуется шваль всякая недобитая, из-за кордона подзуживается... Нет, уперлась, за неделю собираться взялась: все школьные друзья-подруги, дескать, там, сто лет не была. А на третий ему бы вытряхнуть чемодан и одно сказать: не поедешь! Или без сына бы ехала пусть, раз уж так загорелось ей, – может, и одумалась бы. А не сказал, примак. Не в своем дому, а тещь с тещей всё в ту же дуду: та шо, мол, злякаться, тамо же уси свои, це ж вотчина наша, и стилики ж рокив ридных нэ бачили!.. Хохлы же, упрямей черта. И как связало его, оцепенило, ни слов, ни воли не нашлось – рукой махнул, тем более с тракторишком не-

лады, с темна до темна с тестем налаживали-переналаживали его, а уж культивировать пора, весна. Ихняя, мартовская, как наша майская – земля мигом поспевает, в какие-то дни. А Мика все около него вертелся, лънул к нему, любое подай-принеси с готовностью такой старался исполнить: как ни хотелось в гости прокатиться, в сторону незнаемую, о какой порассказали ему, а с отцом-то лучше, и с неохотой какой в машину лез, оглядывался...

С братом двоюродным Оксанкиным на его «жигуленке» отправились, тот по делам каким-то своим коммерческим, да ведь и не в первый уж раз ездил. Часу не прошло, как отъехали, а хоть беги за ними – так разняло что-то, растравило беспокойство. Но так ли, сяк, а утишил все-таки, почти уговорил себя: ну да, бывает всякое там, безобразничают наци и подонки всякие – а где теперь этого нет? И ездят люди, попривыкли уже, что ли, притерпелись – как, скажи, к скверной погоде...

Но нет, предупреждало же что-то, давало знать, а он не услышал толком. Не прислушался, вернее – не внял, и кто ему теперь виноват? Не мальчик, должен бы знать и знает же, где живет – в нещадном, людском, какое лишь притворяется, что будто бы не знает, не ведает, что творит, даже и справедливостью вооружась, как арматурным прутлом-двадцаткой... И только во сне том, словно на затертой видеопленке повторяющемся какой уж год, где и краски, и звуки «плывут» уже и фальшивят вовсю, верит он в справедливость; а как до дела, до жизни – нету ее, справедливости, и не было никогда, похоже, а есть... что есть? Самовольщина есть, у каждого своя, и всякий готов свою за правду счесть, махает ею как дубиной, да, и стреляет из нее же, из самопалки, аж ще-

пье летит... И даже тщеславился он ею, правотой своей, и сейчас еще нет-нет да погордится; но в том-то, может, как раз и беда, что ведь есть она у него, правота, самая вроде бы прямая, – а лучше бы, думаешь, и не было бы ее вовсе, никакой, чтоб глаза ею людям не колоть, на зло не вызывать. А по-настоящему если, то и нельзя тут, в людском, правым быть, невозможно – обязательно другая найдется, правее твоей. Да и самому покоя не даст она, правда твоя, всю нутрянку выест, ревнивая, а что ею докажешь? В мире этом неправом, в подлое как никогда, наизнанку будто вывернутое время – ничего. Только трясучку наживаешь вот эту...

Отвлекая себя, на небо смотрел в волглых, серостью понизу подбитых облачках, недвижно, казалось, расположившихся в размытой, в мягкой голубизне его, переливчатое свиристенье жаворонков слышал там, над заречными, дымкой солнечной повитыми полями, над Шишаем, успевшим незаметно как нежной прозеленью взяться уже, подернуться. Заждавшаяся своего часа, скорая везде и спорая шла работа, видимая, а больше неприметная или вовсе незримая, исподволь где-то совершающаяся, являя глазу если не вполне готовое что-то свое, то изготовившееся уже, знак ли свой, примету ли: повылезли всюду, где ни скребни граблями, войлочно-белые и будто паутиной облепленные сверточки и комья лопуха, насплошь заросло им подворье, по прошлогоднему будильнику судя; почки на вишеннике лопнули кое-где – и с пробелью затаившихся в них цветков, если приглядеться; а сирень так и вовсе со дня на день выкинуть листья готова, и грачи уж давно обустроились на гнездах, примолкли, отяжеленные летают, семейным прокормом озабоченные... Все торопилось,

этой раскатившейся работой подгоняемое, спешило оказать себя; а он не то чтобы отставал, с делами какими не управлялся, не попевал за весною, за днем ее, какой год кормит, нет, невелики теперь его заботы, – но будто опять как в стороне ото всего, поспешающего, лишь как свидетель какой; и в этом зазоре ли, прогале меж ним и всем остальным словно бы ледяной какой сквознячок отчуждения потягивает, забыть о себе не дает... в провале этом, да, в нем самом, человеке, случившемся, где пустота мерклая поселилась, безнадега, с какой неизвестно что делать, как избыть. Да и надо ль оно – избывать.

Стал сбивать скворечник, в ржавой трухе ящика инструментального копаясь, отыскивая и прямя на тисках старые, будто нарочно искрученные, гнутые-перегнутые гвозди. Сгодятся и старые, крепче сидеть будут; но уж если сбита шляпка, свернута набок – хрен ты забьешь такой. И волей-неволей опять тут сравнишь с человеком: свернута если у него голова – всё, что ты ни хошь делай, а не выправишь...

Шест подыскал попрочней, прибил – все вроде? Нет, ветку бы сбоку надо – для песни, как говорится, да хоть из вишенника вон, все подольше послужит. Засохшую, крепкую как кость, срезал, проволокой прикрутил к шесту, теперь и ставить можно.

И ходил, приглядывался – куда? Летком на восход бы желательно, солнце встречать, да и сугрев первый не помешает никогда, после ночки-то. На баню если – низковато, птица этого не любит; на сарай, да, больше некуда. На старую глянул скворечню: как они там? Воробей сидел в самом летке, заткнув его собою и грудку выпятив, хозяином глядел самодовольным, а самочки не видно было... нет, на забор вон порхнула с земли, серенькая,

в клюве пушинка ли, перышко – время не теряют, однако, да и чего ждать-то?

Когда закончил со всем, на часы, гречаниновскую память, поглядел: пустяки вроде, забава, а чуть не полдня провозился... Не ахти какой, может, на вид получился домик, но добротный, и теперь жильцов только ждать, квартирантов. И не замедлили они, уже прыгал по крыше и ветке, крутился у входа залетный какой-то воробышко драный, бездомовный, покрикивал запальчиво – мое! мое! – будто потерянное нашел. И насмелился наконец, юркнул внутрь, не тесен вовсе леток; а когда высунулся, выскочил на ветку потом, чирикавая что-то призывное уже, то видно было, что и увериться успел: мое!.. Еще за ордер подерись, крикун, больно легко жить хочешь.

VI

Больше, чем когда-либо, по-вдовьи постно, скучно было в избе – будто все ждала она кого; и он теперь все, считай, время свое во дворе проводил. Перекусил наскоро и к граблям опять, к лопате: вызовут если, выдернут завтра к сеялкам, то, считай, до конца посевной неприбран двор останется – уже сеют, у кого налажено. Продирал граблями бурьяны и давно не копанную, заклекую в бесплодии, разве что сверху и ненадолго отпаренную малость по весне землю, прикидывал, где и что посадить-посеять, самое что ни на есть обиходное – лук-чеснок там, огурцы с помидорами, что у соседей семенного подвернется, у доброхотов. Наверх поглядывал иногда – без перемен, все те же лишь воробы крутятся около, то вздорить начнут из-за нового жилья, хай поднимут, а то снимутся все, пропадут вдруг, будто еще важней где-то у них дела...

И с уборкой успел Василий покончить, под грядки копать принялся, где посуше, когда появился он, скворец, – и опять неожиданно, как новость. Знакомый уже посвист услышался, клекоток – и вот он, подарком на ветке той вишневой скворечной покачивается, строгий в оперенье темном своем и несуетный, острым клювом нацеленный куда-то поверх всего. Перепрыгнул на крышу, слегка в нее клювом ткнул, проверяя словно, и безбоязненно перепорхнул, уцепился за полочку летка, заглянул туда. И скользнул в него легко, будто смазанный, только хвост торчал – нет, хорошо все-таки, что шире не раздолбил, – а потом и он пропал. Долго, показалось, с полминуты не было его, и только подрагивала как живая скворечня сама; но вот появился, оглядел окрестности, на него, человека, глянул мельком тоже, как на нечто привычное и не мешающее, и по всему стало видно, что это скворец зрелый, опытный, не раз живший в скворечниках именно, при людях; а тот ли, утренний, или другой – какая разница... И заскворчал по-домашнему мягко, рассыпчато – довольный, что ли?

И уже с крыши дощатой такую выдал трель горловую зазывную, с прищелком и коленцами, что даже Василь Василич, успевший набегаться за оранжевыми бабочками-крапивницами, ранними самыми, и на сугревке прикорнувший, – и тот услышал и детскими беспонятными глазами глядел наверх, к птице, рассылавшей окрест переливчатые и далеко, верно, слышимые призывы, томления эти и обещанья страстные...

Улетал на какое-то время, недолгое; и опять возвращался, проверить не забывая, не залез ли ненароком кто, не захватил ли... нет, явно уже было, что выбрал это именно, а не какое другое жилье, да и кто их и где

ждет-то теперь, скворцов? Самим до себя нынче людям стало, со своей бы неурядицей великой, дурной донельзя, справиться – кому их чистить тут, скворечни те же, если даже и есть они, иль новые ладить? Ребятни совсем не осталось, и он удивился, со школьниками утром раненько автобуса дожидаясь, какой возил их на учебу на усадьбу центральную, а они с Лоскутом и мужиками к сеялкам своим и тракторам в мастерские собрались: и половины старенького «пазика» не набралось детвы, а раньше и в два таких не усовались бы, да еще в самом Шишае начальная была школа... Некому, и потому, сдается, и не видел он их нигде, в городах тем более: это люди туда понабились – дышать нечем, а скворец – птица сельская, вольная, он за плугом ходит и до помоек городских не опустится. Да, какая-никакая, а все-таки воля здесь, хозяином себе будешь, если захочешь; а сдохнешь – так хоть закопают по-людски, а не лопатой бульдозерной, не в мешке полиэтиленовом для отходов... И некуда ему и незачем больше ездить, тоску ловить... что, так уж и решил? Спросить-то себя спросил, а отвечать, зарекаться надо ли, опять же? Торопиться тебе некуда, если б и хотел.

Брякнула щеколда на калитке, торопливо – по-иному и ходить-то не умел – продвигал к нему сапогами Федька, издали еще разудыбившись с чего-то:

– Двор-то, двор – не узнать!.. Эт когда ж ты управился?

– А что мне делать еще?

– А-а... нуда. – И голову вскинул – на скворца, рассыпавшего вдруг очередную дробь свою с присвистом и гуканьем нежным, ни малого даже вниманья не обращавшего на них внизу, будто их не было вовсе, будто он – один... – Эка его... разывает. Да ты ему, брат ты мой, во-он чего...

– Да так... Сгондобил наспех. – Василию неловко от чего-то сделалось, словно за стыдным застали. – Пусть.

– Я б и сам, это, помастерил – а колгота такая, что ширинку застегнуть неколи*... – И глаза на штаны свои замурзанные, рабочие опустил, зашелся смешком, пальцами корявыми заправляя невинно глядящую пуговку: – А-ах-ха-хи-хи-и! Во, гляди... точно! – Отсмеялся, носом шмурыгнул. – А я к тебе чего: банюху под вечер топить буду – приходи. Часу так в восьмом. Посидим, это, суббота же. А то запятят завтрава, может, запрягут на посевную... – И помялся, показал, как школьник, бутылку в кармане, заткнутую газетной заверткой: – Мы, это... давай-ка, брат ты мой, по маленькой пока. Хорому-то обмыть. Как ты?

А и в самом деле, брат – по несчастью. По беде по всякой нашей.

– Никак. Слышь, Федьк, ну ее на хрен – сейчас. Голову мутить – а за каким, скажи? Ну-ка, дай... Давай-давай, – прикрикнул усмешливо, вытянул бутылку у растерянно улыбавшегося Лоскута, сунул себе в боковой карман куртешки. – Чистая там у меня... завалилась – сам поставлю. После бани. А муть эта пусть у меня постоит, тебе ж и сгодится как-нибудь – лады?

– Да уж и то... – в некотором смятении согласился Лоскут, пошкрябал рыжую щетину. – Вроде как по случаю, огород тут соседу вспахал – а надоела как грех, вообще-то... Всю ее, паскуду, не выпьешь.

– Ну. Посидим вон давай, покурим.

– Эт он что ж, без пары? – на ступеньку крыльца присев, спросил Федька, кивнул на замолчавшего, приустанов-

* Неколи (просторечн.) – некогда.

шего, должно быть, и перья чистившего скворца. – Один, сердешный?

– Ну. Ищет.

– Не, я б один не осилил... ну, жить. Слабак я на жись, вот честно... – с какой-то искренностью непрощенной и обескураживающей, от которой Василий отвык давно, сказал он, щурясь безброво на блистающее, хоть и к вечеру катилось, все такое же свежее внешнее солнышко. – Не по мне. Иль бы спился, иль не знаю што... забродил бы, так средь людей и толокся бы. – И вздохнул: – Натура.

– Натура – она дура... – только и мог сказать в ответ. А и нелепый мы народ – вот почему? И что мы в откровенья перед всяким встречным-поперечным лезем, не зная броду, душу вытряхаем перед всеми... что расшеперились перед целым светом с нею?! Нужна она ему!.. Вон хоть этих взять, как их... англосаксов, язык их: пишут буквами одно, читают-выговаривают по-другому вовсе, а уж думают совсем третье-четвертое – их-то голыми руками, как нас, не возьмешь. Английский оккупационный, так Гречанинов язык их называл.

И ладно бы – со своими откровенничать, вот как сейчас; а то ведь с кем ни попадя такое может брякнуть наш человек, чего и себе не вот скажешь; а зачем – и сам не знает... Как их отучить, таких, коли жизнь не научила? И тиснул плечо его, оставил руку на плече:

– Ладно, брат... не тебе об этом думать. Вон их сколь по лавкам твоим. И родни полсела.

– Эт-то да. Лишку даже-ть...

«Лишку»... Ну, реквизнул у него бутылку – как, скажи, парторг, а дальше что? В другой раз не с тобой, а с кем иным разопьет, вот и все дела, думал он, отваливая вилами улежавшуюся за годы – когда тут последний

раз мать копала? – вязкую, да и толком еще не про-
снувшуюся землю, слитными комьями выворачивалась,
и каждый надо было бить-разбивать. Какой там ни есть,
а брат, да; но разве что в младшие годится, и возраст
тут ни при чем, коли уж в другом, главном, недоросток...
или маленькая собачка довеку щенков? Да нет, не ска-
жешь вроде бы этого; но когда мы повзрослеем по-на-
стоящему наконец – все? Сколько можно тешить дядей
матерых чужих, со стороны, умных и злых, от каких по-
щады вовек не жди?..

По копанине, на глазах подсыхающей, мелькнули
тень-другая, скворчанье рассыпалось в воздухе, он под-
нял голову – нашел, привел-таки!.. Скворчиха, самую
малость, может, поизящней самца, потоньше, с сине-
зеленым металлическим, как на пережженной токарной
стружке, отливом, оглядывалась с ветки – и не то что
придирчиво, но, показалось ему, как-то равнодушно: ну
и что ты, дескать, тут нашел, чтобы звать?.. А скворец
возбужденно прыгал по крыше, скрежетал с придыха-
нием, на ветку перескакивал и назад, а потом занырнул
в скворечню и тут же к ней опять, крылышки топыря
и лапками перебирая по ветке, перемещаясь и тесня
ее, уговаривая, должно быть; и она, то ли недовольно
стрекотнув, то ль снисходительно, отпорхнула к летку
наконец.

Что в ней заметно было, так это отстраненная, хо-
лодная какая-то деловитость. Осмотрела вход,
откидывая головку назад, сунулась туда в раздумье –
и втянулась не торопясь, исчезла; а скворец оглядывался
грозно с крыши, оградить готовый, в случае чего, отпор
дать всякому посягнувшему. И он усмехнулся невольно
схожести всей этой с человеческим, семейным, даже

головой качнул: а уж не слишком ли похожи, в самом
деле, чтоб так заноситься нам перед ними, черт знает
что о себе думать? Есть, дадена зачем-то жизнь – вот
и живи, не дергайся почем зря, не баламуться, а жизнь
сама куда-нито выведет, выедет...

Нет, есть она, разница, и великая. Им-то не надо не-
подъемное подымать... решать нерешаемое, да, много
чего знать и понимать, а больше всего – бессилье свое
понимать и неразумие, какое и лечить-то нечем.

Он упустил момент, когда скворчиха покинула его
новострой; и сидела уже на крыше, перебирала клю-
вом перышки – совершенно по-женски копаясь в них,
одергивая и прихорашиваясь, а самец трещал что-то
и гулил, прыгал в беспокойстве и ожиданье около, опять
было в скворечник сунулся. Но тут она снялась, он за
нею следом, всполошившись, – и канули в вечеряющем,
греющем ласково рассеянным теплом своим солнце, за
соседскими крышами...

Свою баню, какую собрали они когда-то с отцом из
всякого бросового разнолесья, он топил изредка, лишь
бы воду согреть и кое-как помыться, на смену чего
простирнуть. Каменка полузавалилась и жару не дер-
жала, считай, гнилые половицы хлюпали в жиже, вме-
сто сгнившего тоже полка́ доска какая-то пристроена,
а стен не задень, в многолетней прогорклой саже все...
нет, горе это, а не купанье. И стыд насел, припер: ты
там катался-мотался, удачу за хвост ловил, а мать это
логово за баню считала, мыкалась тут... Посевную сва-
лить, а там возьмется, переберет все внутри; а в кузню
определят, то и печку сварганит-сварит из железа и по-
белому выведет. И не миновать в лесхоз ехать, накатник
доставать и доски, горбылье хотя бы какое-никакое.

Сами навязываются, в руки лезут дела – и захочешь, а не отмахнешься.

Полотенце с чистым бельишком захватил, в сумку же и бутылку водки сунул – все? Как-то бы притормозить его, братца, а то не работа будет, а сплошной опохмел. Ведь же дельный, вообще-то, на все руки мужик, ему и верить можно – хоть потому даже, что он и врать-то толком не умеет, не научился. Народец гнилой пошел, из молодых особенно, да и ровесников его тоже; и даже там, среди своих вроде, если и верил Василий кому до конца, то Гречанинову лишь да, может, Пашке Духанину, казачку уральскому, другу. Пригоршню целую осколков вынули из Павла, четырех дней до перемирия не дотянул. Кто-то на них наводку точную дал, не иначе, потому что с десятков сразу снарядов положили кучно, едва они оборудовались в бетонной коробушке насосной той станции, еще и огнем-то себя не успев обнаружить, – из тыла своего наводка? Кто уцелел, так и думал; чуть братской могилы не получилось из насосной, двоих потеряли там, да и всем досталось, не обошло осколком и его. И через пару дней ребята из спасательного отряда накрыли случайно наводчика, с рации работал, оказалось – лейтенант российский. Правда, молдаванин, но и среди наших же были ведь молдаване, стоящие парни. А этот из российской гарнизы, из срани офицерской, которая в казармах своих заперлась и столько месяцев в бинокли бойню наблюдала, пайки и кирзуху на дерьмо переводили, защитнички... вот он в Чечне и аукнулся всем, грех тот!

А ему самому не аукнулись – те, двое?

Да. Что-то в нем, в самой глубине его, ему самому недоступной, знает, что – да. Это не первый уже раз

приходит к нему – догадкой сначала, какую он отгонял как мог, на дух не принимая ее, не понимая даже: как это так, он же остановить должен был нелюдей тех, просто обязан был сделать это, иначе распояшется вконец и все захлестнет осатаневшее до степени последней зло, в мерзость окончательную и смерть все обратит!.. Но чем больше отмахивался он от нее, отрекивался, вглубь загоняя, тем настырней она становилась, сволочней, наверх лезла и уж никакой не догадкой, а мыслью оборачивалась, знанием, которое теперь никак не зависело от него, своим кровотоком жило... да, всё откликается на всё, зло на зло тоже, и чертово эхо это, само на себя уже отзываясь и умножаясь несчетно, в огромное, всесветное замыкается кольцо самоотражений, в колесо дурное крутящееся, где уж и сами следствия, сзади догоняя причины свои, подталкивают их, понуждают к действию, чтоб самое себя родить сызнова, и нету злу конца. И катится это колесо, подминая все и ломая в прах, – но и непонятным образом возрождая к жизни все, воспроизводя заново, чтоб опять на муки отдать, на страданья великие ради чего-то... чего?

Но он же знает, что прав, он хотел остановить зло, хоть одну цепочку поганую порвать эту, прервать – а оно, выходит, только растет оттого, бесится, и что там ему правота человеческая или неправота...

Потому опять же, что – человеческая, самовольная? Самоуправная, какого-то высшего на себя согласия и оправдания не имеющая? И как оно дальше жить – без оправдания этого, как плохое-хорошее различать, это уж и вовсе тогда самовольство людское разнуждается, что ему поглянется, то и за правду сойдет, то и впору...

А разве здесь оно, спросить, не сызвеку так? Тоже

мне, нашел непотерянное... Так, и все замкнулось опять на себя, не расцепить; и будто уж вина какая-то на нем, неопределенная и в то же время тяжкая – за одно только то вроде, что живешь, допущен в жизнь эту... а он ведь и не просился, никак уж не напрашивался сюда, в этот хреновейший из миров. И его не спросили, не заманили даже, а просто сунули в костоломку эту, в душеломку, и живи как знаешь. Исковеркают, измочалят и так же, не спросясь, выдернут – да пристращают еще, прежде чем душу вынуть...

Притоптал раздраженно окурок, вздохнул, с чурбачка поднялся, пристроенного им в затишке для перекуров... что путного надумаешь, на пеньке сидючи, много ль с него разглядишь, с низенького своего, человеческого.

VII

Первое, что увидел в кухне, лоскутовский порог переступив, не то что смутило, а неожиданностью своей задело его, и неприятно: за столом сидела и лепила пельмени Екатерина – и, видно, только что из бани, в косынке, с распустившимся, еще пятнами розовеющим лицом и молодыми совсем глазами... Улыбнулась ему, сказала громко Маринке, возившейся в закутке у плиты:

– А вот и пропащий наш!.. Ждать-пождать его – нету; Федя и пошел, дрова заодно подкинуть – только-только вот...

– Догоню, – сказал Василий и достал, помешкав, бутылку, шагнул, поставил в дальний угол стола, за чашку с мукой. – Здравствуйте вам.

– Здоров был, – выглянула из кухоньки Маринка. – Во – к пельменям-то!..

– А мы сразу в баню... что ждать, пока вы сходите? –

говорила, пальцами ловко работая, улыбочиво поглядывала Екатерина. Но горькая морщинка в уголке губ не расправлялась даже и тогда, казалось, когда улыбалась она – бойко вроде с виду, но и будто просяще, виновато бровки подымая, взглядывая беспокойно. – Пока приготовим тут, соберем... Вы там не спешите.

– Куда спешить, – сказал он, – дню конец... Он все взял, ничего прихватить не надо?

– Да-к нас бы, – это из закутка смешок, довольный, – да мы уж напарены...

Вот чертовка, злился он на Маринку, пробираясь узкой дворовой тропкой обочь яблонек, топыривших в глаза набухшие ветки и почки, на зады к бане, – удумала же. Неймется им, бабам, дай им свести-развести... Но и со стеснением каким-то в груди ругался, чуть не с волнением, не сразу осадил себя – голодуха мужичья, что с ней сделаешь?

В печурке, с предбанника топившейся, играло в щелях и погуживало пламя, а Федька уже разделся, телом худой, мословатый, в рыжих тоже конопинах и подпалинах весь по бледной до голубизны коже.

– Щас подкалим! Ты как – паришься, нет?

– Да при случае.

– Ну, веник есть – старый, правда-ть, до новых теперь... Заходил? – Василий кивнул, скидывая поскорей грязное, пропотелое: хоть разок искупаться как надо, как оно следует. – Не, баба она ничего, – оправдывался на его молчание Лоскут. – Наскучалась. Ей до матери, сам знаешь, на другой аж конец, ежли в баню, а со свекровкой – ну, бывшей, – не ладют, года три как разъехались... Ну, и к нам ходит с мальчонкой, завсегда почти... нам оно жалко, что ль? А это что за... – И пальцем жестким ткнул его в спину. – Откудова?

– Да так... черкнуло. – И добавил, не сразу: – Гаубица родная, советская. Стодвадцатидвухмиллиметровая – знаешь такую?

– Не-е, я в саперах ходил...

Баня дельная оказалась – грубовато, может, и косо-вато, но крепко и с умом Федором сделанная, хватало и пару; и само собой оно, прощенное-непрощеное, всплыло – как сына купал, совсем еще жиденькое с ребрышками и лопатками тельце его мочалкой тер-натирал, чтоб привыкал к грубому, а тот, отцу веря, терпел и лишь судорожно всхлипывал и фыркал, как котенок, ошарашенный, когда под конец опрокидывалось на него целое ведро до прохладного наведенной воды... И помогал наскоро одеться ему, сияющему промытыми глазками, хлопал по попке: «Беги! И мамку зови», – и Мишка, сынуля, бежал с полотенчиком сырым на шее, петляя меж огородных грядок и кустов спеющей черешни, ягодку-другую прихватывая с них; а потом, не сразу за делами за всякими, приходила с тазиком жена, и они вдвоем наконец оставались... Ну-ка, хватит. Незачем, хватит.

Сидел на скамье в предбаннике, откинувшись и прикрыв глаза, от веника отдыхая и от себя, не слушая почти, не слыша, о чем тарахтел Федька:

– ...сеялками займешься, значит, сцепкой, невелика мудрость; а я поршневую все ж гляну, не нравится чтой-то мне. Хоть и на ходу, а... А раскорячимся посередь поля и будем свистеть как суслики. Мы ж сеяли с Семкой... ну, с Катькиным. И поновей вроде трактор дали, а и с ним на ..., жены не надо-ть. Не, сгинул Семка – вот тут чую, – и в узкую безволосую грудь себя стукнул. – Объявился б иначе. Он ить как прикормленный был,

это... к Шишаю. Ну, отлучался там на неделю-другую, пропадал, а боле месяца николи*. Малость того... задорный, а на выпивку малохольный, со стакану чуть не в лежку. И сроду в какую-нить кучу-малу влезет, в историю. Он и с армии бегал, в городе ж служил, в автобате. Дня два тут попил – ну теперь, кажет, повидался, можно и на губу... Сроду такой. А ежли, так думаю, нарвался где и посадили его, так знать бы дали. И мать-отец до скольких уж раз в город ездили, в розыске давно, – не, как в воду...

Он таких обормотов перевидал – не счесть, все ими дороги-перекрестки «союза нерушимого» позабиты теперь, шалобродами, все темные углы. Дождались, обрадовались этой воле беспутной, в гробу б ее видать, пришлели и уж сами не знают, что ищут. Добро бы, дом искали потерянный, место для жизни – нет, и на дух им не надо этого, он-то знает. На словах, послушать, вроде б и так, а на деле колышка не вобьют, все им что-то особенное подавай, чтоб сразу и по полной программе; а чуть не так – у них уж и охота пропала, и глаза косят, куда б слинять, и дальше несет их за ветром, тащит куда ни попадя. Таких и на Днестре хватало, но там-то разговор короткий с ними: дело пытаться иль от дела лытаться?..

– Побанились? С легким, что ли, паром?

Это их Катерина встретила опять, усмехнулась одобрительно; и сновала, легкая на ногу, меж закутком и столом, собранным почти, и уж другое платье на ней было, синее со сборчатым открытым лифом на маленькой груди, а длинные, чуть подвитые волосы темные на

* Николи (просторечн.) – никогда.

спине лежали, удерживаемые около ушей цветными заколками, и что-то праздничное даже было в ней, да, хотя всего-то и есть, что субботняя баня. В передней, через открытую дверь, избе перекликалась, играла ребятня.

– Ага! – сказал ей Федька и крикнул туда: – Ну-кося, команда голопузая, – в баню! И чтоб мне там не баловаться, а купаться как следоват!..

И они высыпали разом, галдя, – ждали, видно: трое Федькиных парнишек, еще те прокудники, и последним за ними малый лет семи – Катеринин, понятно, с большими внимательными глазами и бледноватым отчего-то лицом; он один и поздоровался с Василием, и тот ему ответил, кивнул, серьезно тоже.

Сели, Маринка большую семейную, выдавшую виды миску алюминиевую поставила, полную горячих пельменей, скомандовала тоже:

– Наяривайте, айдате!

– Мы уж от чистой-то, это... отвыкли, да, – причмокнул даже довольный Федька, разливая водку по стаканчикам, – нам она теперь за тот самый коньяк. Ну, за баню.

И хоть пельмени оказались варениками с рубленой картошкой и салом, все равно едовыми были, хорошо шли – что говорить, оголодал на холостяцких своих харчах-разносолах, где солцы больше, чем еды... всяко оголодал, это уж точно. И старался не глядеть на сидевшую напротив Катерину, веселую будто бы, тарелку с соленостями подвинувшую ему, но как-то несмело отпившую полстаканчика, передернув плечами. А хозяйка, как ей и положено, углядела, хохотнула:

– Что, думал – с мясом? Не-е, не выходит разговленье... Так вот и живем: скотины полон двор, а мяса,

почитай, не видим. Девке нашей вон в одиннадцатый идти – в валенках непустишь, то да се подай, а с каких? А тут на оглоедов этих не напасешься, на всяко-разно по домашности... Год целый растишь скотину, ходишь за нею в говне по уши – а закупщики эти, ездют тут... обиралы, задаром ить отдаешь, деньги посчитаешь – хрен да маленько! Помянешь советску власть...

– Ладно-ть... на картовке – не на лебеде! – беспечничал хозяин, опять уже бутылкой нацеливаясь. – Вырастут, еще нас перерастут! У нас-то оно терпимо, силенки пока есть; а на других поглядеть... И пшеничку парят с горохом, и... А ты что это – не допивать? Иль стесняешься?!

– Ну, из меня питок... – отмахнулся Василий. – Я лучше пельменями возьму, в охотку. А вот на посевную вовсе завяжем... лады?

– Во-от!.. – возликовала у плиты Маринка, заварку новую засыпая. – Во как надо-ть!.. А то заявятся с уборки иль сенокосу – как со свадьбы все, скажи, рожи паленые! Пропивают боле, чем зарабатывают.

– Ну, свой карман николи не тряс. А раз угощают, да-к...

– Вы что ж, значит, на пару? – участливо спросила его Катерина, хотя наверняка уж знала о том. Лицо, все черты его правильные у нее были, малость только мелковаты, может; небольшие тоже, серые с сининкою глаза смотрели прямо сейчас и все понимали, морщинки у губ собрались во что-то жалеющее. И он опустил взгляд, пошарил им по столешнице, усмехнулся:

– Да вот... пара гнедых. Не знаю, что и наработаем...

– Сработаем, не бойсь, были б запчасти. Да горючка. Инженер деньгами посулил, ежели зерно прошлогоднее сбаврют, продадут.

– Ага, они сбегут – в свой гаманок... Уж в городе обстроились, перевозятся помаленьку. А мы тут кукуй...

Говорили так, Лоскут потом взялся рассказывать, как они с Кузёнком, Степой Кузенковым, на базар в город по зазимку ездили, по пятку гусей, разделанных уже и замороженных, хотели продать, и как их там прижали эти... ну, как их там, Юлюшка?

Юля оторвалась от старенького телевизора черно-белого, то и дело не по сезону показывавшего «снег», сельцо-то в лощине, – выглянула, сказала: рэкетмены. Вот-вот, самые они; и не то что амбалы, наоборот совсем, шантрапа черножопая, а наглые – страсть. И как Кузёнок гуся им оставил и деру к «москвичонку» своему, где Федька его ожидал, – и по газам, а те уже бегут... Выходило смешно, с гусем особенно этим: понес показать, называется... Доведись дома, Степа говорит, я б таких один разогнал, дрыном; а не дома. Так и что ж, не в лад угрюмо поинтересовался Василий, назад привезли? Не-е, какое: в микрорайон Степа догадал заскочить, по квартирам пошли – мигом раскупили, стать не дали. Как-то так глянули на нас и поверили: не шаромыжники какие, видют же. Раза два потом туда ездили, с тем-сем.

– Три, – сказала Маринка. – Забыл, как свинину развешивали, фасовали?..

И поужинали, собрались во дворе покурить, Василий уж подумывал, как бы так уйти к себе, предлог поприличней найти, когда зашебуршела в сених, затопала и ввалилась ребятня – молчаливая непривычно, полуодетая и растерянная. И впереди на этот раз – Катеринин, молча плачущий, в накинутой на голые плечи куртке и ботинешках разбитых, тоже на босу ногу...

– Што такое?!

– Да вон... обварились, – сказал старший сурово, мотнул головой на остальных. – Петька, шнурок, с ковшом не управился.

– Это как то исть – не управился?

– А так – дюже много зачерпнул, ну и, это... не донес. Толика вон облил и себя тоже, дел-ловой.

– А ты куда глядел? Я как вам сказывал – не беситься чтоб, а путем!..

– Да не бесились мы, а говорю ж, не управился просто... за ними уследишь, за шнурками!

– А я вот управлюсь!.. – Мать отвесила старшему подзатыльник, нешуточный, и тот набычился строптиво, замолчал. – Оглоеды! А ну-козь, показуй, што там... да не ревите, погоду, щасик глянем!..

Не понять было, кому она сказала это; а Катерина кинулась к своему, и таким несчастным сразу, горьким стало лицо, в такую сиротскую скобку обиженную сдержнулись, как у девочки, губы ее дрожащие, что ворохнулось все в нем, и Василий подшагнул, на корточки тоже присел перед мальчишкой, сказал бодро, как мог:

– Ничего-ничего, брат... больней не будет. Ты ж мужик. В школу ходишь небось? – Тот кивнул, на него глядя страдальческими глазами большими, а не на мать, от него ожидая помощи. – Ну, вот видишь... Так, повернись-ка... о-о, да это поправимо дело! – И вроде как пошутил, ко всем Лоскутовым обернувшись: – Вы не весь еще гусиный жир-то схарчили?

– Да уж несу...

Сам смазал ему, не жалея жира, ошпаренное плечо худенькое, бок и лопатку – нет, не кипятком была вода, быстро пройдет. Помазали коленки и тугой живот и виновнику, рыжему ровеснику его и бутузу Петьке, какой

и не думал плакать, только сопел сердито, исподлобья глядя, и на материнское: «что, припекло?!» – буркнул:

– Подумаешь...

И получил подзатыльник тоже – для виду, впрочем, щадящий. Но выражение это – растерянности, убитости – все не сходило с осунувшегося враз лица Катерины, и Василий сказал еще раз:

– Да ничего, заживет скоро... ну, облезет малость если – как от загара. Главное, смазать сразу...

– Учены будут вдругораз, – скрипел голосом Федька, – а то уж настырны больно, люди жалуются, смелы... петух не клевал еще! Дожили, нас уж на селе счуняют*... Чтоб мне по-людски со всеми – поняли?!

– Я вот их завтра припрягу, – веско добавила и Маринка, – картошку перебирать. Цельный у меня день у погреба будуть...

А Катерина домой засобиралась, сына одевать стала, озираясь потерянно как-то и одиноко, словно боясь что-то забыть здесь; и тогда он, запнувшись несколько, предложил:

– Уж не знаю, как... проводить вас, может?

– Ну что ты, Вась, – глянула, улыбнулась она ему наконец жалко и благодарно... вот-вот заплачет, все казалось ему. – Дойдем. Уж как-то ныне получилось так...

– Бывает... и хуже бывает, это-то еще... – Утешил, называется, – а как, чем еще в жизни дурной этой, какая злобней, беспощадней всего к слабым именно, каких и обижать-то грех? Сильный упрется еще, огрызнется, что-то да отвоюет – а эти?.. Живодерня, а не жизнь. – Как оно, Толь, – поменьше болит?

* Счунять (диалектн.) – укорять, осуждать.

– Меньше, – серьезно сказал тот, поднял темные и по-взрослому пристальные глаза – отцовские, должно быть; и уже знающе добавил: – Это сразки больно, а потом... Потом ничего.

– Ничего, – согласился и он, вздохнув невольно. – Жить, значит, можно? – Толик, уже от порога, кивнул. – Можно. Только чесаться когда начнет – ты не трогай... Не расчесывай, ладно? А то еще хуже.

– Ага.

– Лихом не поминайте, – проводила их через сенцы, свет включила Маринка. – Вот ить кто ж ё знал-то? На всяко не накрестишься...

Вышли и они под стемневшее, звездной хрупкой солью проступившее небо, закурили наконец.

– Бедно живет, небось?

– Да куда уж бедней... – сразу понял Федька, затянулся с придыхом, высветив себя, будто на добрых два десятка лет постаревшего... на добрых? Не ждате добрых. – Ну, что она здесь, на медпункте? Не деньги – слезы, и тех по полгода не видит. А и его уж прихлопнуть собрались, еле отстояли пока... в ум не приму, откудова оно, паскудство такое, берется? Это ж на любой пустяшный укол – аж за десять верст, в центральный! Да старикам, да зимою...

– А из нас лезет, откуда еще. От нас, Федь.

– От меня, что ль?

– И от тебя. Пока кулаком не стукнем – так и будут над нами измываться...

Тело раздышалось в ночной свежести, будто вбирало в себя ее про запас, и продлить хотелось роздых этот, поламывающую в костях усталость тоже, истомиться ею – хоть для того, чтобы попытаться уснуть сразу. Поворошил еще исходящее тонким белесым дымком,

расцветшее рдяными во тьме углями кострище; долго стоял над ним, опершись на вилы, глядел наверх, на скачущийся за приречные ветлы туманно-неровный, словно бы вихляющийся обод Млечного Пути... колесо, да, и не то ли самое?

Не то, а лишь отражение слабое, может, зыбкое следа его здесь, на дне существования, – его, катящегося напролом по живому, по душам неисчислимым, стирая в пыль их и рассеивая, возвращая туда, ввысь, откуда посланы они были повелительной чьей-то рукою... Недостойной их оказалась жизнь, беспощадная и несмысленная, не знающая о низменности и грязи своей, и весь этот мир тоже, даже и не пытающийся чем-то большим быть, чем просто механизмом равнодушным, в каком и зло-то само – как горячее и смазка заодно, и зачем душа ему, души наши? Изувечит бессмысленно и выбросит из себя... куда? К Нему опять?

К Нему, наверное, больше некуда. Больше никто их и нигде не ждет. И нету здесь его, Божьего мира. Есть какой и чей угодно, только не Божий. Никак не совпадали они, мир и Бог, не совмещались, одно начисто отвергало, опровергало другое. Зло мира, его равнодушие великое, беспредельное самоуправно было, готовое, казалось, и Его пожрать, когда бы по зубам, Он миру этому был без надобности совершенно, как пятое в телеге колесо... все само из себя создалось, да, и баста! И творится бесконечно, себя самое руша и порождая опять, – чего бы проще, усмехался Гречанинов; но и сложнее нету. Зло мира, брат, ведь не столько даже в самом его наличном зле, а в равнодушии его к добру и злу, – а это, сдается, еще хуже...

Но Бог-то есть – в нем самом, хотя бы, в человеке с именем Василий, какой знает же Его и чувствует

в себе. Выразить не может только, не учен этому, не Гречанинов; но чует же душа Бога – как добро изначальное и конечное, непеременимое, и сама хочет добра этого себе и всем другим... и делает зло? Знает, что зло, и творит? Знает и творит, разумная и часто злобная донельзя, и несет его, осознанное, в жизнь эту, в мир – какой сам ведь не разумеет зла своего, не сознает и, значит, вроде как не отвечает за него...

И все ворошил вилами кострище, ворошил и разбивал уголья в золу, чтоб не оставлять на ночь огонь тлеющий на подворье, мало ль... Это ж выходило, что и сама душа-то человеческая этого мира и жизни в нем недостойна тоже, не годна для него... негодница, да, негодяйка, потому что зло сюда сознательное тащит и творит его тут без удержу, умножает до каких-то адских, до непосильных уму и сердцу пределов мерзости... И разбери попробуй, рассуди, чьего зла тут больше, природного или человеческого, придуманного с таким старанием и тонкостью, каких добру для себя вряд ли когда дождаться...

Выходило, что недостойны они обоюдно друг друга, душа и мир, несовместимы, невместимы вместе в одно существование – и невозможны вовсе, если есть Бог, чтоб не потворствовать злу и не утрачивать его. А если все же есть они вместе, яростно враждуя и отвергая, отрицая один другого, то еще меньше возможно тут добро, хотя оно-то, какое-никакое, а есть все-таки... Немыслимо, да, не свести все это воедино – и тем не менее сведены они в какой-то глухой и беспощадной, не на жизнь – на смерть, борьбе бесконечной и бессмысленной, и не человеку их развести...

Сколько раз он думал обо всем этом, о душе ли своей

человечьей или о непонятном, карающем неизвестно за что мире, но все по раздельности как-то, урывками, а то увязая надолго, как в тине, в непривычных и незнаемо откуда приходящих мыслях и словах, своих или где-то с пятого на десятое читанных, может, слышанных, – а тут объединилось вдруг в одно, словно высветилось: несоединимое вроде – но и разделить, хотя бы по углам своим развести нельзя...

Но разве что на миг какой осветилось – чтоб задержаться тут же совсем уж непроглядным, нерешаемым, все в том же одиночестве и тоске недомыслия оставившим: зачем осветило? Зачем очертанье тайны этой, самой, может, великой на свете показало – не для того разве, чтобы он, человек, разрешить ее попытался, хоть даже лоб расшибить об нее, сердце? Или, наоборот, не рыпался чтоб, разумея, что не для него тайна эта и человек тут лишь исполнитель иль материал глиняный какого-то замысла, ему недоступного вовек? Чтоб только жил, сколько позволено будет, делал что положено и ждал разрешения всего, вопросов своих всех – если только дадены будут они, ответы...

Но и будут ли дадены – этого ему не сказано тоже.

То, на что надеялся он – уснуть сразу, – поначалу далось вроде. А середь ночи поймал себя, полупроснувшись, на крике. Что-то проседало с хрустом, неимоверно тяжкое, и начинало рушиться на него, а он пытался удержать это, неотвратимое, напрягался до изнеможенья, потому что бежать от этого, скрыться было некуда. И сына голосок опять звал, умолял о чем-то – если бы понять, о чем, и он рвался душой, насмерть по нему соскучившейся, на голос его – а нельзя, держать

надо. Снова и снова трескались с гулом, похожим на ледоломный, низкие своды какие-то темные над ним или, может, перекрыты бетонные насосной той, оседали всею тяжестью земной, обрушиваться собираясь, и он спиной упирался, плечами, до судорог и боли сведенными, а голос умолял – держи! – и он держал. И сам то ли молил, то ли убедить пытался: помоги, нету сил, Господи! И спаси нас от самих себя, грешных... да хоть даже вовсе, насмерть избавь от ноши этой окаянной, Господи, милостив будь!

VIII

Докопать надо было, раз уж начал, пусть хоть продышится малость, проветрится земля, ей тоже мало хорошего было дичать под бурьянами и хламом. Он недоспал, может, но и не жалел об этом. Тонкая с перламутровым в вышине набором облачков заря взбухла посередине, багровым наливалась пузырем, прорваться вот-вот готовым... и прорвалась, испустив слепящий лучик, краешком показалось и на глазах всплывать стало большое, еще в багровости натужной родовой светило, еле озаряя негреющим, призрачным почти светом крыши, речную урему зазеленевшую и взлобок Шишая, призрачные такие ж гоня и сгущая с каждой минутой тени.

Скоро он размялся, отвлекся мыслями от ночной дури всякой, в работу ушел, в слух: припоздалые, голосили еще кое-где, окликали высоту и дали петухи, взмывало собираемое пастухами на пажити стадо – первые выгоны, травку молодую хотя бы понюхать; затрещал на околице и зашелся, задохнулся тракторный пускач. Приветной, фальшивой стороной повернут был сейчас мир,

примирительной будто – чтоб еще горше обмануть?

А вот и скворец – один опять, явился не запылится. А где ж ее-то потерял, дурень?.. И тот свистами-позывами своими тоже спросил округу, послушал – нет ответа; проверил домик на всякий случай, трель запустил первую горловую, расцветив бестолковое воробьиное в вишарнике чиликанье, какое и пенем-то не назовешь; и звал опять, звал, раскрытым зевом с язычком трепещущим во все-то обращаясь стороны, простор по-соловьиному оглушая, оглашая утренний, чуткий ко всяким даже малым звукам, не то что к песне. И что-то увидел ли, услышал все-таки – сорвался вдруг и прынул низом к речке...

Но вот и десятка минут не прошло, как вернулся – с нею. Уселись на скворечню над Василием почти, до стены сарая разве что метра три докопать оставалось, и ему пришлось уйти, чтоб не помешать, грешным делом, не спугнуть... покурить, да. На чурбачок сел среди зацветающего, словно в известковых брызгах, вишенника, курево достал; а следом, освоившись и уж не спрашиваясь, Василь Василич залез на колени к нему, пристроился и захрустел. Все тепла ищут, больно уж много его, сиротства, на свете, холода и пустоты.

И опять он и перепархивал, и прыгал перед нею, скворец, ширя крылышки и трепеща ими, ворковал с грудным придыхом, со скворчаньем почти подобострастным, так что пришлось сказать:

– Не суетись, чего ты...

Нет, суетился с излишком, волновался; а самка, разок все-таки навестив скворечню, неожиданно снялась, полетела было к речке опять, в урему. Но скворец стремительно, в два счета настиг ее, запередил и погнал назад...

так ее, дуру, если сама не понимает! И приземлил, выражая над нею захлестывая, посадил-таки на прочерневший дощатый конек избы, сам подсел, озадаченный.

Что-то ей, придири, не нравилось все-таки в скворечнике, и поди вот узнай – что? А она, клювом поведя, скакнула вдруг и перелетела на старую скворечню...

Оттуда с запозданием и молча порхнул незадавшийся хозяин, присел поодаль на заборе. Он даже и не протестовал теперь, понимая, видно, что против двоих подымать шум и вовсе незачем, смысла нету. А скворчиха без всяких церемоний и сомнений, как в свой, заскочила туда, поразглядывала и выпорхнула на крышу жилища. Обескураженный, но жениховского гонора стараясь не терять, посетил его наскоро и скворец – да, не задержался особо-то, боясь, может, как бы не кинула его, не улетела подруга: выскочил бодрый опять, довольный и этим... сюда хочешь? Да пожалуйста!.. А она оглядывалась меж тем, примеривалась к месторасположению – и вниз не забыла глянуть строго, на жестяные ржавые, пометом воробьиным многолетним выбеленные отливы фронтона и завалины, и на них с Василь Василичем, наконец, тоже: кто такие?..

Да так мы тут, при случае...

Скворец, приосанясь и небрежными тычками клюва костюмчик подправив, пробовал уже горло, что-то вовсе уж торжественное теперь; а самке, похоже, ни до него самого, ни до песен его было, озабоченной. Перелетала то на карниз, то на заборчик, даже и на шест села, уцепилась, снизу жилье оглядела с дотошностью; слетела и наземь на несколько поскоков, проверила какие-то сомнения свои – хозяйка, ничего не скажешь... И – порх-х-х! – к летку опять, в него под распева об-

радованного явно скворца: пошебуршала там, колебля домишко старый, притихла на время какое-то, недолгое, но томительное; и высунулась с пучочком пуха и былинки в клюве, воробьями натасканных уже, и пустила по ветерку их...

Выбрала неужто?!

Что и говорить, удивила она, и не разумом даже своим, какой уж он там у нее... да и что он, разум? Много он помог нам, от самих себя уберег? Без него-то легче жить, если уж на то пошло, не в пример спокойней и проще, в этом все убеждало, вся неразбериха губительная, до отвращения грязная, жизни людской – а мы все надеемся на него, уж совсем по-глупому верим ему... Слишком верим, убогому, а не надо бы, побольше душе оставлять: не хочет если, противится – значит, не в порядке что-то с думалкой, не туда бестолковка думает. Не про главное.

Вторую сигарету досматывал, оглядывал в какой раз хозяйство немудрящее, никому-то не нужное теперь, а значит – свое, ничье больше; что, обжитое надежней? Может, и права она, залетка. Он сколько их, скворечен своих, времянок настроил-переменил, и где теперь они?..

Трактор, колесник по звуку, давно там уже завели, и он то на соседней где-то улице тарахтел, то вовсе будто примолкал, терялся в разноголосье утра; а вот в их переулке объявился, погромыхивая прицепной тележкой, и тормознул, рокоча, у Лоскутова двора – за ними? Василий выглянул из калитки: так и есть, в тележке уже сидело своих двое. Махнул им и вернулся в избу, телогрейку на всякий случай и какой-никакой «тормозок» прихватить. Уходя, глянул: строгий, торжественный торчал на крыше домишки своего скворец, молчал от-

чего-то, а подружки что-то не видно... в гнезде, похоже?

Болтаясь привычно в переваливающейся через колдобины железной тележке, за хлябающие борта держась, поехали, свернули из переулка за угол, на выводящую к большаку редкозубую улицу с тремя уже брошенными, в сухих прошлогодних бурьянах по застрехи, домами; и Лоскут молча показал глазами на беленую, окошками вросшую в землю избенку под рубероидом, где всегда-то квартировался ненадолго залетный всякий люд. Василий кивнул, разглядывая пустой, кое-как огоороженный дворик с сараюшкой и новым, из свежих еще досок, но завалившимся уже набок сортиром, памятью о хозяине, должно быть, и полоскалось там на первом ветерке мелкое на веревке белье – нищета, дальше которой куда? А никуда, никто нас нигде не ждет.

IX

Ту старую кровяно-красную «ауди» не раз видели в местечках по левобережью – и на ней то троих, то четверых парней, угрюмоватых и наглых. Рассказывали потом о грабеже, учиненном в сельском пустующем магазинчике – «Воронин заплатит!..» – и о попытке другого на хуторе, но хозяин из гвардейцев бывших оказался, бывалый, повел в кладовку с гаражом, а вместо требуемого откуда-то гранату как бы между прочим достал, да не какую-нибудь, а «феньку» оборонительную, чеку выдернул, сам за косяк: «Хотите, под яйца прямо подкачу? Эта догонит, не ускачете...» Не захотели. Двое молдаван, по всем повадкам наци, а те русские как русские, мало ль их теперь, тварей наемных или просто беспредельщиков. Что рыскали они там, чего искали, высматривали – осталось неизвестным; а один, из русских, местный

был, и когда прижала его самую что ни есть обычную семью милиция, а следом и служба безопасности взялась, ответ у всех семейных, у соседей один был: «Ну, дурной... ну что ты с ним поделаешь, с дураком?! Сами не знаем, чего ждать от него, и уж с неделю в глаза не видим...»

Машину шурина двоюродного нашли в глубоком овражке, краем которого и шел широко разъезженный проселок. По следам можно понять было, что за ним гнались, а он попытался на взгорок выскочить, на него уже и в виду села был бы, меньше версты до крайних домов. Но запередили, срезали угол ему. И то ль скорость велика была, то ли с тормозами сплывал – ушел вправо под обрыв, несколько раз перевернувшись, в живых там и остаться никого не могло, сровняло кабину. А тех, в овраг уже полезших, автобус частный какой-то спугнул, и люди из него видели, как попрыгали они в иномарку – и ходу, на трассу мимо села...

Гречанинов, все службы на ноги подняв, уже к ночи сам привез его в село то, в больничку. «Будете смотреть?» – пропитой грубоватостью прикрывая участь невеселую свою, спросил врач-старикан. Но как он мог видеть то, в больничной подсобке лежащее на носилках, под простынями с проступившей сукровицей? Там грех и вина его лежали, непрощаемые, и не имело значения, что он не мог еще найти, сказать себе – какая вина и грех какой. С трудом нагнулся, все в нем негнушимся стало вдруг, застылым, завернувшись простыню поправил, прикрыл глядящую косолапо малышкой кроссовку, сын был там и его уже не было: «Нет». Как-то надо было дожить до утра – хотя утром, он знал, легче не станет.

Все забросил, месяц с лишним, себя изматывая на нет, изводя ненавистью, шарил со следователями и без них по всему правобережью бендерскому, в засадах даже сидел – все без толку. Гречанинов не зря безопасность подключил, было с чего: шурин, оказалось, как-то вывалился из «жигуленка» и был живой еще, тогда его добились – из пистолета. Убрали как свидетеля; да и вообще какую-никакую конспирацию соблюдали, на дому у того, местного, никогда не появлялись, ни с кем не знакомились и не сходились, а значит, не простые гастролеры были, не бакланье заурядное, а если и грабили попутно, то для пропитанья, скорее всего... «Ауди» со ссаженным правым крылом нашлась скоро на бендерской автостоянке частной, отпечатки всяческие и следовые характеристики сняты, портреты словесные записаны – и хоть в архив сдавай все, в следовательский: за кордон смылись, ублюдки, это уж наверняка...

А он нарвался все-таки, напросился: еще съездить туда решил, второй раз один, посторожить с фотокапточкой изъятой того, местного, должен же рано или поздно появиться, – и встретили, ночным делом, на убой били, хорошо – куртку успел на голову натянуть. Кореша того, по угрозам судя; железякой какой-то так ломанули, думал – все, конец. Но повезло, компания подгулявшая молодая высыпала к тополевой с дискотекой леваде, где что-то вроде засады было у него, помешала добить. Ребер несколько, зубы, ухо надорванное – легко отделался, весь остаток ночи шел-уходил от села. И, пока брел, понял: бесполезно мстить, некому. Месть его ни за мечь не примет у нелюдей этих, ни за наказание, а так, за случайный заскок судьбы, каких много у них. Одним больше или меньше – нету для них разницы,

ничего не впрок, не научит. И что тут – месть, что она решит? Другое дело – справедливость восстановить. Но это совсем другое.

Еще какое-то время у тестя жил, сродниться успели, что ни говори, беда и вовсе свела, кого хочешь побратает иной раз; а когда Гречанинов пропал – что-то совсем невмоготу стало. Где бы и хотел жить, так это там, при налаженном было уже деле, при семье, при земле такой, где только бананы не растут, и зиме шуточной. Да и люди там с каким-никаким, а смыслом, не об одной своей заднице пекутся, понимают общий интерес – нынешним россиянкам не в пример, опущенным, которых на общее какое дело ничем уж, сдается, не подымешь, так и будут сиднями сидеть, терпеть нетерпимое, заживо гнить, пока собственная вонь на улицу не выгонит... Вспомнишь тут Константина: «Жизнь люблю, браток, – и потому выживание вот это животное, пустое и позорное, ненавижу... зачем выживать нам – рабов миру плодить? И великая кровища нас ждет, всех, добром этот наш загул в сторону от дороги своей – не кончится, вот попомни слово мое... ну, нельзя так чувство реальности терять, о простейшем забывать самосохранении, никому не позволительно это. За равнодушие повальное и глупость надо расплачиваться, по самым высоким здесь расценкам. И никто нам теперь уже не поможет, ничто, никакая политика или революция, уж очень зашли далеко, – разве только Бог...»

Невмоготу – на месте, где прахом все пошло, что успел он собрать и худо-бедно ли, а наладить, самую жизнь свою, на скитанья раздерганную, собрать в одно наконец и как-то выстроить, какой-то в ней смысл узреть...

Раисе написал, дозвонился потом: не продала? Не продала; если что и не продается теперь у нас, то разве что самое никому не нужное, себе самим тоже... Даже будто обрадовалась ему, приезду его; и – он отметил это сразу, с первого же за много лет, глаза в глаза, взгляда – как-то вот спасовала перед ним, вообще-то напористая и, когда ей надо, горластая, даже не пыталась поучать по обычаю, наставлять покровительственно не Бог весть каким мудреным правилам своим, из которых главное, кажется, было – «не зевай...» Что-то поняла, может, сеструха, и на том спасибо; а что, он большего чего-то ждал от нее? Нет, много ждать от человека вообще не стоит, не надо, это как-то и... негуманно, вот-вот, немилосердно. Человека бы жалеть надо – ну хоть как животное, уж не меньше, а то у нас совсем наоборот выходит: по телевизору, глядишь, собак или кошек куда как больше жалуют, людей вообще ни во что ставят. Такие вот права человека нынешние, о каких на всех углах кричат, это он себе уже давно уяснил. Для кого угодно права, только не для нас. И ведь не скажешь, что не понимаем этого, не дотумкиваем; знаем же, но как-то спрехвала, будто не о себе речь, не о детишках наших. А объяснять это и себе, и тем, кто гнобит с усмешечкой нас, придется – дрыном, как Лоскут говорит. Или Степа, разницы нет.

Он много чего знает уже обо всем, об этом тоже. И он готов, лишь бы кликнул кто. Знает, что с этими правозащитниками делать.

Х

Порядком навкальвались за день, наматерились, не без этого: сцепка порвана и погнута – кувалдой не возьмешь, высевающие аппараты в сеялках забиты с озимо-

го сева или даже с прошлой весны спекшейся с удобрениями грязью и заржавели насмерть... что за придурки на них работали, оставили? Да свои же, родненькие, занимать на стороне не надо. Руки бы поотрывал. Запчастей привезенных в обрез, каждую железку не у кладовщика – у инженера главного выпрашиваешь, когда такое было? Самолично проверит и лишь тогда даст, да и то со скрипом. Посмотрел, как Василий со сваркой управлется и со всем прочим, сказал: все, отсеешься – сразу на кузню. Но и скоро ли отсеешься придется – неизвестно, горючки-то до сих пор нету, на разъездные только и ремонтные работы, в обрез тоже. Об удобрениях же никто нынче и не заикается даже, не до жиру.

Возвращались под закат, ясный, расстеливший по степи долгие теплые, словно на отдых расположившиеся тоже тени... что бы всегда ему добрым таким не быть, этому свету белому? Что мешает-то, кто? Ответов вон сколь накопал, а все равно неясно. И не будет ясно, не для того тут закручено, замыслено все – нет, что-то несравнимо большее, чем мысль, положено в основу всего и на глубину непостижимую, немыслимую... Это как на самолете лететь: нет-нет, да почувствуешь ее, всей шкурой почувешь под собою, бездну.

Проезжая, поглядел на халупу на Катеринину опять. Вспомнил лицо ее – и то, что не уходило никогда, не покидало лица этого насовсем, даже когда она улыбалась, просящее это, беспокойное... в чем они-то виноваты, бабы наши, дети? И хотя всё тут, на дне, виновато перед всем, но даже по мелочевке не наберешь у них на большой грех, если посчитать, не наскребешь. Только никто ведь и не собирается считать, вину взвешивать и эту, как ее... кару за нее, да. И не собирался никогда,

бессчетно все здесь, не считано. Нет, никак не видно, чтобы счет вели и хоть какую-то меру того и другого соблюдали, соизмеряли...

Да и что наша арифметика – в указ кому?

Во двор войдя свой, глянул первым делом поверху: как там квартиранты его? А никак, никого не видно и не слышно, даже и воробьев, вечер же. Время уж соловьям, но и первых, несмелых, не слышал еще с речки – не перевелись? Раньше-то с каждого куста окликали, и отвечать было чем, не заклепым еще в себе, не изгвазданным... Василь Василич в окне торчал, заждался – ничего, что-нибудь сообразим сейчас. Картошка есть и пшено, масло, в самый раз на сливную кашу. И уже ключом в замке ковыряясь, краем глаза тень успел заметить, промелькнувшую к старой скворечне, молчаливую... ага, хлопочут еще. Прижились, выходит?

Зашел Федька, не мог не явиться:

– У тебя хоть варено-парено что?

– А когда? Собираюсь вот...

– Там, это... Катерина подошла, стряпают. Зовут.

– Как малый-то?

– А что им... играют. Может, мы с устатку?

– Да вон стоит, пей, – и на шкафчик посудный кивнул. – Пей, я не стану.

– Ты что-то уж всерьез прямо... – Лоскут налил стакан, бутылку заткнул и, поколебавшись, поставил назад ее, в шкафчик. – В устаток же.

– Это тебе еще шутить можно, Федор Палыч, пока детки малы... а я уже все, нашутился. В печенках шутки эти. Ты пей.

Федор неуверенно поглядел на стакан; но взял, с трудом и неудовольствием, будто наказуя себя, вы-

тянул налитое, поперхал, занюхивая хлебом. Все здесь всерьез, что еще скажешь. Мы всё с тонкого конца, как бревно, исхитрялись взять ее, жизнь, обмануть – нет, дудки, лезь под толстый. Под комель тебе судьба, от своего не убежишь. Сначала начинай, раз не хватило ума дельное с добрым продолжить. И хоть оно невозможно вроде – все сначала, а начинай; нам, дуракам, законы не писаны, видно, поперек смысла не привыкать ходить. Тараканов в дому взялись выводить – пожаром, ну не дураки? А уж мелочь всякая, безобразия все наши с обещанством и в счет не идут, да и кому опять же считать? Бог, который в нем, не это считает, почему-то уверен теперь Василий, – иначе давно бы со счету сбился и прикрыл, может, лавочку эту... Что-то другое взвешивается и за скобки выводится из всей суеты нашей, грязи и крови, какое арифметике человеческой и на ум не взойдет. На это одна надежда, на обещанье Его, обетованье, которое он носит в себе столько же, сколько себя помнит. А начинать не миновать.

– Да-к что сказать-то им?

– Как-то и неловко, Федьк... столоваться повадился.

– Ну-у, брат ты мой, загнул: столоваться!.. Делов-то. Маринка вон, слышь, что гутарит: покель посевная, допоздна ж – у нас ужинать... а что?! Одна ж команда. Экипаж машины боевой, м-мать ее! А то что ты будешь тут – всухомять, чай да чаище...

– Ну, если в долю войти...

– Какая там еще доля... твоя, что ль? Не-е, не надо-ть. Так ждать?

– Подойду.

Высокий, золотой до невозможности, до игры какой-то с человеком непонятной и недоброй, стоял закат

за крышами, безоблачный и тихий, по всему отсветами и бликами рассыпавший, всему, до чего дотянуться мог, разославший свои теплые дары, – которым ни на минуту он не верил... клетка позолоченная, да, только что прутьев не видно. Оставалось на пенек свой да «Приму» нашарить в кармане, еще у Василь Василича за ушком почесать: что, брат, не доконала нас жизнь еще? Доконает, она на это мастер. Уж она постарается.

И от этого не то что весело стало, нет, какое тут веселье, но как-то тверже в себе. Усмехнулся и по привычке рот прикрыл, ущербину свою.



ПРИМЕЧАНИЯ

Поденки ночи

Впервые опубликован в еженедельнике «Литературная Россия» от 8 марта 1991 г. Первое издание – в книге «Поденки ночи», Калуга, «Золотая аллея», 1993 г.

Последний октябрь

Впервые опубликован в альманахе «Гостиный Двор», № 1, 1995 г. Первое издание – в книге «Свет ниоткуда», Оренбург, 1999 г.

Свет ниоткуда

Впервые опубликован в журнале «Москва», № 8, 1997 г. Первое издание – в книге «Свет ниоткуда», Оренбург, 1999 г.

Звезда моя, вечерница

Впервые опубликована в журнале «Москва», № 5, 2002 г. Первое издание – в «Роман-газете», № 5, 2003 г.

Пой, скворушка, пой

Впервые опубликована в журнале «Москва», № 10, 2003 г., и в альманахе «Гостиный Двор», № 14, 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Трилогия

Поденки ночи	9
Последний октябрь	25
Свет ниоткуда	53

Повести

Звезда моя, вечерница	97
Пой, скворушка, пой	279

Примечания	366
------------------	-----

Петр Николаевич Краснов

**Собрание сочинений в 4 томах
том 3**

Литературный редактор – Т.Б. Яковлева
Компьютерная верстка, дизайн – А. Маннакова
Корректоры: Г. Бурцева, О. Коваль,
С. Верещагина, А. Суворова
Компьютерный набор – Л. Артемина, Г. Ермолова

Сдано в набор 16.06.04
Подписано в печать 6.06.05
Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 21,8
Тираж 3000
Бумага офсетная
Гарнитура Minion Pro
Заказ № 4631

ООО Печатный дом «Димур»
460000, г. Оренбург, пер. Банный, 2.
Тел.: (3532) 77-04-68, 77-83-92